



александр янов

РУССКАЯ
ИДЕЯ
И
2000-й
ГОД



РУССКАЯ
ИДЕЯ
И
2000-й
ГОД

александр янов

александр янов

**РУССКАЯ ИДЕЯ
И 2000-Й ГОД**



**LIBERTY PUBLISHING HOUSE
NEW YORK • 1988**

**ALEXANDER YANOV: RUSSKAYA IDEYA I 2000 GOD
THE RUSSIAN CHALLENGE**

Publisher – ILYA I.LEVKOV

**Liberty Publishing House, Inc.
475 Fifth Avenue, Suite 511
New York, NY 10017-6220
Tel: (212) 213-2126**

Editor – ASYA KUNIK

**Copyright for the Russian edition by
Liberty Publishing House, Inc. 1988**

All rights reserved

**This book may not be reproduced in whole or in part
by mimeograph or any other means, without permission.**

Cover design by VAGRICH BAKHCHANYAN

**Printed in the United States of America
R.R.Donnelley, Harrisonburg, Virginia**

ISBN 0-914481-35-5

*РОССИИ АНДРЕЯ САХАРОВА
ПОСВЯЩАЕТСЯ ЭТА КНИГА*

СОДЕРЖАНИЕ

На разных языках	11
Часть первая	
Историческая драма „русской идеи” и современная западная дискуссия о России	
1. Россия против России	19
2. „Русская идея”: между двух ненавистей	40
3. „Русская идея”: генезис и вырождение	54
4. „Русская идея” и ее критики	78
5. Свидетель защиты?	91
6. Западный спор и „русская новая правая”	97
7. Гипотеза	113
Часть вторая	
В ожидании двухтысячного года	
8. ВСХСОН – начало „диссидентской правой”	118
9. „Молодогвардейство” – начало „истеблишментарной правой”	142
10. Журнал „Вече”: лояльная оппозиция справа	168
11. „Слово нации”. Фашизм: явление первое	201
12. Александр Солженицын: „Из-под глыб”	213
13. Дьяволиада–1	236
14. „Август 14”: Солженицын против Солженицына	243
15. Дьяволиада–2	260
16. Когда спящий проснулся. Фашизм: явление второе	276
17. Мост через пропасть: начало черносотенного национализма	286
Часть третья	
Готов ли Запад к 2000-му году?	
18. „Русская идея” выходит на улицу. Фашизм: явление третье	309
19. Советология на распутье	326
Постскриптум к русскому изданию	365
Приложения	
Указатель имен	387
Предметный указатель	392
Таблицы	395-399

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Время в памяти одного поколения и время истории – понятия едва ли совместимые. С точки зрения человеческой жизни советской власти уже исполнилось семьдесят. С точки зрения истории – всего лишь семьдесят.

Особенность этой книги в том, что ее автор соединяет взгляд современника и взгляд историка. Она написана человеком, который страстно желает своей родине войти в семью демократических народов Запада. И она написана ученым, который анализирует советский период в ретроспективе русской истории. Это первое, что отличает эту книгу от других, рассматривающих русскую и советскую историю в отрыве друг от друга.

Вторая ее особенность в том, что она написана о будущем и для будущего России, а возможно, и всего человечества, но не с позиций пророка, а с позиций ученого и гражданина.

Анализ русской истории от Ивана Грозного до сегодняшнего дня позволяет автору утверждать, что Россия до сих пор остается страной средневековья, потому что в ней нет „среднего класса“, способного вывести ее на демократический путь развития. В его отсутствии повинны в равной мере и Иван Грозный, и Петр Первый, окончательно закрепостивший народ, и Александр Третий, и Сталин. Разумеется, у них были противники. Но все лидеры оппозиции неизменно терпели поражение. Сущность русской истории, как понимает ее автор, состоит в борьбе реформы против контрреформы, России против России. В книге приведен большой список русских реформаторов – от Алексея Адашева, выступившего против Ивана Грозного, до Никиты Хрущева. Судьба их одинакова, с той только разницей, что либо они были сосланы, либо убиты, либо казнены, либо отстранены от власти. Ни один из них не сумел добиться реформы. Ни один не смог противостоять „средневековой сущности“ русской системы.

Сегодня в этот список нужно включить и имя Михаила Горбачева. Постигнет ли его судьба предшественников? Или ему суждено открыть иной, счастливый, список русских реформаторов?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо реально представить себе расстановку сил в СССР и ту альтернативу, которая может противостоять Горбачеву.

Автор этой книги считает, что подобную альтернативу могут предложить прежде всего экстремистски настроенные адепты „русской идеи“. Потому его книга и посвящена подробному ее анализу. Потому в ней так внимательно прослеживается трансформация „русской идеи“ от ее зарождения 150 лет назад в среде славянофилов до сегодняшнего дня – в среде правых националистов.

Читатель, помнящий о славянофильстве лишь по школьным учебникам, полагает, что оно, как вполне идеалистическое течение русской философии, давно умерло. Однако факты, приводимые в книге, доказывают, что это не так. Идея об избранности русского народа, идея о том, что „загнивающий“ Запад может спасти от гибели только Россия, жива до сих пор. Более того. В числе ее сторонников – не только диссиденты, но и представители партийной элиты, не только изгнанный Солженицын, но и неизгнанный Василий Белов. Тут уместно заметить, что в книге понятие „диссидентство“ дифференцировано. Читатель, не знающий истории диссидентства, вкладывает в это слово лишь положительный смысл. Но диссидентство не однородно. В нем есть различные течения, – одно из которых и называет автор „новой русской правой“. Против нее и направлена эта книга.

Однако она могла бы оказаться лишь оригинальным историческим исследованием, с множеством любопытных мыслей, неожиданных наблюдений, парадоксальных сопоставлений. Могла бы – если бы автор не рассматривал „русскую идею“ в контексте западных дискуссий о СССР, если бы не высказывал соображений о том, как Запад может помочь реформе, если бы не убеждал западных политиков, что ни тактика невмешательства, ни тактика „давления“ не уберегут Запад от той угрозы, которую ему несет победа „русской идеи“. Не поняв смысла и силы „русской идеи“, Запад, по мысли автора, будет застигнут 2000-м годом врасплох, точно так же, как, не поняв в свое время силы большевизма, он был застигнут врасплох 1917-м.

А.К.

**МНОГИЕ НАЦИИ ГИБНУТ ПРЕЖДЕ,
ЧЕМ ОСОЗНАЮТ СВОИ ОШИБКИ.**

АЛЕКСИС ДЕ ТОКВИЛЬ

НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ

В мае 1981 г. на конференции в Вашингтоне, посвященной русскому национализму, я потрясенно слушал выступление Джерри Хоффа, одного из самых радикальных ревизионистов американской советологии. Суть его речи сводилась к тому, что все русские – националисты. Андрей Сахаров, например, в той же степени националист, что и Александр Солженицын или Леонид Брежнев. Разумеется, продолжал Хофф, мы должны делать различие между „хорошими” русскими националистами и „плохими”, но в принципе проблема ясна: имея дело с русскими, кто бы они ни были, мы имеем дело с националистами.

Ричард Пайпс, один из самых радикальных традиционалистов американской советологии, на конференцию опоздал и выступления своего научного противника не слышал. Читатель может представить себе изумление аудитории, когда в своей речи Пайпс почти слово в слово повторил тираду Хоффа.

Услышать одно и то же заключение из уст двух экспертов, неизменно на протяжении многих лет отрицающих друг друга во всем, что касается России, было, кажется, самым удивительным впечатлением моей жизни в Америке. Тем более, что я не был новичком в том единственном вопросе, в котором примирились на моих глазах непримиримые оппоненты.

За три года до этого случая, в апреле 1978 г. я опубликовал свою первую книгу об этом. „Русская новая правая“ содержала в великом множестве документы, полностью исключающие все то, что идеологическим дуэтом произнесли в Вашингтоне лидеры двух враждующих школ советологии.

Чтобы понять, что я имею в виду, читатель должен представить себя, скажем, автором книги о католицизме в шестнадцатом веке. Что испытал бы он, услышав от почтенных академиков, что все европейцы были тогда католиками и что разница между Мартином Лютером, лидером Реформации, и Игнатием Лойолой, лидером Контрреформы, заключалась лишь в том, что один был „плохим“ католиком, а другой — „хорошим“? Иначе говоря, что протестантство было вовсе не самостоятельной идеологией, из которой вытекала точно очерченная и противоположная католицизму политическая доктрина, но всего лишь „плохим“ католицизмом?

На конференции в Вашингтоне в мае 1981 г. я впервые пожалел, что опубликовал свою книгу вне контекста западных интеллектуальных дебатов о России. В 1978 г. только что из Москвы, под свежим впечатлением ожесточенной схватки с русскими националистами, я наивно предполагал, что говорю на одном и том же концептуальном языке со своим новым американским читателем. Что феномен русского национализма означает для него то же самое, что для меня и моих единомышленников и оппонентов в России: старинную, мощную и привлекательную *идеологию*, традиционно противостоящую русскому либерализму (западничеству). Я предполагал, что читатель знает ее историю и ее политическую доктрину, знает, как яростно отрицает эта доктрина центральный постулат западной политической мысли — разделение исполнительной, законодательной и судебной властей, предлагая взамен сред-

невековый постулат о *разделении функций между светской и духовной властями*. Я предполагал, что мне нет нужды объяснять читателю, что доктрина эта конструирует свой политический идеал не как народное представительство, но как нацию-семью, не нуждающуюся в политических гарантиях. Что, другими словами, идеология русского национализма отрицает все главные принципы, на которых основана современная демократия.

Дуэт Хоффа и Пайпса убедил меня, что между представлениями о русском национализме в Москве и в Вашингтоне лежит пропасть. Она показалась мне еще более глубокой, когда я узнал, что в некоторых курсах по русскому национализму, читаемых в американских университетах, западничество прошлого века безмятежно трактуется как составная часть русского национализма, и что, таким образом, американские историки часто так же смешивают Сахаровых русского прошлого с его Солженицыными, как сделали это у меня на глазах американские советологи. И уж вовсе отчаялся я после другой конференции в Вашингтоне в октябре 1985 г., где американские политики и эксперты почти единогласно (я был единственным исключением) пришли к выводу, что русский национализм представляет собою „оперативную идеологию” сегодняшнего советского правительства. Концептуальный язык моего американского читателя явно не имел ничего общего с тем, на котором написана была моя книга.

Он, как правило, вообще не рассматривает русский национализм как определенную идеологию и тем более как политическую доктрину. Для него это, скорее, эмоция, лишь *выраженная* идеологическими символами. Эти символы могут быть положительными (и тогда национальное чувство называется патриотизмом) или отрицательными (и тогда оно называется шовинизмом). То, что между этими двумя полюсами, а именно: национализм как идеология — *не имеет символа*. Это своего рода ничья земля, белое пятно на идеологической карте, лишенное определенного политического содержания и потому обретающее любое содержание в зависимости от точки зрения наблюдателя.

Нет сомнения, что советское руководство давно, еще с 1930-х гг. пыталось эксплуатировать патриотические эмоции и инкорпорировало в свою идеологию символы патриотизма. Однако, если ему и удалось сбить этим с толку западных наблюдателей, обмануть русских националистов оно не смогло. Идеологический взрыв 1960-х гг., описанный в „Русской новой правой“, был самым убедительным доказательством пропасти, зияющей между „эмоциональной“ эксплуатацией патриотических символов в советской пропаганде и подлинной идеологией русского национализма. Если бы он действительно был „оперативной идеологией“ советского правительства, бунт русских националистов против режима, вспыхнувший в 1960-е гг. почти одновременно и в диссидентском самиздате и в *подцензурной советской прессе*, оказался бы просто необъясним. Русские националисты явно и недвусмысленно не признали советскую официальную идеологию своей, сколько бы патриотических символов она ни эксплуатировала. И советское правительство тоже не признало русских националистов своими. Напротив, оно натравило на них КГБ, некоторых упрягло в тюрьмы и лагеря, других заставило замолчать. Почему?

На этот решающий вопрос ни у Джерри Хоффа, ни у Ричарда Пайпса нет ответа. Они смешали патриотические эмоции (или в другой интерпретации, шовинистические эксцессы) с идеологией русского национализма и потому оказались не в состоянии понять природу этого феномена.

Отсюда, по-видимому, невообразимый разброд в читательских откликах на „Русскую новую правую“. Одни увидели в ней нападение на русский патриотизм и, соответственно, оскорбились. Другие интерпретировали ее как атаку на русский шовинизм и, соответственно, обрадовались. В действительности, однако, книга не была ни тем, ни другим. Она описывала необъяснимое, на первый взгляд, воскрешение идеологии русского национализма в современном СССР (где, согласно всем советологическим клише, произойти оно не могло), его революционное начало в середине 1960-х гг., его раскол на диссидентскую и истеблишментарную фракции к концу десятилетия и превращение последней в теньную идеологию СССР, идеологи-

ческое сближение обеих фракций и их полицейское подавление в середине 1970-х . Она также предлагала гипотезу о возможных политических последствиях для России и мира в случае нового и на этот раз победоносного воскрешения идеологии русского национализма в конце XX столетия.

Я старался показать читателю, как формировались главные черты „новой правой“; воинствующее антизападничество, делающее ее похожей на идеологию аятоллы Хомейни, догматизм и нетерпимость, сближающие ее с современным советским марксизмом, экстремизм и взрывные потенции, сходные с эмигрантским большевизмом начала века. Однако даже самые доброжелательные рецензенты не приняли все это всерьез. Для большинства из них это была книга о странном шовинистическом крыле (“lunatic fringe“, как называют это по-английски) советского диссидентства, о чем-то вроде русского ку-клукс-клана, забавная, интересная, с множеством экзотических деталей, но непосредственного политического значения не имеющая.

Представьте себе, что, скажем, в самом начале XX в., тотчас после возникновения большевизма, кто-то написал бы книгу о внезапном рождении в России потенциально могущественной идеологической альтернативы правящему тогда и, казалось, неколебимому царскому режиму. Представьте, что автор этой книги предупреждал: в случае возможной победы этой альтернативы большевизм может полностью изменить роль России в мире и перестроить всю политическую арену XX в. Представьте себе далее, что доброжелательные критики интерпретировали бы феномен большевизма, описанный в этой книге, как маргинальное крыло тогдашнего русского диссидентства, неприятное, быть может, зловещее, но непосредственного политического интереса не представляющее. Я не говорю уже о других критиках, о западных попутчиках большевизма, которые обвинили бы автора в том, что он рисует большевизм черной краской и сводит его к одному знаменателю, тогда как есть „плохие“ большевики и „хорошие“ большевики. Последних, говорили бы попутчики, мы должны поддерживать, потому что они — самоотверженные борцы против проклятого ца-

ризма, подавляющего права человека и устраивающего дикие еврейские погромы, и, таким образом, наши союзники.

Практически в таком положении оказался я со своей „Русской новой правой” в 1978 г. – с той только разницей, что писал я не о большевиках, роль которых за последние семь десятилетий несколько прояснилась, но о русских националистах, роль которых пока что столь же темна, как была темна роль большевиков в начале века. Точно так же отказались доброжелательные критики – несмотря на все свое отвращение к русскому шовинизму – серьезно отнестись к новому идеологическому феномену как к политической альтернативе существующему режиму. И точно так же атаковали меня западные попутчики националистов за очернение русского патриотизма, тогда как есть „хорошие” националисты – самоотверженные борцы против проклятого коммунизма, подавляющего права человека и препятствующего еврейской эмиграции из СССР.

Именно поэтому и пишу я сейчас другую книгу о русском национализме, в которой будут поставлены все точки над „i” и которую, я надеюсь, нельзя будет истолковать двусмысленно. В конце концов, русский национализм родился на свет не вчера и не в 1960-е гг. У него длинная и богатая история. Он возник примерно в одно время с марксизмом, т.е. полтора столетия назад. У него была своя сложная и драматическая эволюция, свои взлеты и падения, свои метаморфозы, которые современные националисты повторяют, так же не подозревая об этом, как не подозревают об этом современные западные читатели. Политическая доктрина национализма была выработана задолго до революции 1917 г. Его реакцией на эту революцию был фашизм. Его политические потенции были ясно и недвусмысленно продемонстрированы. Его воскрешение в СССР в 1960-е гг. вовсе не было неожиданным, точно так же как и его возникновение в 1830-е. Оно отвечало глубоким потребностям русской политической системы в первой половине XIX в., и оно отвечает им во второй половине XX.

Вся эта историческая драма идеологии русского нацио-

нализма или „русской идеи”, как с легкой руки Николая Бердяева стала она называться в XX в., не обсуждалась в „Русской новой правой”, посвященной исключительно одному краткому эпизоду в истории „русской идеи” — идеологическому взрыву 1960-х гг. Здесь — моя часть вины в том, что воскрешение „русской идеи” было воспринято как изолированный и экзотический эпизод из истории советского диссидентства. Только в широкой исторической ретроспективе могло быть понятно, что взрыв этот, хотя и подавленный полицейскими репрессиями к середине 1970-х гг., не был — и не мог быть — раздавлен. Точно так же, как большевизм был подавлен, но не раздавлен репрессиями, сопровождавшими драматический взрыв 1905-1907 гг.

Эта книга, хотя она и включает в себя по необходимости несколько ревизованных глав из „Русской новой правой”, построена совсем иначе. Не только в том смысле, что я описываю в ней события конца 1970 — начала 1980-х гг., которых не могло быть в „Русской новой правой”, опубликованной в 1978 г. Но главным образом в том, что я пытаюсь описать в ней историческую драму „русской идеи” с самого ее зарождения и до ее временного подавления в 1917-1921 гг. Строя книгу таким образом, я хочу показать, что, рассматривая „русскую идею”, мы рассматриваем первостепенной важности политический феномен, которому может предстоять новое — и победоносное — возрождение, если горбачевские реформы 1980-х гг. провалятся. Так же, как предстояло новое возрождение большевизму после провала столыпинских реформ в начале века.

Как бы то ни было, эта книга предназначена помочь разобраться в хитросплетениях „русской идеи”, в сложностях ее политической доктрины и в перипетиях ее исторической драмы. В результате, я надеюсь, труднее станет смешивать ее с патриотическими эмоциями или идеологическими символами, эксплуатируемыми советской пропагандой. Надеюсь также, что будущие рецензенты не сочтут ее ни нападением на русский шовинизм, ни атакой на русский патриотизм. Так же, как они, я ненавижу шовинизм и уважаю патриотизм. Только кни-

га моя не об этом. Она – о будущем России и, очень возможно, мира, если „русской идее“, описанной в ней, суждено когда-нибудь восторжествовать.

Пользуюсь случаем в этом предисловии поблагодарить всех своих друзей и читателей, поддержавших меня в черные дни яростной кампании, затеянной против меня почти всей эмигрантской прессой после выхода в свет моей книги „Русская новая правая“, кампании, к которой, увы, присоединились и западные попутчики „русской идеи“.

Мне приятно также поблагодарить журналы „Синтаксис“ и „22“ за то, что они к этой кампании не присоединились.

Я глубоко признателен Фонду Гутгенхайма, сделавшему для меня возможным исследовать злоключения „русской идеи“ в начале XX в.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА
„РУССКОЙ ИДЕИ” И СОВРЕМЕННАЯ
ЗАПАДНАЯ ДИСКУССИЯ О
РОССИИ

1

РОССИЯ ПРОТИВ РОССИИ

НЕУМЕСТНАЯ КНИГА „Русская новая правая” увидела свет в один из самых драматических периодов современной истории, когда эра детанта между супердержавами уже закончилась, но человечество еще не знало, в какую именно новую эру оно вступает. Будет ли это возрождение холодной войны? Или открытая конфронтация супердержав? Или, наконец, новая мировая война? Юджин Росту точно сформулировал настроение тех лет, когда сказал: „Мы живем не в послевоенном, а в предвоенном мире”.¹ Воздух был насыщен апокалипсичес-

¹ Цит. по кн.: Robert Scheer. With Enough Shovels. New York, Random House, 1982, p.5.

кими предчувствиями. Все, казалось, предвещало новый мировой кризис. Развертывание мощных ракет СС-20 на европейской территории СССР интерпретировалось как подготовка к „финляндизации” Западной Европы. Советские операции в Африке казались ориентированными на тотальный разрыв коммуникаций Соединенных Штатов и их союзников. Вторжение в Афганистан выглядело как первый шаг к захвату нефтеносных полей Ближнего Востока.

Короче говоря, трудно было придумать время, менее подходящее для книги о возрождении русского имперского национализма.² Кого из серьезных людей могло в самом деле заинтересовать внезапное возрождение отдаленной альтернативы советскому марксизму в Москве, когда страх перед немедленной конфронтацией коммунизма и антикоммунизма достиг апогея? Это правда, что воскрешение имперского национализма вызвало раскол в советском диссидентстве и содержало серьезные потенции раскола в советском истеблишменте. Но кого интересовали потенции, когда сама судьба человечества была, казалось, на кону? Книга „Русская новая правая” требовала от читателя теоретического усилия, чтобы преодолеть окаменевшие за десятилетия стереотипы. Но в момент кризиса важна была практика, не теория. Самая тональность книги представлялась раздражающе неуместной на фоне поистине шекспировских страстей, разыгрывавшихся на мировой политической сцене.

Так выглядел мир конца 1970 — начала 1980-х гг, в изображении американской прессы — и массовой, и интеллектуальной. Кому была бы интересна книга о возникновении в России

2 Имперский национализм существенно отличается от того, что обычно понимается под национализмом в общественных науках. Он выражает интересы не малых угнетенных наций, борющихся за освобождение от имперского ига (как, например, в современной Польше), но интересы доминирующей, „имперской” нации, иначе говоря, не объекта, но субъекта угнетения. Покойный Андрей Амальрик так описал эту разницу: „Национализм малых народов понятен, как средство защиты себя как народа и своей культуры, хотя и в этих случаях он иногда принимает отталкивающие формы. Но национализм великого народа — это средство не защиты, а давления и внутрь и вовне” („Записки диссидента”. Анн Арбор, изд-во „Ардис”, 1982, с.59.

большевизма, скажем, в 1911 г., в момент Балканского кризиса — в преддверии первой мировой войны? Ирония ситуации заключалась, однако, в том, что на самом деле неуместны были шекспировские страсти, бушевавшие в американской прессе: никакой шекспировской трагедии в мире не происходило и не предвиделось. А то, что происходило, так же напоминало Балканский кризис, как осенний мелкий дождичек напоминает тайфун. Ничто не угрожало человечеству в эти годы. Но если уж говорить об угрозе, то возрождение русского имперского национализма было на самом деле во сто крат опасней советских походов в Африке. Но чтобы понять это, требовалось гораздо более глубокое и тонкое представление о том, как функционирует русская политическая система, нежели привычные „тоталитарные” стереотипы и клише, которыми оперировали тогда американские политики и интеллектуалы. Несмотря на сотни книг и тысячи статей, написанных о советской политике за послевоенные десятилетия, они оказались неподготовленными к новому повороту в отношениях между супердержавами. Почему?

Этот вопрос далеко выходит за рамки книги о возрождении имперского национализма в России. Однако тема книги дает возможность присмотреться к нему поближе и попробовать предложить хотя бы приблизительный, гипотетический ответ.

БИТВА МЕТАФОР

Бросим сначала общий взгляд на тогдашнюю интеллектуальную конфронтацию. Прогноз сенатора Дэниела Патрика Мойнихена сводился к тому, что, поставив на колени („филиандизировав”) Европу и изолировав Соединенные Штаты, Россия намерена предпринять роковую атаку на Персидский залив: „Ближняя перспектива выглядит хорошо [для СССР], дальняя плохо. Поэтому вперед. Таков был расчет Австро-Венгерской империи в 1914 г.”³ „Австро-Вен-

3 Newsweek, November 19, 1979, p.147.

герской” метафоре Мойнихена противостояла другая, предложенная редактором журнала „Комментарии” Норманом Подгорецом: „Советский Союз — государство того же типа, что нацистская Германия: революционная тоталитарная держава, стремящаяся к установлению нового мирового порядка, в котором она будет гегемоном”.⁴ Отсюда естественно вытекал однозначный прогноз: мировая война неизбежна и поэтому переговоры бессмысленны, „умиротворение” преступно, детант эквивалентен Мюнхену. Тем, кто принял „германскую” метафору, трудно было избежать ее логического заключения. Соответственно, Фрэнк Р.Бернетт утверждал, что „Соединенные Штаты сегодня находятся в положении Англии в 1938 г., когда тень гитлеровской Германии сгущалась над Европой”.⁵

Практически вся интеллектуальная конфронтация в Америке в тот момент сводилась к схватке этих двух метафор. Как объяснял впоследствии Джеймс Фаллоус, „фундаментальное интеллектуальное различие между сторонами [либералами и консерваторами] заключается в исторической призме, сквозь которую преломляется их [политическое] восприятие. Когда либералы смотрят на 1980-е гг., некоторые из них видят 1914 г. Когда консерваторы смотрят на 1980-е гг., почти все они видят 1938 г.”⁶

Я еще вернусь к этой битве метафор в заключении. Сейчас скажу лишь, что в принципе исход этой борьбы не менял апокалипсического настроения тех лет: и 1914-й и 1938 год означал жуткую близость конечного мирового конфликта — между Россией и Западом, между коммунизмом и антикоммунизмом. Роковое „окно уязвимости” должно было открыться где-то в середине 1980-х гг. В самой крайней форме это апокалипсическое настроение было выражено, как всегда, в русской эмигрантской прессе. „Всякую минуту, что мы живем, — писал Александр Солженицын, — не менее одной страны (инюг-

4 U.S. News and World Report, Sept. 6, 1982, p.35.

5 Цит. по: Robert Scheer. With Enough Shovels, p.28.

6 Atlantic Monthly, July 1983, p.34.

да сразу две-три) угрызаются зубами тоталитаризма. Этот процесс не прекращается никогда, уже скоро 40 лет... Всякую минуту, что мы живем, – где-то на Земле одна-две-три страны внове перемалываются зубами тоталитаризма... Коммунисты везде уже на подходе – и в Западной Европе, и в Америке. И все сегодняшние дальние зрители скоро все увидят без телевизора и тогда поймут на себе – но уже в проглоченном состоянии”.⁷

Если мы примем грубо число минут в сорока годах за 20 миллионов, а число стран – за 150, то каждая страна в мире окажется „угрызена” и даже „внове перемолота” коммунистами, по крайней мере 133.333 раза. Кому, однако, интересна была эмигрантская арифметика, когда в американском сенате произносились такие речи: „Я думаю, что Рональд Рейген такой же поджигатель войны, как Уинстон Черчилль... и мы можем найти сколько угодно Невиллей Чемберленов, умиротворителей... которых ничему не учат уроки истории” (Джейк Гарн, штат Юта). „Не говорите мне, что здесь нет урока, которому мы должны научиться” (Джон Тауэр, штат Техас).⁸

ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫБОР РОССИИ

В этом страстном споре упущена была только одна деталь: обсуждались уроки германской (или австро-венгерской), но *не русской* истории, и поэтому к предмету спора они имели скорее академическое отношение. Последней сенаторы собственному совету и обратись они к той единственной истории, уроки которой действительно существенны для адекватного понимания советского поведения в мировой политике в конце 1970-х гг., картина, представшая перед ними, была бы, пожалуй, иной. В книге „Русская новая правая” я и попытался нарисовать эту картину. Основана она была на анализе вековых стереотипов

7 „Вече”, № 5, 1982, с.10, 12.

8 Atlantic Monthly, op. cit., p.34.

цов политического изменения в России за последнее полуторы тысячелетие, т.е. с момента, когда она стала тем, что в американской литературе называется nation-state.

В этой картине агрессивность и экспансионизм России в мировой политике вообще зависят не столько от характера доминирующей в ней идеологии, как гласит стереотип, сколько от *характера правящего режима*. В самом деле, монархическая идеология не предотвратила превращения России в гигантскую империю, простирающуюся на одну шестую земной суши, точно так же, как коммунистическая идеология не помешала Никите Хрущеву, лидеру *режима реформы*, отказаться от территориальной экспансии.⁹ Советское правительство 1970-х и начала 1980-х, свергнувшее режим реформы, но не решившееся перейти к *режиму контрреформы*, представляло собой поэтому – в исторической картине, на которой была основана книга „Русская новая правая” – лишь временный переходный режим *политической стагнации*. В этом и только в этом смысле оно напоминало, если уж не обойтись без иностранных аналогий, Веймарский режим в Германии. Режим стагнации мог привести Россию к новой контрреформе или к новой реформе, но он *не мог* вести ее к генеральной конфронтации с Западом. Единственное, на что способен такой режим исторически – и в коммунистические, и в докоммунистические времена, – это вести страну к глубокому политическому, культурному и экономическому упадку внутри и хватать то, что шлохо лежит вовне.

Вот почему, согласно метафоре о переходной, если угодно, Веймарской России, мир *не мог* приближаться к глобальному кризису в конце 1970-х гг. Это Россия в очередной раз приближалась к своему роковому перепутью, где ей, как всегда на исходе режима стагнации, предстоял исторический вы-

⁹ В течение хрущевского десятилетия (1953-1964) Советский Союз оставил свои военные базы в Финляндии, в Австрии и в Китае, отказался от территориальных притязаний к Турции, существенно сократил численность своих вооруженных сил, отказался от участия в гонке стратегических вооружений, нормализовал дипломатические отношения с Израилем и т.д. За все хрущевское десятилетие к империи не было присоединено ни пяди новой территории.

бор — между радикальной реформой и не менее радикальной контрреформой.

Россия — единственная из европейских стран, которой приходится делать этот выбор снова и снова на протяжении всей ее трагической истории.

Началось это еще в 1550-е гг., когда первая грандиозная попытка России присоединиться к всемирной цивилизации, „обрести себя в человечестве”, как скажет впоследствии Петр Чаадаев, потерпела сокрушительное поражение, закончившись вместо этого грандиозной контрреформой и свирепой гарнизонной диктатурой Ивана Грозного.¹⁰ С тех пор на протяжении столетий как русские реформистские попытки, так и русские контрреформы принимали самые разные идеологические обличья, но реформы всегда были попыткой „присоединиться” к цивилизации, а контрреформы всегда пытались увековечить разрыв России с цивилизацией.

Сейчас, в конце XX столетия, выбор, который предстоит сделать России, все тот же — несмотря на ее межконтинентальные ракеты, компьютеры и прочие внешние атрибуты современности. „Россия никогда не выходила из средних веков”, как пронциательно заметил еще в 20-е годы Н.Бердяев,¹¹ и поэтому она может сейчас снова попытаться „открыться” миру, как делает в последние годы Китай, или снова бросить вызов цивилизации, выйдя из нового исторического упадка ценой нового превращения в гарнизонную империю, как она уже сделала это дважды — в начале восемнадцатого столетия и в начале двадцатого.

Самая, быть может, распространенная иллюзия последних семи десятилетий состоит в том, что коммунистическая метаморфоза 1917 г. каким-то образом разрушила вековые стереотипы русского политического изменения и тем самым сняла с повестки дня мировой истории вопрос о России как о „больном человеке Европы”, о прогрессирующей дегенера-

10 См.: Alexander Yanov. The Origins of Autocracy, University of California Press, 1981, Part II, Ch.IV.

11 Н.Бердяев. Новое средневековье. Берлин, 1924.

ции последней империи мира. 1980-е гг. показали, что коммунизм, так же как „православное царство” Ивана Грозного и Петербургская империя Петра Первого, оказался лишь отсрочкой, лишь временной ремиссией „больного человека Европы”, лишь окольным путем, которым Россия — ценою неслыханных жертв и испытаний — вернулась к тем же „проклятым вопросам”, от которых революция семнадцатого обещала ее навсегда избавить. Россия снова в упадке и снова перед выбором.

Мир мог игнорировать этот повторяющийся традиционный русский выбор, покуда Россия была темной провинцией, расположенной на обочине цивилизации. Мир больше не может игнорировать его в ядерном веке, когда межконтинентальные ракеты сделали этот выбор, быть может, центральным вопросом дальнейшего существования цивилизации. Таково логическое заключение метафоры о Веймарской России.

СРАВНЕНИЕ МЕТАФОР

Как бы то ни было, беда книги „Русская новая правая” была в том, что я, не присоединившись ни к одной из воевавших метафор, предложил свою собственную. И тем самым оказался за пределами главного течения американского спора о России. Ибо эта метафора ровно ничего драматического в ситуации конца 1970-х гг. в мире не усматривала. Никаких оснований для апокалиптических прогнозов она не давала, никакого „окна уязвимости” в середине 1980-х гг. не предвещала. Тогдашняя советская экспансия знаменовала лишь агонию режима политической стагнации. Для акций, которых Запад ожидал от брежневской Москвы, просто нужен был другой политический режим. А его в конце 1970-х гг. в Москве не было. И поэтому СС-20 не предвещали „финляндизации” Европы. Операции в Африке не обещали разрыва жизненно важных коммуникаций НАТО. В Афганистане советской армии предстояло увязнуть на долгие годы. Ни 1914-й, ни 1938 год не наступали для мира в конце 1970-х. Мюнхен и Невилл Чемберлен не имели ни ма-

лейшего отношения к этой ситуации, так же как расчеты Австро-Венгерской империи накануне первой мировой войны. Вопреки иеремиадам Солженицына коммунизм не был „на подходе – и в Западной Европе, и в Америке” и американским телезрителям не предстояло проверить это пророчество „в проглоченном состоянии”.

Теперь, в середине 1980-х гг., читатель может сам судить, какие из предложенных ему в конце прошлого десятилетия метафор выдержали историческую верификацию. Кто нынче вспоминает о 1914 году? Кто говорит о 1938-м? Куда девалось „окно уязвимости”, которое должно было отвориться именно сейчас? Где пророчества о „финляндизации” Европы? Много ли слышим мы о советских планах захвата нефтеносных полей Персидского залива?¹² Кончилась истерика, исчезла драма, уступив место чуть ли не эйфории. Совсем другим языком заговорили в середине 1980-х гг. американские политики.

„Советский Союз, – по словам гос.секретаря Шульца, – оказался перед лицом глубоких структурных экономических трудностей, продолжающейся проблемы преемственности власти и беспокойных союзников; его дипломатия и его клиенты – в обороне во многих частях мира. Мы можем быть уверены, что соотношение сил все более склоняется в нашу пользу”.¹³ Ричард Аллен, бывший советник президента по делам национальной безопасности, полностью соглашался с этим анализом. Только картина упадка России, которую он нарисовал, была еще мрачнее: „Советское руководство охвачено глубоким системным кризисом, ужесточенным полити-

12 В январе 1980 г., в разгар паники и ожидания катастрофы, один из моих коллег в университете Беркли спросил меня, две или четыре недели продержится еще афганское сопротивление советской армии. Я предложил ему пари на бутылку коньяка, что и год спустя, в январе 1981-го, сопротивление будет продолжаться. И в январе 1982-го тоже. Иначе говоря, советской армии не только предстоит увязнуть в Афганистане надолго, но она не посмеет – без радикальной перемены режима в Москве – ступить и шагу по направлению к нефтеносным полям Персидского залива. Как понимает читатель, свой коньяк я выиграл.

13 U.S. News and World Report, Febr. 18, 1985, p.44.

ческой нестабильностью... Если прибавить к этому глубоко укорененные (некоторые полагают неустранимые) экономические проблемы и широко распространенное беспокойство среди многих национальностей Советского Союза, не говоря уже о растущем антисоветизме в Восточной Европе [мы увидим], что Советский Союз отчаянно нуждается в передышке".¹⁴

О чем же все эти речи? Не о том ли, что режим политической стагнации привел вовсе не к генеральной конфронтации России с Западом, как предсказывали обе американские метафоры конца 1970-х гг., но к общему упадку СССР, как предсказывала метафора о Веймарской России, лежавшая в основе книги „Русская новая правая“? Какой из этих подходов к поведению России в мировой политике оправдался? Тот, что основывался на случайных и поверхностных аналогиях с поведением других держав в других ситуациях? Или тот, что апеллировал к долгодействующим образцам русского политического изменения и — на этом основании — предсказывал, что никаких эпохальных акций от Веймарской России ожидать не следует — до тех пор, пока в Москве не переменится политический режим?

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД

Я рассказал здесь лишь об одном случае, в котором оба центральных подхода в американском споре о России (идеологический, искавший ключ к 1980 гг. в 1938-м, и геополитический, нашедший этот ключ в 1914-м), оказались бессильны объяснить настоящее и предсказать ее будущее поведение на мировой арене. Мы еще встретимся с другими такими случаями. Результаты, однако, они не изменят. Русская политическая система всегда оказывалась сложнее, чем ее описания. Она развивалась циклически. Она пульсировала. Она входила в зону упадка, как

14 Ibid., p.47.

Австро-Венгерская империя, и при этом не распадалась. Напротив, после агонии она возрождалась обновленной, еще более мощной и угрожающей. Вот как оно на самом деле было в истории.¹⁵

Московское царство тихо угасало в конце семнадцатого века на периферии Европы. И что же? Через четверть века оно стремительно вышло из зоны упадка и вместо убогой провин-

15 Методология подхода к поведению России на мировой арене, на котором основана эта моя книга, чрезвычайно сложна, и я не стану обременять читателя ее теоретическими аспектами, изложенными в других моих работах. Таблица, которую читатель найдет в Приложениях, перечисляет все крупные попытки реформ в России, так же как и контрреформ. Есть там и таблица, иллюстрирующая структуру русских исторических циклов, т.е. периодов, отделяющих одну контрреформу от другой.

В отличие от всех известных мне подходов, этот подход основан на различении трех главных элементов в русском политическом процессе.

Первый – это русская политическая *система*, автократия, как я ее называю, возникшая в середине шестнадцатого века и продемонстрировавшая на протяжении столетий поразительную устойчивость. Во всяком случае, ни многочисленные реформы, ни кровавые революции – „сверху” или „снизу” – не смогли ни разрушить ее, ни преобразовать ее стереотипы политического изменения. Не раз в истории эта система оказывалась способной обеспечить России статус сверхдержавы. Но каждый раз после взлета неизменно следовал упадок. На протяжении веков этот упадок неизменно приводил к „системным кризисам” автократии и революциям, но никогда не вел к коллапсу системы – только к ее метаморфозам, т.е. к возникновению *новых подсистем*. Именно эта способность автократии воспроизводить себя в ситуации кризиса в новых подсистемах, само это понятие „подсистемы” и является вторым элементом исторического подхода.

Полтора столетия *Московской подсистемы* (1564-1700 гг.) сменились двумя столетиями *Петербургской* (1700–февраль 1917), которая в свою очередь сменилась *Советской* (октябрь 1917–?), во многих отношениях оказавшейся ближе к Московской, нежели к Петербургской подсистеме. Каждая из этих „системных метаморфоз” как бы начинала историю сначала, постепенно созревая для исторического выбора – между прорывом в европейскую цивилизацию и еще одной „системной метаморфозой”, способной воспроизвести автократию на новом уровне сложности – технологической и институциональной.

Третий – и самый практически важный – элемент исторического подхода – это понятие „*русские политические режимы*”, каждый из которых является отрицанием предыдущего, его, можно сказать, анти-тезой.

Это свойство русского политического процесса позволяет нам проникнуть в самую основу его движущего механизма: к взаимному антагонизму его политических режимов. „Десталинизация” системы после Сталина, „дехрущевизация” после Хрущева и „дebreжневиза-

ции перед миром предстала мощная Петербургская империя, впервые попытавшаяся установить русский контроль над Восточной и Центральной Европой. Рафинированный истеблишмент Петербургской России, затянутый в мундиры, блистающий эполетами и говорящий по-французски лучше, чем по-русски, был так же неузнаваемо отличен от бородатого боярства Московской Руси, как овладевшие в 1917 г. Кремлем бывшие эмигранты в потертых пиджаках были отличны от этого самого рафинированного истеблишмента. Революция Петра изменила страну не меньше, чем революция Ленина. И она обещала ей взлет на вершину мирового могущества. Уже во второй половине восемнадцатого столетия екатерининский канцлер Безбородко хвастал, что „ни одна пушка в Европе без нашего позволения выпалить не смеет”. К середине следующего столетия Петербургская Россия достигла апогея своего могущества, превратившись в супердержаву и „жандарма Европы”, в главную антиреволюционную силу мира, в которой Карл Маркс (точно так же, как сейчас президент Рейген) видел „империю зла” и „оплот всемирной реакции”. Это было время, когда русский историк Михаил Погодин восклицал: „Спрашиваю, может ли кто состязаться с нами и кого не принудим мы к послушанию? Не в наших ли руках политическая судьба ми-

ция” после Брежнева иллюстрируют антагонистический характер русского политического процесса в советской подсистеме. Они, однако, насколько не отличались в принципе от, скажем, режима „деианизации” после Ивана Грозного в Московской подсистеме, как и от аналогичных „депетринизации” или „деекатеринизации” в Петербургской подсистеме.

Каждый из русских режимов имеет свою функцию, не только противоположную функции предшествующего режима, но и более или менее независимую от сознательных намерений его лидеров.

Функция режима контрреформы, например, состоит в попытке увековечить авторитарную систему. Функция режима реформы — в попытке ее разрушить. Функция режима стагнации — в попытке восстановить равновесие системы, нарушенное обоими предшествовавшими экстремистскими режимами. В этом причина (как доказали столетия) того, что ни военное, ни экономическое давление извне не способны разрушить авторитарную природу русской политической системы. В принципе, сделать это может только режим реформы. И только в благоприятных для этого международных условиях — в сотрудничестве с интернациональным сообществом. Во всяком случае, как свидетельствуют те же столетия, в неблагоприятных международных условиях прорыв в европейскую цивилизацию оказался для России невозможен.

ра, если только мы захотим решить ее?.. Русский государь ближе Карла Пятого и Наполеона к их мечте об универсальной империи!”¹⁶

И что же? Уже несколько десятилетий спустя мы видим Петербургскую Россию в той же ситуации угасания, из которой она вывела когда-то Московское царство, утратившей гордый статус супердержавы, опять провинциальной и агонизирующей. Владимиру Ленину суждено было исполнить в начале двадцатого столетия то, что Петр исполнил в начале восемнадцатого – разрушить отжившую форму русской политической системы для того, чтобы спасти ее полувизантийскую, имперскую средневековую сущность. И опять – со своим коммунизмом, интернационалом и „диктатурой пролетариата” – отличалась эта Россия от своей предшественницы настолько, что казалась другой страной. И опять поднялась она к вершинам мирового могущества, превратившись в супердержаву и уже к середине столетия совершив то, что не удалось Петру, – проглотила, даже не поперхнувшись, Восточную и часть Центральной Европы с населением в сто одиннадцать миллионов.

И что же? Несколько десятилетий спустя мы видим советскую Россию в той же ситуации исторического угасания, из которой она когда-то вывела Петербургскую империю, опять агонизирующую, с длинным перечнем словно бы неизлечимых болезней, перечисленных выше Шульцем и Алленом. Поистине нужно полностью игнорировать русское прошлое, чтобы думать, что это конец русской истории, которую я только что попытался сжато набросать.

На самом деле, чем дальше заходит Россия по пути исторического упадка, тем ближе момент национального кризиса, в котором снова – в третий раз за последние триста лет – решится, каким путем будет она выходить из очередного упадка. Но тем опаснее мировая ситуация. Во всяком случае, эйфория уместна сейчас, в середине 1980-х гг., не более, чем была уместна паника в конце 1970-х. Если за последнее полутысячелетие существовал момент, когда Западу была жизненно не-

обходима точная, продуманная и мощная стратегия, способная повлиять на исторический выбор России, то этот момент наступил сейчас, в ядерный век, перед лицом ее разворачивающегося на наших глазах национального кризиса.

Поэтому первая цель этой книги — показать читателю, что кризис в России конца XX столетия не менее реален, нежели кризисы семнадцатого и начала нынешнего века. Что если закупоренную политической стагнацией последних десятилетий национальную энергию и на этот раз не удастся направить в русло мирной реформы, как не удалось тогда, кризис этот опять может привести к возникновению на мировой арене чудовищной гарнизонной империи во сто крат более опасной и агрессивной, чем сегодняшняя угасающая СССР.

У М. Горбачева были предшественники. И в конце семнадцатого и в начале двадцатого веков Россия выдвинула сравнительно молодых и динамичных лидеров — Василия Голицына в первом случае и Петра Столыпина во втором, — попытавшихся отвести опасность гарнизонной контрреформы смелыми планами реформ. Они были изобретательны и энергичны, они многого добились. Но они проиграли. Выиграли их противники, лидеры гарнизонных контрреформ, Петр — в первом случае и Ленин — во втором.

Поэтому другая цель этой книги показать читателю, что контрреформа в России в конце двадцатого столетия или в начале следующего — столь же реальна, сколь была она реальна в конце семнадцатого и в начале двадцатого. Более того. Идеология современной контрреформы интенсивно разрабатывается уже с конца 1960-х гг. и в России, и в эмиграции группами интеллектуалов, совокупность которых я, собственно, и называю „русской новой правой“.

Наконец, третья по счету, но не по значению цель этой книги — показать читателю, что ключ к пониманию этой опасности — и, следовательно, к ее предотвращению — лежит в постижении природы идеологии контрреформы, атаковавшей гнилой и внутренне опустошенный режим политической стагнации справа.

Задача эта, может быть, труднее всех других. Хотя бы по-

тому, что в единоборстве циничного полицейского режима с горсткой бесстрашных оппозиционеров (такой чаще всего представляется миру борьба „новой правой” в СССР) наши симпатии, естественно, на стороне гонимых. А если еще учесть, что по крайней мере диссидентская (и эмигрантская) фракции „новой правой” громко провозглашают свой антикоммунизм, симпатии всех антикоммунистов в мире должны быть с нею. То обстоятельство, что оппонирует она средневековой политической системе со средневековых позиций, т.е. борется не за ее разрушение, но за ее оздоровление, за ее воспроизведение в еще более органичной и агрессивной форме, может в этих условиях представляться несущественным — в особенности тем, кто исповедует идеологический подход к России. Ибо если коммунизм — конечное зло, то что может быть хуже? Увы, ни опыт сталинизма, ни опыт нацизма ничему этих людей не научили. В этом и состоит роковая оптическая aberrация, которая делает постижение реальной функции „русской новой правой” в советской политической системе столь трудным.

Попробуйте объяснить, скажем, французскому или американскому неоконсерватору, что его сочувствие к русскому антикоммунисту, вдохновленному средневековыми идеями, опаснее умиротворительной позиции Невилла Чемберлена в Мюнхене, — он никогда вас не поймет. И в этом нет ровно ничего удивительного. Ибо, чтобы понять, о чем речь, он должен прежде постичь русскую историю как вековую неухающую борьбу реформы, стремящейся к разрушению русского средневековья, и контрреформы, стремящейся к его увековечению. Идеологический подход не дает ему возможности даже увидеть сложности проблемы. Точно так же, как геополитический подход лишает его либерального оппонента возможности увидеть, что поведение России в мировой политике зависит не столько от ее сегодняшней имперской динамики, сколько от характера ее режима.

Иначе говоря, роль „русской идеи” в современной истории России просто не может быть понята западными интеллектуалами и политиками в рамках конвенциональных подходов к России. Пределы их видения жестко ограничены этими под-

ходами, лишенными исторического измерения. Вот почему, прежде чем альтернативный (назовем его для простоты „историческим“) подход не обретет свое законное место в западных интеллектуальных дискуссиях о России, книга о русском национализме не может быть воспринята ими адекватно. Этого не понимал я семь лет назад, когда готовил к изданию „Русскую новую правую“.

ОБЪЯСНЕНИЕ С ЧИТАТЕЛЕМ

Книга была замечена, на нее появились рецензии на многих языках, следовательно, ее обсуждали во многих странах мира. Список откликов на нее, даже если опустить бурю ярости в русской эмигрантской прессе, выглядит внушительно.¹⁷ И все-таки цель, ради которой она писалась, не была достигнута. Не в последнюю очередь потому, что в неизреченной своей наивности я полагал, что факты говорят сами за себя, что документы работают

17 Вот некоторые из работ (те, что я знаю), где обсуждалась „Русская новая правая“:
S.Cohen. The Left Right – New York Times Magazine, 1/7/79; L.Schapiro. The Roots of Reaction – Times Literary Supplement, 11/10/78; A.Brumberg. The Russian New Right – The New Republic, 5/5/79; P.Dreyer. Russia's New Fascists – Spectator, 9/9/78; J.Campbell. The Russian New Right – Foreign Affairs, Fall 1978; O.Carlisle. L'audience de Solzhenitsyn en Occident et en USSR – Le Monde Diplomatique, 9/2/78; L.Tas. La Nuova Destra – Occidente, No 6, 1978; R.Ainzstein. The End of Marxism-Leninism: Anti-Semitism Institutionalized – New Statesman, 12/15/78; A.Brumberg. La Renaissance du Nationalisme Russe – Le Matin, 2/14/79; P.Dreyer. The Coalition of Fear – San Francisco Review of Books, vol.4, No 3, Sept.1978; H.von Ssachno. Khomeini ante portas? – Suddeutsche Zeitung, 3/3/79; S.-E. Wimbush. The Russian New Right – The Russian Review, 1/80; I.Carrion. Los Ultras Estan Conquistando el Poder en la USSR – ABC (Madrid), 3/21/80; L.Wainstain. L'orso russi guardera a destra – La Stampa, July 17, 1981; V.Zaslavsky. The Russian New Right – Theory and Society, v.6, 1978; J.Torlontano. La cultura dell'isolazionismo in USSR – La Voce Repubblicana, September 4, 1981; D.Hastad. Bulldoggarna slass under mattani Kremlin – Dagen Nyheter, June 9, 1982; R.di Leo. Quando la Santa Russia ispira i dissidente – La Repubblica, 1/12/79; R.Ainzstein. Anti-Semitism, the New Soviet Religion – Jerusalem Post, 12/28/78; J.Harris. The Russian New Right – American Political Science Review, vol 73, 1979; I.-L.Horowitz. The Linchpin is Anti-Semitism – Present Tense, Fall 1979; E.Conine. Russian New Right May Play Role – Herald Tribune, Sept. 1, 1982.

эффективнее, нежели интеллектуальные стратагемы, что примеры нагляднее философских концепций и что способность свободного ума к восприятию новых идей безгранична. Я ошибся.

Выходец из страны государственной цензуры, я думал, что все зло в ней, что только она ограничивает человеческое видение мира. Теперь я понимаю, что есть еще и другие, не менее жесткие ограничения, которых никто нам извне не навязывает. Мы навязываем их себе сами – своим интеллектуальным подходом к проблеме так же, как и логикой борьбы с оппонентами, никакого отношения к проблеме не имеющей. Вот почему, чтобы ввести в оборот новый комплекс идей, противоречащих конвенциональным подходам, нужно нечто большее, чем факты. Нужно, во-первых, чтобы бесплодность и бесперспективность этих подходов стала очевидной. Нужна, во-вторых, интеллектуальная альтернатива. Именно поэтому в этой книге „русская идея” будет рассмотрена не только в контексте русской интеллектуальной и политической истории, но и в контексте западного спора о России. И в контексте того, что Запад может сделать, чтобы в ядерном веке помочь русской реформе, а не русской контрреформе.

УРОК

Есть и еще одна причина, почему я надеюсь, что эта книга сможет сделать то, что не удалось „Русской новой правой”. Эмигрантская фракция русского национализма (я называю ее так в отличие от истеблишментарной ее фракции в Москве) дала за эти годы западной публике ряд поучительных уроков. Самый недавний из них я сейчас вкратце перескажу.

20 января 1981 г. Правление Русского национального объединения в Западной Германии обратилось с поздравительным письмом к новому президенту Соединенных Штатов. Письмо длинное, но суть его содержится в последнем абзаце: „Коммунизм во всех его идеологических и практических

проявлениях — главный и смертельный враг человечества. Путь поисков к примирению с ним ведет к неминуемой катастрофе. Для предотвращения катастрофы остался еще незакрытым один путь — путь нахождения союза, понимания и честной дружбы с русским народом”, который, как говорится в другом месте письма, ничего общего не имеет „с господствующей в СССР властью”, а, напротив, представляет собою „первую и наиболее пострадавшую жертву коммунистической диктатуры”.¹⁸

Призыв был услышан. Спустя год после этого обращения новая американская администрация действительно перестроила кадровую структуру радиостанций „Свобода” и „Голос Америки” с тем, чтобы адаптировать американское радиовещание на СССР к идеям „русской новой правой”. Вот что из этого получилось.

В конце января 1985 г. нью-йоркская газета „Дейли ньюс” спрашивала своих читателей: „Знали ли вы, что ваши налоги используются для антисемитских передач на Россию?.. И что вместо того, чтобы распространять весть о свободе и демократии, которую президент Рейган объявил нашим вкладом в современный мир, радио „Свобода” распространяет монархические идеи?”¹⁹ Согласно газете „Лос-Анджелос таймс”, антисемитизм и монархические идеи нашли место, в частности, „в передаче отрывков из романа Александра Солженицына „Август 14”, касающихся убийства в 1911 г. еврейским анархистом царского премьер-министра. В передаче использовались выражения, традиционно употребляемые русскими антисемитами и даже цитировался пассаж из „Протоколов сионских мудрецов”.²⁰

Согласно редакционной статье журнала „Нью рипаблик” все началось „в 1982 г., когда администрация Рейгана назначила Джорджа Бейли (человека, близкого к Солженицыну)

18 „Вече”, № 1, 1981, с.197, 196.

19 Lars-Erik Nelson, Radio Liberty: Tax-Paid Anti-Semitism — Daily News, 23 January 1985.

20 International Bloopers — Los Angeles Times, January 28, 1985.

директором радиостанции „Свобода”. „Бейли, — продолжает журнал, — привел с собою группу эмигрантских радиокомментаторов, разделяющих националистические взгляды Солженицына. Нет сомнения, их идеология антикоммунистическая. Однако, прославляя царскую Россию, она рассматривает и большевизм, и парламентарную демократию как явления одинаково „декадентские” и „западные”, которым не место в русском обществе. Исторически эта идеология содержит сильную дозу антисемитизма”.²¹

Газета „Крисчен сайенс монитор” была более конкретна: „В течение двух с половиной лет под руководством Джорджа Бейли оплачиваемая США радиостанция передавала в эфир, что:

— западная демократия коррумпирована и не подходит для Советского Союза;

— требование Соединенных Штатов, чтобы правые авторитарные режимы соблюдали права человека, непродуктивно и аморально;

— либеральные оппоненты царской автократии заблуждались и содействовали большевистскому перевороту;

— еврейские революционеры несут прямую ответственность за свержение старого режима;

— еврейские погромы на Украине во время гражданской войны, хотя сами по себе и предосудительны, должны рассматриваться в контексте поддержки евреями красных;

— дивизия СС Галичина, составленная из украинских добровольцев и сражавшаяся на стороне Гитлера во Франции, представляла лучшие устремления украинских борцов за свободу”.²²

Кроме того, по сообщению той же газеты, „один из редакторов радиостанции „Свобода” (старый сподвижник Бейли), присутствуя при одном интервью, задал риторический вопрос: „А кто сказал, что антисемитизм это плохо?”²³

21 Taking Radio Liberties – The New Republic, Febr. 4, 1985.

22 D.Simes. The Distruction of Liberty – Christian Science Monitor, Febr. 13, 1985.

23 Ibid.

Древняя африканская поговорка гласит: если крокодил хочет съесть твоего врага, это еще не значит, что он твой друг. Попытка Гитлера проглотить (между прочим, без всякой дискриминации) и коммунистическую Россию, и парламентарную Европу доказывают мудрость этой поговорки. И что же, многому ли это нас научило?

РОССИЯ ПРОТИВ РОССИИ

В чем смысл урока, преподнесенного глашатаями русской новой правой американской администрации, искренне попытавшейся использовать ее антикоммунистические потенции? Откуда, спрашивается, могла знать эта администрация, что „русская идея” представляет не Россию Пушкина и Толстого, но от века враждебную ей Россию Пуришкевича и Союза русского народа? Ту самую, что в первые же месяцы режима контрреформы Александра Третьего в 1881 г. начала эру массовых еврейских погромов в современной истории? Ту самую, что в борьбе против реформ создала первую в мире массовую протофашистскую партию? Ту самую, что сфабриковала — тоже в борьбе против реформ — ядовитый и грязный антисемитский документ „Протоколы сионских мудрецов”? Откуда современной американской администрации знать все эти „античные” истории, если произошли они задолго до коммунистической революции, в царской и вполне антикоммунистической России?

Мог ли идеологический подход к СССР, разделяемый, надо полагать, большинством администрации, предостеречь ее от союза с партией русской контрреформы? Никак не мог. Люди, исповедующие этот подход, даже не подозревают о том, что борьба России против России, реформы против контрреформы составляют сущность русской истории.

Могли ли оппоненты администрации предупредить ее об ошибке, если их собственный геополитический подход к СССР игнорирует эту борьбу точно так же, как и идеологический?

Смысл только что рассмотренного урока как будто бы действительно в том, что без альтернативного, исторического подхода к России Запад просто не в состоянии оценить интеллектуальную и политическую сложность проблемы, с которой столкнулся он во второй половине XX в. С другой стороны, урок этот демонстрирует, что сложность проблемы не может быть оценена во всем ее объеме без постижения природы „русской идеи” и ее роли в русской истории.

Именно это и заставило меня взяться за новую книгу о русском национализме в середине 1980-х гг. – когда новый исторический упадок России становится все более очевиден и когда слишком многое в судьбе мира зависит от того, каким путем будет она выходить из своего кризиса в конце XX столетия, – путем реформ или контрреформ.

2

„РУССКАЯ ИДЕЯ”: МЕЖДУ ДВУХ НЕНАВИСТЕЙ

„Русская идея”, как я называю вслед за Бердяевым теоретическое ядро идеологии „русской новой правды”, возникла примерно в то же время, что и марксизм — теоретическое ядро большевистской идеологии, т.е. в 1830-1850-е гг. У нее не было своего Маркса, однако. Создана она была группой московских литераторов и философов (К.Аксаков, А.Хомяков, И.Киреевский, Ю.Самарин, П.Кошелев, П.Киреевский и др.), которых их противники называли славянофилами (они, впрочем, против такого названия не возражали). Философские, историографические и религиозные аспекты славянофильства были достаточно хорошо изучены в дореволюционной России и на Западе. Этого нельзя сказать, к сожалению, о его политической доктрине (отчасти потому, что славянофилы презирали политику, отводя ей третьестепенное место в своих работах). Еще менее изучены сложные метаморфозы, пережитые этой доктриной в 1860-1880-х гг. Совсем мало известно о дальнейшей ее трансформации в 1890-1910-х гг. И вообще ничего не написано о связи славянофильской политической доктрины с неожиданным, никем не предсказанным и никак не объясненным воскрешением „русской идеи” в коммунистической России в 1960-х гг.

В отличие от марксизма, о котором написаны библиотеки, политическая доктрина „русской идеи” остается, таким образом, предметом сравнительно темным даже в том, что касается ее первоначального, славянофильского катехизиса. Ис-

торическое же ее развитие от 1830-х до 1980-х гг. не было прослежено – никогда и никем. Может быть, поэтому речи ее самого знаменитого современного идеолога Александра Солженицына так потрясли Америку и Западную Европу в 1975-78 гг. Они казались свежим ветром с Востока, чем-то совершенно неслыханным, криком души угнетенной коммунизмом России.

Мало кто подозревал, что Солженицын лишь повторяет, часто буквально, постулаты и формулы „русской идеи” столетиями давности. Следует сказать, что сам Солженицын не особенно старался привлечь внимание своих слушателей и читателей на источник своего вдохновения. По какой-то причине он не желал прямо сослаться на своих духовных прародителей, поведать миру свою политическую родословную. Не сделал этого за него и ни один из многочисленных его биографов. Происхождение взглядов Солженицына остается поэтому загадочным, во всяком случае для массового читателя, хотя можно подозревать, что не только для него.

НАЧАЛО

Славянофильство возникло полтора столетия назад из благородного стремления освободить Россию от „душевредного деспотизма” и „полицейского государства”,¹ а Европу – от „парламентаризма, анархизма, безверия и динамита”.²

Именно из двойственности этого мессианского задания и возникла изначальная двойственность философской доктрины „русской идеи”. Если правда, что „проблема дьявола” (или, если угодно, отрицательного героя), есть своего рода теодицея любой идеологической конструкции, оправдание ее Бога,³ то

1 Теория государства у славянофилов. Сб.статей. СПб., 1898, с.32, 180.

2 Цит.по: С.Н.Трубецкой. Противоречия нашей культуры. – „Вестник Европы”, 1894, № 8, с.510.

3 См.: А.Янов. Рабочая тема. – „Новый мир”, 1971, № 3, с.247.

двойственность „русской идеи”, своеобразная ловушка, содержащаяся в ней с самого начала, заключалась в том, что у нее было два дьявола. Она обречена была метаться между двух ненавистей, ибо зло, от которого следовало спасать Россию, совершенно не походило на зло, от которого намеревалась она спасать Европу. Россию предстояло спасать от недостатка свободы, а Европу — от ее избытка.

Обратимся сначала к „дьяволу № 2”. „Посмотрите на Запад. Народы увлеклись тщеславными побуждениями, поверили в возможность правительственного совершенства, наделали республик, настроили конституций — и обеднели душою, готовы рухнуть каждую минуту”.⁴ „Мессианистическое значение России относительно Запада не подлежит сомнению... одно только славянофильство еще может избавить Запад от парламентаризма, анархизма, безверия и динамита”.⁵ „Сегодня — западные демократии — в политическом кризисе и в духовной растерянности... на оползнях, в немощи воли, в темноте о будущем, с раздерганной и сниженной душой... бессильны перед кучкою сопливых террористов”.⁶ Происходит это потому, что Запад „не догадывается, что свобода коренится в религиозной глубине, а не лежит на политической поверхности”, „в религии, а не в политических институтах”.⁷ „У нас часто толкуют о гарантиях и усматривают их именно в западноевропейском правовом порядке. Но если последний служит основанием гарантии, то чем же гарантируется самый правовой порядок, иначе: чем же гарантируется гарантия?”⁸ Европа наивно верит в способность хороших конституций запитать ее от катастрофы, верит в политическое многообразие, в плюрализм. „Демагогия о плюрализме вырастает из полити-

4 Теория государства..., с.31.

5 С.Н.Трубецкой. Цит.соч., с.510.

6 А.Солженицын. На возврате дыхания и сознания. — Сб., „Изпод глыб”. Париж, Имка-пресс, 1974, с.21, 25.

7 Б.Парамонов. Парадоксы и комплексы Александра Янова. — „Континент”, № 20, 1980, с.241.

8 И.С.Аксаков. Полн.собр.соч. М., 1886, т.2, с.510-511.

ческого понимания свободы. Мы в России оцениваем свободу прежде всего как явление глубоко духовное. Человек должен быть внутренне свободен для того, чтобы затем стать свободным политически. И это опять-таки выходит из евангельского изречения: „Познайте истину, и истина сделает вас свободными“. Так что, если мы найдем свободу в собственной душе, уверяю вас, общество будет свободным и политически. Если же мы начнем с политической свободы, обязательно придем к духовному закреплению. И это на каждом шагу происходит на Западе”⁹

Я процитировал славянофилов четырех поколений — от 1850-х до 1970-х гг. И все они понимают зло, ведущее Запад к катастрофе, одинаково. Для всех них оно — в подмене религиозного дела политическим, в роковом смещении свободы внутренней (духовной) с внешней (политической) и в вытекающей из нее вере в парламенты, в конституции и в республики. Так выглядел „дьявол“, от которого „русская идея“ намеревалась — и все еще намеревается — спасти Запад. Парламентаризм, если выразить все это одним словом, был ее „европейской“ ненавистью.

„Дьявол“, с которым она конфронтировала в России, ее — главная — „русская“ ненависть, выглядит совсем иначе. „Откуда происходит внутренний разврат, взяточничество, грабительство и ложь, переполняющие Россию?“¹⁰ — спрашивал Константин Аксаков, самый замечательный идеолог славянофильства. Почему „современное оостояние России представляет внутренний разврат, прикрываемый бессовестной ложью... [почему] все лгут друг другу, видят это, продолжают лгать и неизвестно до чего дойдут?“¹¹ Почему на этом „внутреннем разладе выросла бессовестная лесть, уверяющая во всеобщем благоденствии“?¹² Потому что, — отвечает он с мужеством,

9 В.Максимов. Свобода духовная должна предшествовать свободе политической. — „Новое русское слово“, 18 июня 1978.

10 Теория государства..., с.49.

11 Там же, с.38-39.

12 Там же.

достойным Солженицына, — „правительство вмешалось в нравственную жизнь народа... перешло таким образом в душевредный деспотизм, гнетущий духовный мир и человеческое достоинство народа и, наконец, обозначившийся упадком нравственных сил в России — с общественным развращением”.¹³ Вот отчего „правительство не может при всей своей неограниченности добиться правды и честности... всеобщее развращение или ослабление нравственных начал в обществе дошли до огромных размеров... это сделалось уже не личным грехом, а общественным, здесь является безнравственность целого общественного устройства”.¹⁴

Вот откуда — от „душевредного деспотизма” (от тоталитаризма, судя по тому, как описывает его Аксаков) — грозит России катастрофа: „Чем долее будет продолжаться петровская правительственная система, делающая из подданного раба, тем более будут входить в Россию чуждые ей начала... тем грозней будут революционные попытки, которые сокрушат, наконец, Россию, когда она перестанет быть Россией”.¹⁵

Это письмо Аксакова царю отличается, конечно, от письма Солженицына вождям Советского Союза. Солженицын не назвал бы русский деспотизм „петровской правительственной системой”. Он не сказал бы „душевредный деспотизм”, он сказал бы „черный вихрь с Запада” или „идеология”. Хронология тоже, разумеется, не совпадает. Аксаков говорит, например, что „народ желает... чтобы государство не вмешивалось в самостоятельную жизнь его духа, в которую вмешивалось и которую гнело правительство полтораста лет”,¹⁶ в то время как Солженицын сказал бы „шестьдесят семь лет”. Разумеется, нужно принять во внимание, что Аксаков писал свое письмо за сто двадцать лет до Солженицына. А поскольку „душевредный деспотизм” возник, по его мнению, в России по крайней

13 Там же, с.32-33.

14 Там же, с.39.

15 Там же, с.37-38.

16 Там же, с.41.

мере за столетие до его, Аксакова, рождения, он никак не мог быть занесен „черным вихрем” с Запада в 1917 г. Аксаков, однако, едва ли стал бы возражать против „черного вихря” в принципе. Так же, как Солженицын, был он искренне убежден в западном происхождении русского зла — он ведь тоже был пророком „русской идеи”. Только поразил этот вихрь Россию, по его подсчетам, где-то около 1700 года.

Впрочем, все это частности. Важным в обоих письмах было нечто другое — что деспотизм (царский — в одном случае, коммунистический — в другом) действительно ведет Россию к катастрофе. И в обоих случаях „русская идея” устами своих наиболее выдающихся пророков обещала спасти страну от этой ужасной судьбы.

Не потому ли умалчивает сегодня Солженицын о своих духовных прародителях, что торжественные обещания, содержащиеся в „русской идее” и данные народу и миру полтора столетия назад, оказались невыполненными?

ИСПЫТАНИЕ ИСТОРИЕЙ

Американский мыслитель Гораций Уайт заметил однажды, что конституция Соединенных Штатов „основана на философии Гоббса и рели-

гии Кальвина. Она предполагает, что „естественное состояние человечества есть состояние войны и что земной ум находится во вражде с Богом”.¹⁷ Хорошо это или плохо — другой вопрос. Невозможно отрицать, однако, что на основе этого религиозно-философского мироощущения была создана достаточно практичная политическая доктрина („парламентаризм”), ухитрившаяся пережить все великие кризисы XX в. — политические, военные и экономические — и избежавшая, следовательно, катастрофы, предсказанной ей славянофилами полтора столетия назад. Люди, набрасывавшие конституцию летом

17 R.Hofstadter. The American Political Tradition — Vintage Books, 1948, p.3.

1787 г. в Филадельфии, „не верили в человека, — как замечает историк Ричард Хофштадтер, — но верили в силу хорошей политической конституции, способной его контролировать”.¹⁸ Они не ожидали от этого человека духовного возрождения или нравственной революции, одним словом, чудесного превращения в кладезь добродетели. Они не верили, что добродетель способна когда-либо нейтрализовать порок, „вместо этого отцы конституции полагались на способность порока нейтрализовать порок”.¹⁹

Американской конституции не существовало бы, если бы они хоть на минуту предположили, что нравственная революция должна предшествовать политической. Даже дискуссии на эту тему, которыми уже второе столетие поглощены проповедники „русской идеи”, показали бы им пустой тратой времени. Ни одной демократии не существовало бы в мире сегодня — и, следовательно, сегодняшним пророкам „русской идеи” нигде было бы спастись от отечественного деспотизма, если бы западные лидеры последовали в свое время совету их духовных прародителей и сочли парламентаризм мировым злом.

Я не берусь быть судьей в споре между философией Кальвина и Гоббса и философией отцов православной церкви. Может быть, последняя была несопоставимо благочестивее и духовнее первой. Однако идея нейтрализовать порок пороком оказалась практичной в политике, а идея возрождения добродетели, способной впоследствии нейтрализовать порок, оказалась бесплодной мечтой, способной лишь увековечить деспотизм.

При всем естественном человеческом уважении к духовным поискам отцов „русской идеи”, приходится констатировать, что изначальное презрение к политике и ненависть к парламентаризму наказали их политическим банкротством. Именно парламентаризм, от которого намеревались они спасти Европу, в действительности спас Европу. Он оказался единственным известным человечеству способом обеспечить свободу.

18 Ibid.

19 Ibid., p.7.

История показала, что „русская идея” была не практической альтернативой парламентаризму, но лишь утопией. Причем, как мы увидим дальше, утопией опасной.

Представим себе на минуту соседей, каждый из которых вел хозяйство, руководствуясь собственным принципом. Для одного этим принципом являлся, допустим, парламентаризм, для другого – „русская идея”. Первый, хорошо ли, дурно ли, пережил сотрясавшие его хозяйство кризисы и пошел вперед, а другой – вылетел в трубу. Есть ли основания у наследников банкрота высокомерно третировать хозяйство соседа как „гниющее”, как „готовое рухнуть каждую минуту”, как „духовное закрепощение”?

Конечно, наследники банкрота могут возразить – и возражают – что Россия была бы сейчас во главе мировой культуры, если бы только не завоевал ее в 1917 г. западный коммунизм, если бы только православие получило возможность свершить предначертанное ему Богом, если бы только у пророков „русской идеи” были развязаны руки.

Но в распоряжении их политических предшественников было достаточно времени – с 1830-х годов до начала двадцатого века. Все эти годы Россия была лидером мирового антикоммунизма, православие было ее государственной религией и, следовательно, у сторонников „русской идеи” были развязаны руки. У них были десятилетия для того, чтобы поставить исторический эксперимент, и они действительно попытались его поставить.

Чем он закончился? Тем, что сегодняшним их идейным наследникам приходится повторять все те же обанкротившиеся призывы и несостоявшиеся прогнозы.

Мы еще вернемся к этим вопросам. Сейчас суммируем лишь главные положения первоначального катехизиса славянофильства, выработанного отцами „русской идеи” и повторяемого сегодня их наследниками.

МИССИЯ РОССИИ

Катехизис этот исходил, как мы уже знаем, из того, что современный мир переживает глобальный

духовный кризис, который, говоря словами сегодняшнего пророка, „стремительно увлекает человечество к катастрофе”.²⁰

„Русская идея” указывала на неспособность секуляризованного, материалистического и космополитического Запада справиться с этим духовным кризисом, устоять перед „анархией, безверием и динамитом” (в старой антидеспотической редакции), или перед „кучкою сопливых террористов” и глобальным коммунистическим натиском (в новой редакции, антикоммунистической).

„Русская идея” видела исторический источник этого кризиса в секулярном Просвещении — в отказе Запада от религии как духовной основы политики, в его неспособности осознать, что не индивид, а нация является фундаментом задуманного Богом миропорядка, что „человечество квантуется нациями”.²¹ (опять-таки говоря словами сегодняшнего пророка).

„Русская идея” указывала на провиденциальную роль православия, единственно способного спасти мир на краю бездны, и на Россию как на носительницу этой великой миссии.

Она отрицала „вмешательство правительства в нравственную жизнь народа” (полицейское государство). Но в равной степени отрицала она и „вмешательство народа в государственную власть” (парламентаризм). Обοим противопоставлялся „принцип власти *авторитарной*”.²² Власть, — учили пророки „русской идеи”, — должна быть неограниченной, потому что „только при неограниченной власти монархической народ может отделить от себя государство, предоставить себе жизнь нравственно-общественную, стремление к духовной свободе”.²³

20 Из-под глыб, с.78.

21 Там же, с.19.

22 Там же, с.23.

23 Теория государства..., с.57.

„Русская идея” не признавала центрального постула западной политической мысли о разделении властей (как институциональном воплощении нейтрализации порока пороком). Она противопоставила ему принцип *разделения функций* между светской и духовной властями — государством, охраняющим страну от внешнего врага, и православной церковью, улаживающей внутренние конфликты нации. Мизантропической философии Гоббса противопоставила она пусть навивную, но чистую веру в отношения любви и добра во всей иерархии человеческих коллективов, составляющих общество — в семье, в крестьянской общине, в монастыре, в церкви и в нации. Нация-семья, не нуждающаяся в парламентах, ни в политических партиях, ни в разделении властей, стала ее идеалом. Как и семья, нации не нужны правовые гарантии или институциональные ограничения власти. Как и в семье, на первом месте у нации должны быть не права, но обязанности ее членов. Как и в семье, конфликты нации должны улаживаться духовным авторитетом, а не конституцией.

Идеал нации-семьи предполагал необходимость избавления от порочных влияний „улицы” (Запада) и, следовательно, духовное возрождение, нравственную революцию, в ходе которой Россия вернется „домой”, к своим чистым сельским истокам, в царскую, т.е. допетербургскую (в старой редакции) или докоммунистическую (в новой) Русь, предположительно не ведавшую ни деспотизма, ни полицейского террора, ни официальной государственной лжи.

ФОРМУЛА СВОБОДЫ Можно соглашаться или не соглашаться с этим первоначальным катехизисом „русской идеи”, который, на первый взгляд, столь неожиданно возродился совершенно неизменившимся столетие спустя в коммунистической России, но нельзя отказать ему в благородстве замысла и чистоте намерений. Славянофильство было движением оппозиционным. Хотя первые его пророки были националистами,

они ненавидели *официальный* национализм, идеологию николаевской диктатуры. Они страстно сопротивлялись человеческому угнетению во всех его формах, будь то крепостное право, цензура или официальная ложь. Они призывали „жить не по лжи”. И хотя они, естественно, не могли удержаться от констатации духовного, культурного и потенциального политического превосходства России над Западом, они не желали употребить это превосходство во вред Западу. Они желали лишь открыть ему глаза на то, что есть истина, и тем самым великодушно протягивали ему руку помощи.

Это правда, что славянофильство было „ретроспективной утопией” (Петр Чаадаев). Это правда, что оно было реакционно и реактивно (т.е. в одно и то же время представляло романтическую реакцию на банкротство европейского рационализма восемнадцатого века и политическую реакцию на начавшийся в 1830-1850-е гг. новый упадок русской империи). Это правда, наконец, что оно было неспособно исполнить ни одного из своих торжественных обещаний, т.е. ни спасти Россию от действительно надвигавшейся на нее катастрофы (которую оно – и это грех забывать – первое почувствовало и отразило в своих пламенных писаниях), ни спасти Европу от парламентаризма (к счастью). И при всем том было бы крайне несправедливо забывать, что исходным пунктом политического поиска славянофильства была свобода (пусть лишь духовная, а не политическая).

Его катехизис был удручающе беден.

Деспотизм и парламентаризм – на отрицательном полюсе; „принцип авторитарной власти” (т.е. неограниченная власть, каким-то образом обеспечивающая духовную свободу) – на положительном.

Рационализм – на отрицательном полюсе; вера – на положительном.

Индивидуализм – на отрицательном; коллективизм – на положительном.

Космополитизм – на отрицательном; национализм – на положительном.

Поскольку одна формула: „свобода равна рационализму

плюс индивидуализм, плюс космополитизм” к началу девятнадцатого столетия оказалась несостоятельной, отцы „русской идеи”, перетасовав элементы, получили новую формулу свободы: свобода равна религиозной вере плюс коллективизм, плюс национализм.

ЛИБЕРАЛЬНАЯ ОППОЗИЦИЯ

Современники славянофилов – и либералы-западники, как А.Герцен, и народники, как Н.Чернышевский,

прекрасно понимая реакционность ретроспективной утопии, ценили тем не менее движущее ею стремление к свободе (подобно тому, как академические попутчики сегодняшней антикоммунистической „русской идеи” на Западе понимают и ценят А.Солженицына и его соратников).

Герцен признавался: „Мы видели в их учении новый елей, помазывающий царя, новую цепь, налагаемую на мысль, новое, подчинение совести раболепной византийской церкви”.²⁴ И продолжал: „Да, мы были противниками их, но очень странными: у нас была одна любовь, но не одинакая... мы, как Янус, или, как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время, как сердце билось одно”.²⁵ Менее метафорично, но не менее твердо повторял ту же мысль Чернышевский: „Мало сказать в оправдание славянофильства, что оно приносит относительную или отрицательную пользу. Есть в нем некоторые стороны и безусловно хорошие... Что же касается до его стремлений, нельзя не отдать ему полной справедливости”.²⁶

Ничего похожего не найдем мы, однако, в отношении современных либеральных московских мыслителей к сегод-

24 А.И.Герцен. Былое и думы. Л., ОГИЗ, 1947, с.284.

25 Там же, с.304.

26 Н.Г.Чернышевский. Полн.собр.соч. М., 1947, т.3, с.85-86. В том же духе говорили о славнофилах и другие их современники-оппоненты (см.,напр., Н.Огарев. Избранные социально-политические и философские произведения. М., 1952, т.1, с.409; В.Белинский. Полн.собр. соч., М., 1953, т.Х, с.17-18).

нящей антикоммунистической „русской идее”. Андрей Сахаров,²⁷ Леонид Пинский,²⁸ Григорий Померанц,²⁹ Андрей Синявский,³⁰ Валерий Чалидзе,³¹ Борис Шрагин,³² Андрей Амальрик единодушно отнеслись к возродившейся „русской идее” с подозрением, чтоб не сказать, с откровенной враждебностью. Во всяком случае, никто из них не сказал бы, подобно Герцену, что у него была „одна любовь” с русофилами (как тотчас окрещены были в Москве современные поклонники „русской идеи”). Зато „новая цепь, налагаемая на мысль”, была замечена ими мгновенно, и против „нового подчинения совести раболепной византийской церкви” возникли страстные протесты. Почему? Откуда эта разница?

Никто из этих людей не испытывал ни малейшей симпатии к коммунизму. Напротив, многие из них стали известны благодаря диссидентской борьбе, и все они — против „душевного деспотизма”. Соблазнительно было бы объяснить их враждебность к возродившейся „русской идее” нетерпимостью, отличающей советскую либеральную интеллигенцию от дореволюционной. Однако, если мы попробуем сравнить то, что говорили о ней лучшие из лучших русских либеральных мыслителей, такие, как С.Н.Трубецкой, М.М.Стасюлевич, А.Д.Градовский, П.Н.Милюков или В.С.Соловьев, в 1880-1890-е годы, мы должны будем с удивлением констатировать, что сегодняшние русские либералы несопоставимо более толерант-

27 См., напр., А.Д.Сахаров, О письме Солженицына вождям СССР. Нью-Йорк, 1974.

28 См.Н.Лепин. Парафразы и памятования. — „Синтаксис”, № 7, 1980.

29 См., напр., Г.Померанц, Сон о справедливом возмездии. — „Синтаксис”, № 6, 1980.

30 См., напр., Solzhenitsyn and Russian Nationalism. — New York Review of Books, Nov. 22, 1979.

31 См., напр., Хомейнизм, или национал-коммунизм? — „Новое русское слово”, 27 окт.1979.

32 См.: The Challenge of the Spirit — New York, Alfred Knopf, 1978.

ны к русофилам, нежели их дореволюционные предшественники.

Что же такое узнали о „русской идее“ ее критики 1880-х и 1980-х годов, чего не могли знать люди поколения Герцена и Чернышевского и чего до сих пор не знают ее западные попутчики? Почему так немедленно и без колебаний подняли они против нее меч? Что случилось с благородной ретроспективной утопией после Константина Аксакова?

Мы никогда не поймем этого, если не обратимся к ее генезису и к процессу ее идеологического развития.

3

„РУССКАЯ ИДЕЯ”: ГЕНЕЗИС И ВЫРОЖДЕНИЕ

„Русская идея” возникла в разгар диктатуры Николая Первого (в моих терминах, режима русской контрреформы). Разумеется, политический террор был, как всегда, одним из средств утверждения этого режима. Другим — не менее, а быть может, и более важным — была его идеология. Именно идеологией контрреформа не только обезуружила, но даже на время привлекла на свою сторону почти всю интеллектуальную элиту страны. Славянофилы вовсе не были такими уж еретиками, когда они называли николаевскую диктатуру деспотизмом. Сам диктатор и не думал этого скрывать. Да, говорил он с трогательной прямоотой, „деспотизм еще существует в России, ибо он составляет сущность моего правления, но он согласен с гением нации”.¹

Вот эта мысль о „согласии гения нации” с деспотизмом и составляла ядро идеологии „официальной народности”, правившей Россией четверть века. Она была по сути родом могущественной светской религии, навязанной обществу, оцепеневшему после разгрома отчаянной реформистской попытки декабристов в 1825 г. Смысл ее сводился к обожествлению государства — к культу политического идолопоклонства. Лучшие из лучших русских умов того времени — Пушкин, Тютчев, Белинский, Гоголь, Вяземский, Жуковский, Надеждин оказались неспособны ему сопротивляться. Это тогда Пушкин написал „Клеветникам России” и „Стансы”, а Гоголь — „Выбранные

¹ М.Лемке. Николаевские жандармы и литература. 1826-1855 гг. СПб., 1909, с.42.

места из переписки с друзьями”. Это тогда писал Белинский, что „в царя наша *свобода*, потому что от него наша новая цивилизация, наше просвещение, так же, как от него наша жизнь... безусловное повиновение царской власти есть не одна польза и необходимость, но и высшая поэзия нашей жизни, наша *народность*”.² Добавим к этому тираду Надеждина о том, что „у нас одна вечная неизменная стихия: царь! Одно начало всей народной жизни: *святая любовь к царю*! Наша история была доселе великою поэмою, в которой *один* герой, *одно* действующее лицо. Вот отличительный самобытный характер нашего прошедшего. Он показывает нам и наше *будущее* великое назначение”.³

Как видим, идеология политического идолопоклонства (культ личности, говоря современным языком) была не менее реальным фактом русской культурной жизни в 1830-е гг., нежели в 1930-е.⁴

Власть — мысль народа, его духовный пастырь, его совесть — гласила первая заповедь этой новой религии. Власть все ведает, все видит, всех любит, все может. Главная гражданская добродетель россиянина есть вера в непогрешимость власти. Это языческое обожествление власти было беспрецедентно опасно для русской культуры; оно грозило ей политической деградацией.

Механизм официального национализма был устроен коварно. Триада „православие, самодержавие и народность” ис-

2 Цит. по: А. Янов, Загадка славянофильской критики. — „Вопросы литературы”, 1969, № 5, с. 115.

3 М. Лемке, Николаевские жандармы..., с. 598. (Курсив Надеждина.)

4 „Название государя „Земной Бог”, хотя и не вошло в титул, однако допускается как толкование власти царской, — писал, негодуя, Константин Аксаков. — Государь является какою-то неведомою силою, ибо о ней и говорить и рассуждать нельзя, и которая, между тем, вытесняет все нравственные силы. Лишенный нравственных сил человек становится бездумным и, с инстинктивной хитростью, где может — грабит, ворует, плутует...” Дело дошло до того, возмущался Иван Аксаков, что „в печатной инструкции... сказано нечто странное для христианского общества, именно, что „Государь для подданного есть верховная совесть”, чем как бы упразднялась личная совесть”, — Теория государства у славянофилов. Сб. статей. СПб., 1898, с. 40, 9.

кусно переплетала деспотизм с религией, реакцию с патриотизмом, крепостное право с национальным чувством. Каждый, кто поднимал руку на деспотизм, рисковал ударить по национальному чувству, восставая против реакции, он бросал вызов религии и патриотизму. Это была изобретательно придуманная конструкция, идеологическая ловушка огромной мощи, неуязвимая для либеральной критики. Только приняв ее, можно было оторвать „гений нации” от деспотизма, „народность” от крепостного права, православие от политического идолопоклонства.

Именно эта функция и выпата на долю славянофилов в русской политической истории. Именно с позиции защиты православия атаковали они официальную религию — как ересь. Именно с позиции защиты неограниченной власти атаковали они обожествление государства — как кощунство. Именно с позиции оскорбленного национального чувства атаковали они „официальную народность” — как извращение. Короче говоря, они выступили борцами за секуляризацию власти. Славянофилы бесстрашно провозгласили, что „образовалось иго государства над землею, и русская земля стала как бы завоеванной, а государство завоевательным. Русский монарх получил значение деспота, а свободно подданный народ значение раба-невольника”.⁵ Если прав был Маркс, что „критика религии есть предпосылка всякой другой критики”,⁶ то славянофильство выполнило свою историческую задачу. Заслуга его перед русской культурой не должна быть забыта.

Как ни парадоксально, однако, именно с этого и начинается драма „русской идеи”. Пока она боролась против языческого обожествления государства, она была жизнеспособна. Когда политическое идолопоклонство рухнуло вместе с режимом контрреформы в 1855 г., ее позитивная историческая функция оказалась исчерпанной. От нее осталась лишь ретроспективная утопия.

Пророки „русской идеи” не знали фундаментального

5 Там же, с.36.

6 К.Маркс и Ф.Энгельс. Собр.соч. М., т.1, с.414.

стереотипа политического изменения в России, согласно которому режим контрреформы кончался со смертью диктатора. В русской истории не было случая, когда бы одному деспоту пришел на смену другой. После Николая не могло быть другого диктатора (так же, как не могло быть другого диктатора после Сталина). После каждого из них должна была наступить эра реформы и политического кризиса, эра „дениколаизации” (или „десталинизации”). В этом состоял второй стереотип политического изменения в России, о котором тоже не знали пророки „русской идеи” и который оказался для них роковым.

„СЕРЕДИНЫ НЕТ”

Славянофильство, превосходно усвоившее тактику идейной борьбы в эпоху диктатуры, оказалось совершенно неготово к реальности политической борьбы в эпоху реформы. Как все утописты, славянофилы точно знали, что именно они отрицают и лишь приблизительно — что утверждают. Их ненависть была предельно конкретна, а любовь расплывчата и абстрактна. Возможно ли было „земское государство”, которое, согласно их замыслу, должно было сменить деспотизм, т.е. возможна ли была неограниченная власть, невмешивающаяся в дела „земли”-общества? Постдиктаториальную Россию, Россию реформы эти вопросы не интересовали. Она раскололась на глазах славянофилов на два непримиримых лагеря. Один из них — либеральный — добивался увенчания социальных реформ 1860-х гг. конституцией (означавшей ненавистный славянофилам парламентаризм). Другой лагерь — консервативный — боролся за сохранение автократии, все более и более откровенно стремясь к реставрации не менее ненавистного славянофилам „душевредного деспотизма”. Что касается утопического „принципа авторитаризма”, в котором состояло ядро политической доктрины „русской идеи”, у него, кроме самих славянофилов, сторонников не оказалось.

Политический кризис требовал от великодушного, на-

ивного, презиравшего политику идейного течения жесткого политического выбора. Самого банального „за” или „против”. Реальность кризиса не позволяла метаться между двумя ненавистями. Надо было выбрать одну. И славянофильство сделало свой выбор: „Теперь положение таково, что середины нет — или с нигилистами и либералами, или с консерваторами. Приходится идти с последними, как это ни грустно”.⁷ Таков был выбор Ивана Аксакова, младшего брата Константина, возглавившего славянофильство после того, как его отцы-основатели (К.Аксаков, И.Киреевский, А.Хомяков) отошли в вечность. Живому осколку старого славянофильства, хранителю его догматических древностей переход на сторону защитников деспотизма был еще грустен. Он с трудом отрывал от сердца „земское государство”, он еще строил тактические планы — сначала вместе с защитниками реставрации деспотизма отбиться от парламентаризма, а потом... Но никакого „потом” быть уже не могло. Если власть не желала „земского государства”, когда была слаба, то, окрепнув, она и слышать о нем не захочет. И пойдя на временную уступку „дьяволу № 1”, окунувшись в купель деспотизма с отдаленной мечтой о „земском государстве”, вынырнуло из нее славянофильство с совсем новыми представлениями о мире.

БЛИЗНЕЦЫ

Вырождение „русской идеи”, начавшееся этим роковым выбором, поразительно напоминает аналогичный процесс, происходивший в то же самое время в другом идейном течении (тоже романтической реакции на банкротство рационалистических доктрин восемнадцатого века), в течении, которое подобно славянофильству можно было назвать „тевтонофильством”. У истоков „тевтонофильства”, воодушевленного чистейшей идеей национального возрождения, стоял Фихте с его пламенными „Речами к немецкой нации” и

⁷ Московский сборник. М., 1887, с.81.

Якоб Гримм — воскреситель германского народного эпоса. Первого можно поставить рядом с нашим К.Аксаковым, второго — с П.Киреевским. Среди поклонников „германской идеи” были и Ф.Шлейермахер с „речами о религии”, и Новалис с „Фрагментами о христианстве”; обоих можно сравнить с И.Киреевским и А.Хомяковым. Славянофилы гордились походами Олега на Константинополь, а их немецкие коллеги битвами Арминия с римлянами. В обожествлении нации, в том, что Вл.Соловьев назовет впоследствии „идолопоклонством перед народом”, они были похожи, как братья. И точно так же поджидали „тевтонофилов” коварные объятия пангерманизма. И точно так же предстояла им в конечном счете трагическая метаморфоза, воплотившаяся в фашистском мессианстве.

В 1880-е гг. проповедникам выродившегося „тевтонофильства” предстояло экспортировать в Россию антисемитизм. Как заметил один немецкий историк, „идея антисемитизма обнаружилась полную меру своей ядовитости только в России... Берлинские антисемитские лидеры снабдили русских хулиганов необходимой [идеологической] амуницией. Штекер, Алвардт стали подлинными отцами русских погромов”. А „тевтонофилы” поздравляли себя с тем, что „с оружием из нашего идеологического арсенала русский народ может теперь освободиться от своего смертельного врага”.⁸

В 1920-е гг. идеологам выродившегося славянофильства предстояло с лихвой вернуть долг своим немецким близнецам, экспортировав в Германию „Протоколы сионских мудрецов” и идею тождественности большевизма с мировым еврейством.

В 1830-е гг. классики славянофильства зачитывались Гегелем и Шеллингом. В 1880-е их деградировавшие потомки зачитывались Теодором Фритшем и Германом Гедше, прародителями немецкого антисемитизма.

Другими словами, если в первой половине девятнадцатого века славянофильство и „тевтонофильство” только напоминали друг друга, но шли своими отдельными дорогами, то уже

8 W.Laqueur, *Russia and Germany: A Century of Conflict*.— Weidenfeld & Nicolson, 1965, pp.94, 15.

во второй его половине их потомки нашли друг друга. А еще полвека спустя их сотрудничество привело мир на грань той самой катастрофы, от которой отцы-основатели славянофильства намеревались его спасти.

МЕТАМОРФОЗА

Защитникам реставрации деспотизма, в лагерь которых перешло в 1870-е гг. славянофильство, совершенно неинтересны были ни его „формула свободы”, ни его призыв к спасению Европы от парламентаризма. В конкретной ситуации политического кризиса от второго поколения славянофилов требовалось нечто совсем другое: апология неограниченной власти – независимо от того, вмещивается или не вмещивается она в „нравственную жизнь народа” – и оправдание имперской экспансии. Славянофилы второго поколения храбро ответили на политический заказ автократии. Они довели свою доктрину до требуемых кондиций.

Главный идейный вклад здесь, по справедливости, принадлежал Н.Данилевскому, который, по словам его младшего современника К.Леонтьева, „объяснил сущность учения славянофилов лучше и яснее родоначальников этого учения”.⁹ И сущность эта, по мнению Данилевского, состояла в том, что исполнить свою историческую миссию Россия сможет только преобразовавшись в гигантскую сверхдержаву. Более того, смысл и содержание всей русской истории, оказывается, провиденциально вели Россию... к обладанию Константинополем. „Цель стремлений русского народа с самой зари его государственности, идеал просвещения, славы, роскоши и величия для наших предков, центр православия – какое историческое значение имел бы для нас Константинополь, вырванный из рук турок вопреки всей Европе!”¹⁰ Данилевский цитирует в подтверждение своей мысли великолепные стихи Тютчева:

9 К.Леонтьев. Восток, Россия и славянство. М., 1886, т.2, с.156.

10 Н.Данилевский. Россия и Европа. СПб., 1871, с.407-408.

И своды древние Софии
В возобновленной Византии
Вновь осенят Христов алтарь!
Пади пред ним, о царь России,
И встань как всеславянский царь!¹¹

И действительно, захватив Константинополь, Россия „явилась бы восстановительницей Восточной Римской империи”.¹²

Поэтому главное для России — это не продолжение реформ и тем более не конституция, главное — военная мощь. Главное — быть сильнее Европы. Впрочем, это не так уж и трудно, поскольку парламентарная Европа, назови ее хоть „двухосновным романо-германским историческим типом”, как Данилевский, все-таки — уже в силу своего парламентаризма — „гниет”. Эту истину второе поколение славянофилов точно знало еще из первоначального катехизиса „русской идеи”. И значение ее для имперской стратегии русской автократии оказалось бесценно: убежденность в „духовном гниении” Запада сообщала моральную правоту ее вождениям. Чтобы стать сильнее „гниющей Европы”, нам и нужна-то, по Данилевскому, самая малость — внутренняя монолитность, единство Царя и Народа, сплочение вокруг государственной власти под знаменем великой русской исторической миссии. И старая „формула свободы” нам для этого совершенно ни к чему, ибо „для всякого славянина после Бога и святой церкви идея славянства должна быть высшей идеей, выше свободы, выше просвещения, выше всякого земного блага”.¹³ Отсюда был уже только один шаг до основополагающего вывода, сделанного десятилетие спустя Константином Леонтьевым: „Русская нация специально не создана для свободы”.¹⁴

11 Там же, с.388.

12 Там же, с.406.

13 Цит.по: А.Волжский. Святая Русь и русское призвание. М., 1915, с.36.

14 К.Леонтьев. Письмо И.Фуделю. — „Русское обозрение”, 1885, № 1, с.36.

Этот вывод будет сделан, однако, только в 1880-е гг., когда новая контрреформа попытается вернуть страну в сумерки николаевской диктатуры. Вряд ли могут быть сомнения, что идеи второго поколения славянофилов способствовали постепенному скольжению режима реформы 1860-х гг. в режим политической стагнации 1870-х. И все же жив еще был тогда Иван Аксаков и отдаленные воспоминания о древней „формуле свободы” еще сохраняли власть над наследниками первоначального катехизиса. Сам Данилевский, как мы увидим дальше, был „либеральным империалистом”, т.е. готов был благословить либерализацию внутреннего режима, коль скоро Россия будет изолирована от зловредного западного влияния и великая „Славянская федерация” наглухо захлопнет „окно в Европу”. Данилевский был по сути первым представителем той странной амальгамы изоляционизма с экспансионизмом, которая станет главной характеристикой „русской идеи” после него.

Только приход новой контрреформы Александра Третьего в 1881 г. — после крушения робких реформистских попыток начала десятилетия — обнажит истинный предел, до которого дошла ревизия первоначального катехизиса „русской идеи” во втором поколении славянофилов. Только тогда будет сам И.Аксаков заподозрен в крамольном либерализме, а К.Леонтьев заявит о себе, что он славянофил лишь „в собственно культурном смысле”, который, впрочем, ближе к истинному славянофильству, „чем полулиберальные славянофилы неподвижного аксаковского стиля”.¹⁵ Тогда и провозгласят славянофилы, что не с грустью надо мириться с деспотизмом, как патриарх Аксаков, а видеть в нем высшую силу и мудрость нации. Либеральные положения первоначального катехизиса будут окончательно отброшены, как подрывные, мешающие автократии вести Россию к великой цели. Совсем, как в печальной памяти николаевской идеологии „официальной народности”, наращивание мощи государства будет провозглашено целью нации.

15 К.Леонтьев. Собр.соч. М., 1912-1914, т.6, с.118.

Теперь, однако, будут говорить это не государственные чиновники и не сбитые с толку интеллектуалы, которых первые пророки „русской идеи” уличали в официальной лжи. Теперь будут это говорить ее новые поборники.

Долой все, что подрывает государственную мощь! Долой интеллигенцию („образованщину”, как назовет ее столетие спустя А.Солженицын): „Гнилой Запад — да, гнилой, так и брызжет, так и смердит отовсюду, где только интеллигенция наша пробовала воцаряться”,¹⁶ — восклицает Леонтьев.

Долой просвещение! „Обязательная грамотность только тогда принесет хорошие плоды, когда помещики, чиновники, учителя сделаются все еще гораздо более славянофилами, нежели они сделались под влиянием нигилизма, польского мятежа и европейской злобы”.¹⁷

Долой Европу! „Разрушение западной культуры сразу облегчит нам дело культуры в Константинополе”.¹⁸

И да здравствует государство, которое „обязано быть грозным, иногда жестоким и безжалостным, должно быть сурово, иногда и до свирепости”.¹⁹ Да здравствует социализм, ибо „социализм есть феодализм будущего... то, что теперь крайняя революция, станет охранением, орудием строгого принуждения, дисциплиной, отчасти даже и рабством”.²⁰ „То, что на Западе значит разрушение, у славян будет творческим созданием”.²¹

Никогда еще рабство не проповедовалось в России так квалифицированно, с таким бесстрашием, с такой замечательной мощью предвидения. Силлогизм замкнулся, ловушка за-

16 К.Леонтьев. Восток, Россия и славянство, т.2, с.13.

17 Там же, с.24.

18 Цит.по анонимной рецензии в журн.: „Вестник Европы”, 1885, № 12, с.909.

19 Памяти К.Н.Леонтьева. Сб. статей. СПб., 1911, с.157.

20 К.Леонтьев. Письма к А.Губастову. — „Русское обозрение”, 1897, № 5, с.400.

21 К.Леонтьев. Собр.соч., т.7, с.500.

хлопнулась. Царь и Народ слились в апофеозе „славянского культурно-исторического типа”. „Русская идея”, так страстно отрицавшая политику всего лишь одно поколение назад, наконец-то обрела свою политику. И это была политика деспотизма и имперской экспансии.

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД

Однако исторический цикл эволюции „русской идеи” на этом, увы, не закончился. Этому циклу предстояло завершиться еще более мрачно. И Данилевского, чья теория как бы воплотила в себе историческое возмездие славянофильству за его романтическую утопию, ждало свое возмездие. Он, впрочем, и сам мог бы об этом догадаться, если бы доверял политической реальности больше, чем славянофильской догме. Ибо вопреки этой догме Европа вовсе не „гнила”. И ей не было дела ни до „русской идеи”, ни до теории Данилевского о превосходстве „славянского культурно-исторического типа” над „романо-германским”. Она додумалась до расистских концепций и без помощи славянофилов: судя по антропологическим изысканиям тех же „тевтонофилов”, славяне отнюдь не являлись избранным народом Божиим, то бишь самым передовым культурно-историческим типом. Как раз напротив, страдали они, если верить „тевтонофилам”, совершенно очевидной арийской недостаточностью. Стало быть, в области теории нашла коса на камень.

Что же до практики, то разве Европа уступила бы Константинополь без боя? Более того, были все основания полагать, что предварительным условием захвата Константинополя должно быть всего-навсего завоевание Европы. Если для проверки этой гипотезы мы обратимся к реальному историческому опыту „тевтонофильства”, то увидим, что аншлюс, т.е. воссоединение германцев путем захвата всех территорий, где они проживают, оказался практически возможен лишь в рамках нацистского „нового порядка” в Европе. Иными словами, ее действительно пришлось сначала завоевать.

Так разве не такую же перспективу сулил и славянский аншлюс, проповедуемый Данилевским? И разве такая перспектива была реальна для России в период ее исторического упадка — даже если бы все пожелания вырождающейся „русской идеи” исполнились буквально, т.е. весь народ, как один человек, сплотился вокруг царя на предмет этого самого аншлюса, а еретики-интеллигенты были истреблены до последнего? Ведь даже на высшей точке нового исторического подъема России, в эпоху сталинского режима контрреформы 1940-х гг., панславистская утопия Данилевского не смогла быть осуществлена полностью: Югославия отпала от империи, а Константинополь, центральный пункт утопии, оказался недосягаем. Тем более наивны были эти планы в 1880-е гг. Нет, славянофилы третьего поколения не могли принять завет Данилевского. Новый панславистский катехизис „русской идеи” тоже требовал ревизии.

Совершенно абстрактной и нереалистичной оказалась, в частности, традиционная догма о „гниющей” Европе. И она исчезла из третьего славянофильского катехизиса. Если для Данилевского „и Франция, и Германия, в сущности, наши недоброжелатели и наши враги”,²² то для славянофилов третьего поколения существовала уже только прекрасная Франция и мрачная, злобно оскалившая волчью пасть Германия.

Чтобы понять всю кардинальность этой ревизии, надо вспомнить, что именно Франция была, по Леонтьеву, „худшей из Европ” и именно Париж надлежало разрушить наряду с воцарением России в Константинополе: для второго поколения славянофилов Париж был мировым центром „либерально-эгалитарного разложения”. Вспомним, как говорил Леонтьев, что „наше счастье в том, что мы стоим *im Werden*, а не у вершин, как немцы, и тем более не начали еще спускаться вниз, как французы”.²³ Вспомним, наконец, как сказал Данилевский: „Россия — глава мира возникающего, Франция — пред-

22 Н.Данилевский. Сборник политических и экологических статей. СПб., 1890, с.23.

23 К.Леонтьев. Собр.соч., т.7, с.203.

ставительница мира отходящего”.²⁴ Ничего не осталось от этого в новом катехизисе „русской идеи”. И если первый „белый” генерал Скобелев с генеральской прямоотой призывает внушить Франции „сознание связи, существующей ныне между законным возрождением славянства [читай: захватом Константинополя] и возвращением Франции Меца, Страсбурга, а может быть, и всего течения Рейна”,²⁵ то идеологический лидер нового поколения, редактор журнала „Русское дело” Сергей Шарапов, ревизует катехизис Данилевского глубже и интереснее.

Оказывается, что просто „французы уже пережили свою латино-германскую цивилизацию”. Для них она в прошлом. А поскольку „блестит луч с Востока, греет сердце, и это сердце доверчиво отворяется”, то „зла к нам во Франции мы не встретим”. А вот „Германия — другое дело. Позднее дитя латино-германского мира, не имеющее никаких идеалов, кроме заимствованных у еврейства, не может не ненавидеть новую культуру, новый свет мира”.²⁶ „Русская идея” — благородная романтическая утопия, создавшая свою формулу свободы и мечтавшая о сокрушении деспотизма, оказалась достаточно гибка, чтобы приспособиться и к прагматическим расчетам имперского экспансионизма. Теоретическая база была создана. Дело оставалось за практиками, которые вообще считали, что „штатские теории здесь неуместны”, ибо „следует раз и навсегда покончить со всякой сентиментальностью [читай: славянофильским утопизмом] и помнить только свои интересы”.²⁷ В устах Скобелева такая тирада могла означать только войну. Войну с большой буквы. Войну — крестовый поход. Войну с Германией. Ибо „путь в Константинополь должен быть избран не только через Вену, но и через Берлин” — таков кате-

24 Там же, т.6, с.76.

25 В.Апушкин. Скобелев о немцах. Пг., 1914, с.92.

26 С.Шарапов. Вступление. — „Московский сборник”. М., 1887, с.ХХVI.

27 В.Апушкин. Скобелев о немцах, с.86.

хизис третьего поколения славянофилов. „Есть одна война, которую я считаю священной. Необходимо, чтобы пожиратели славян были в свою очередь поглощены”.²⁸

РОССИЯ ПРОТИВ ЕВРЕЙСТВА

„Русская идея” начала XX в., как ни странно может это показаться теперь, смотрела в будущее уверенно. Ее пророки все еще называли себя славянофилами, но от первой — и главной — ненависти славянофилов, от ненависти к отечественному деспотизму, не осталось уже и следа. Иван Аксаков еще с грустью шел на союз с деспотизмом — только чтобы защитить „русскую самобытность”, „оригинальную культуру” от посягательств русских западников. Третье поколение уже смеялось над этой робкой защитной тактикой: „За самобытность приходилось еще недавно бороться Аксакову. Какая там самобытность, когда весь Запад уже успел понять, что не обороняться будет русский гений от западных нападений, а сам перевернет и подчинит себе все, новую культуру и идеалы внесет в мир, новую душу вдохнет в дряхлеющее тело Запада”.²⁹ Третье поколение, милитаристское и прагматическое, уже и думать забыло о ретроспективной утопии, оно целиком поглощено великой грезой о будущем, в которой виделась им Россия, простиравшаяся на пол-Европы и контролирующая ее остаток, который находится покуда „в совершенном подчинении евреям”.

Уже и от второй ненависти славянофилов, от ненависти к парламентаризму, не осталось ничего в этой выродившейся „русской идее”. Ее „дьяволом” стали „Протоколы сионских мудрецов”. Ее призванием — сокрушение всемирного еврейского заговора. Основная конфронтация современного мира, еще во втором поколении видевшаяся Данилевскому как „Россия против Запада”, казалась новым пророкам безнадежно

28 Там же.

29 С.Шаралов. Вступление. — „Московский сборник”, с.XXV.

устаревшей. „Не в прошлом, свершенном, а в грядущем, чаемом, Россия, — по общей мысли славянофилов, — призвана раскрыть христианскую правду о земле”.³⁰ И правда эта состояла в том, что основная конфронтация в современном мире могла быть определена, как „Россия против еврейства”.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ СЕРГЕЯ

В нашем распоряжении есть удивительный документ, не оставляющий никаких сомнений в том, как видели идеологи славянофильства последнего дореволюционного поколения „христианскую правду о земле”. Самый яркий и экспансивный из них Сергей Шарапов написал об этом роман, который вышел в 1901 г. и называется „Через полвека”.

„Я хотел в фантастической форме, — объясняет автор, — дать читателю практический свод славянофильских мечтаний и идеалов, показать, что могло бы быть, если бы славянофильские воззрения стали руководящими в обществе”.³¹ Вот как видит Москву 1951 г. Шарапов.

Москвич 1950-х гг. встречается с человеком из прошлого и отвечает на его удивленные расспросы:

- „— Разве Константинополь наш?
- Да, это четвертая наша столица.
- Простите, а первые три?
- Правительство в Киеве. Вторая столица — Москва, третья — Петербург”.³²

Каковы же границы этой новой России?

„Персия представляет нашу провинцию, такую же, как Хива, Бухара и Афганистан. Западная граница у Данцига. Вся Восточная Пруссия, далее Австрия, Чехия с Моравией, мимо

30 А.Волжский. Святая Русь и русское призвание, с.23.

31 С.Шарапов. Через полвека. М., 1901, с.3.

32 Там же, с.23.

Зальцбурга и Баварии [граница] спускается к Адриатическому морю, окружая и включая Триест. В этой Русской империи было Царство Польское с Варшавой, Червоная Русь со Львовом, Чехия с Венной, Венгрия с Будапештом, Сербо-Хорватия, Румыния с Бухарестом, Болгария с Софией и Адрианополем, Греция с Афинами”.³³

Не возникает ли из этого удивительного предсказания парадоксальное ощущение, что истинным наследником выродившейся „русской идеи” оказался коммунистический император Иосиф Сталин? Мы еще вернемся к этому вопросу. Сейчас скажем лишь, что в деталях Шарапов, конечно, ошибся. С Австрией и Грецией вышла осечка. С Сербо-Хорватией и с Триестом тоже. Иран не вошел в советско-славянофильскую империю (насчет Афганистана меры были приняты позже). И все же общее предвидение Империи, простиравшейся на Восточную и Центральную Европу, так же как и на Центральную Азию, оказалось точным. Как, однако, сопрягается оно со Славянской федерацией Данилевского?

„— А мы мечтали, — говорит славянофил из прошлого, — что образуется Славянский Союз и в нем растворится Российская империя.

— Послушайте, это смешно. Вы посмотрите, какая необъятная величина Россия и какой к ней маленький привесок западное славянство. Неужели было бы справедливо нам, победителям и первому в славянстве, а теперь и в мире народу садиться на корточки ради какого-то равенства со славянами?”³⁴

Так легко оказалось сбросить не только славянофильскую, но и панславистскую маску „первому в мире народу”. А под маской оказалось обнаженное стремление к мировому господству.

Нечего и говорить, что „самодержавие не только сохранилось, но необыкновенно укрепилось и приобрело окончательно облик самой свободолюбивой и самой желанной формы правления”. Последнее смутное воспоминание о древнем сла-

33 Там же, с.45.

34 Там же, с.59.

вянофильском предании: „историческая дорога наша гармоническое сочетание самодержавия и самоуправления”³⁵ — это все, что осталось от бывшей формулы свободы. Зато в Москве 1951 г. в разгаре борьба вокруг самой насущной проблемы современного мира, которой Шарاپов посвящает большую часть романа. „Речь шла о непомерном размножении в Москве еврейского и иностранного элемента, сделавшем старую русскую столицу совершенно международным еврейским городом”.³⁶ Дело дошло до того, что „была уничтожена процентная норма для учащихся евреев во всех высших и средних учебных заведениях”.³⁷ Даже в фантастическом будущем такой либеральный разврат ужасает автора. Как мы знаем сейчас, ужасался он зря. В соответствии с первой заповедью выродившейся „русской идеи” процентная норма была при Сталине благочестиво восстановлена.

Еще важнее (если вспомнить действительно потрясавшие Россию в 1951 г. кампании против „безродных космополитов” и еврейских врачей-„отравителей”) то, что в главном пророчество Шарапova сбилось точно: коммунистический император через полвека действительно превратил еврейский вопрос в самую насущную проблему Москвы. Как известно, лишь его смерть помешала ее „окончательному решению” в России.

Существенно, однако, что и для Шарапova, и для Сталина решение еврейского вопроса в России оказалось оборотной стороной глобальной борьбы с мировым злом. Для обеих европеизация России, о которой целый век толковали русские западники, была на самом деле ее евреизацией.

Фундаментальный постулат „русской идеи” был, таким образом, сохранен: Россия по-прежнему противостояла гнилому Западу. Только в новой переформулированной доктрине мирового зла гнилость Запада коренилась не в его парламентаризме, как думали наивные славянофилы первого поколения, и даже не в его буржуазности, как думали наивные большеви-

35 Там же, с.60.

36 Там же, с.24.

37 Там же.

ки, но в еврействе, навязавшем ему и этот парламентаризм, и эту буржуазность.

Согласно Шарарову, окончательное решение еврейского вопроса в России достигнуто было просто: гигантским государственным масштабом бойкотом всего еврейского со стороны „коренных русских людей, которые наконец почувствовали себя хозяевами земли своей”.³⁸ Евреев просто не брали ни на какую работу, кроме черной. Вырождение дореволюционной „русской идеи” завершилось. Она слитась с черносоотенством.

НАСТАВНИКИ ГИТЛЕРА

Как должны были эти люди воспринять свое оглушительное поражение в 1917 году? Ведь они предвкушали близкую и окончательную победу империи над последним препятствием на пути к мировому господству — еврейством. Конечно, они восприняли свое поражение как апокалипсическую катастрофу и предвестие конца света. Но главное, это поражение означало для них триумф всемирного еврейского заговора. Они и не могли воспринять его иначе, не отказавшись от своей доктрины. А из этой доктрины логически проистекало, что Россия завоевана еврейством. „Сейчас Россия, — уверял В.Михайлов в 1921 г., — в полном и буквальном смысле этого слова Иудея, где правя-

38 Там же, с.36. Справедливости ради следует добавить, что другие представители выродившейся „русской идеи” расходились с Шараровым в методах „окончательного решения”. Если Ю.М.Одинзгоев поддерживает идею тотального бойкота („Бойкот христианами всех органов печати жидовской окраски, бойкот промышленности, торговли, бойкот во всех решительно сферах человеческой деятельности жидовского элемента, при очищении от него в первую очередь органов власти” — см.: В дни царства Антихриста: Сумерки христианства [без указания места и года издания] с.225), то В.Пуришкевич предложил выселить всех евреев на Колыму за Полярным кругом (идея, впоследствии подхваченная и модифицированная Сталиным). Самым радикальным, однако, был Н.Марков, заявивший однажды в Думе, что все евреи „до последнего” будут истреблены в наступающих погромах (см.: А.В.Тажер, The Decay of Czarism, Philadelphia, 1935, p.44). Эта идея была впоследствии подхвачена Гитлером — тоже с известными модификациями. Расхождения, однако, как видит читатель, были чисто тактические.

щим и господствующим народом являются евреи и где русским отведена жалкая и унижительная роль завоеванной нации, утратившей свою национальную независимость... Резюмируя все вышеизложенное, можно смело сказать, что еврейская кабала над русским народом — совершившийся факт, который могут отрицать и не замечать или совершенные кретины, или негодяи, для которых национальная Россия, ее прошлое и судьба русского народа совершенно безразличны... Мечь, жестокость, человеческие жертвоприношения, потоки крови — вот как можно характеризовать приемы управления евреями над русским народом. Никаких надежд на гуманность, сострадание и человеческое милосердие для жертвы еврейского деспотизма быть не может, ибо эти чувства недоступны еврейскому народу, который веками питает непобедимую ненависть к другим нациям, народу, все существо которого жаждет крови и разрушения”.³⁹

Что русская революция есть „действие Антихриста в лице Израиля, не подлежит ни малейшему сомнению, — писал Ю.Одинзгоев, — как не подлежит сомнению и грядущее жесточайшее отрезвление, после воцарения Антихриста, в лице Всемирного Деспота из Дома Давидова, предсказанного нам Апокалипсисом и явно ныне подготавливаемого к выступлению на сцену иудо-масонами, при всемерной поддержке и пособничестве „христианских” правительств, на 3/4 состоящих из представителей „избранного народа” и его наймитов-христиан, ставленников антихристианского франкмасонско-жидовского тайного союза!”⁴⁰

39 В.Михайлов. Новая Иудея или разоряемая Россия. Нью-Йорк, изд-во „Трудовая Россия”, 1921, с.6, 15, 9.

40 Ю.М.Одинзгоев. В дни Антихриста: Сумерки христианства, с.219. К сожалению, эта книга не содержит ни места, ни года издания, ни названия издательства, ни даже имени автора (Одинзгоев явно означает один-из-гоев). Из текста следует, однако, что она была опубликована после поражения Врангеля и до Генуэзской конференции, т.е., по-видимому, в 1921 г. Впрочем, те же идеи, выраженные теми же словами, читатель найдет и в двухтомнике Н.Маркова „Войны темных сил” (Париж, 1928), и в книге Г.Бостунича „Масонство в своей сущности и проявлениях” (Белград, изд-во М.Ковалева, 1928). О Бостуниче Уолтер Лакер сообщает, что он „стал доверенным лицом Гимmlера,

Как видим, после почти столетия трансформаций первоначального катехизиса „русской идеи” в трех поколениях славянофилов ее поборники оставались политически девственны. Даже в 1920-е гг. они все еще не поняли ни того, что решение земельного вопроса было несопоставимо важнее в крестьянской России, нежели решение еврейского вопроса, пусть даже „окончательное”; ни того, что страна жаждала мира после трехлетней бойни, а не осуществления их имперских амбиций. Великий соперник „русской идеи”, русский марксизм это понял. Молодая, динамичная, гибкая утопия левого экстремизма, не связанная предрассудками и реакционной политической базой, обещала России то, чего не могла обещать старая, выдохшаяся неспособная оторваться от имперской грезы утопия правого экстремизма. „Русская идея” не могла предложить ни землю крестьянам (этому мешала ее помещичья политическая база), ни мира народам (это противоречило ее „патриотизму” и мечте о Константинополе), ни национального самоопределения меньшинствам (из-за догмы о „единой и неделимой” империи), ни даже однопартийной диктатуры (из-за своей традиционной ненависти к политическим партиям и привязанности к абсолютной монархии). И потому, как только лидеры русского марксизма выдвинули эти требования и ненадолго, правда (кроме диктатуры), но и осуществили их, „русская идея” была обречена.

Пророков „русской идеи” в эмиграции сокрушительное и, как казалось тогда, окончательное поражение повергло в шок. Они не были теперь способны даже к элементарному политическому анализу и искали эсхатологические, метафизические объяснения постигшего их бедствия. Для них победа большевиков „с неоспоримостью свидетельствует, что в мире действует сила... стремящаяся неуклонно к осуществлению своей мечты — утверждению всемирного господства „избранного народа”, ныне возглавляющего уже официально Россию и прикровенно все прочие государства, так как буквально нет

Гейдриха и других таких же людей”, „воплощением родства между черносотенной идеологией и нацистской мыслью” (W.Laqueur. *Russia and Germany*, p.122, 125).

ни одного государства в мире, где за спиной официальных представителей власти не скрывались бы жида, истинные руководители международной политики и вдохновители интернационального социалистического войска, в лице представителей всех без исключения социалистических партий и рабочего класса — слепых исполнителей воли „Интернационалов” — орудия франкмасонско-жидовских властителей”.⁴¹

В книге „Россия и Германия”, в главе, которая так и называется „Менторы Гитлера”, Уолтер Лакер с документами в руках доказывает, что сама „идея антибольшевизма, ставшая центральным тезисом нацистской идеологии и пропаганды и отождествившая большевизм с мировым еврейством”,⁴² внушена была Гитлеру русскими эмигрантами, жившими одной надеждой, что „придет день, когда и Россия сможет похвалиться своим гитлеровским движением”.⁴³ Целые состояния, вывезенные из России, тратились обитателями „русского Кобленца” на поддержку правого экстремизма в Германии.⁴⁴ Все это, по мнению Лакера, дает основание говорить о „русских источниках национал-социализма”.⁴⁵ Проповедники „русской идеи”, потерпевшие эпохальное поражение в своей стране, рассеянные по свету и обреченные, казалось, на полное исчезновение, нашли себе все-таки подобие отечества — в идущей к фашизму Германии. В той самой Германии, которую совсем

41 Ю.М.Одинзгоев. В дни царства Антихриста..., с.204, 225.

42 W.Laqueur. Russia and Germany, p.57.

43 Ibid., p.75.

44 Ibid., p.62. Существует прочно укоренившееся клише, согласно которому „русский” Кобленц состоял исключительно из бездомных писателей и бывших полковников, водивших такси. Документы, приведенные в книге Лакера, опровергают это клише. Например, жена одного из двух претендентов на русский престол, великого князя Кирилла, Виктория Федоровна предоставила в распоряжение генерала Людендорфа „огромные суммы” между 1922 и 1924 гг. для распределения между немецкими правозэкстремистскими организациями. Другие жертвовали на борьбу против всемирного еврейского заговора — Гукасов, Нобель, Ленисов, — чтобы упомянуть только нескольких. Барон Коппен потратил на это все свое состояние.

45 Ibid., p.57.

еще недавно, как помнит читатель, рисовали они „не имеющей никаких идеалов, кроме заимствованных у еврейства”. Марков 2-й, знаменитый своими погромными речами депутат русской Думы и один из апостолов выродившейся „русской идеи”, закончил свои дни консультантом гестапо по русским делам.

В этом есть, конечно, своя жестокая ирония. Тем более, что в известном смысле эмигрантские проповедники „русской идеи” были правы, оплакивая Россию. Ничего хорошего не ожидало ее под властью сторонников левой экстремистской утопии, которой, как всякой утопии, тоже предстояло вырождение. Она тоже одряхлеет и тоже трансформируется в идеологию политического идолопоклонства. Не случайно Москва 1951 г. — в разгаре режима контрреформы — напоминала скорее видение Шарапова, нежели видение Ленина. И все-таки, в отличие от теоретиков „русской идеи”, русские марксисты найдут в себе силы для жестокой самокритики, для разрушения своего собственного культа политического идолопоклонства, для новой отчаянной попытки реформы в 1960-е гг. (В 80-е их самокритика достигнет беспрецедентной остроты.) Но это уже другая история, и о ней я написал другую книгу.⁴⁶

Сейчас скажем лишь, что для всякого, кто согласится с историческим подходом к России, лежащим в основе моего анализа эволюции „русской идеи”, ошибка ее эмигрантских проповедников очевидна: эсхатология была ни при чем в том, что началось в России в 1917 г. Что же касается Антихриста, то я могу лишь перефразировать ответ Лапласа Наполеону:⁴⁷ историческое объяснение русской трагедии не требует этой гипотезы. В самом деле, ни в одной из исторических циклов России, начиная с середины шестнадцатого века, ее реформистский потенциал не был способен совершить более двух попыток реформ. И когда обе они кончались поражением, на очереди не-

46 А. Yanov. *The Drama of the Soviet 1960s: A Lost Reform*, — Institute of International Studies, Berkeley, 1984.

47 „Кант принимает гипотезу Бога”, — сказал ему Бонапарт. „Мне в моих занятиях никогда не случалось нуждаться в этой гипотезе”, — ответил ученый. (Цит. по А. Герцену.)

изменно стояла brutальная террористическая контрреформа, трансформировавшая Россию в гарнизонную диктатуру. К октябрю 1917 г. — после поражения обеих реформистских попыток (в 1905-1908 гг. и в феврале-сентябре 1917 г.) контрреформа была по сути предрешена. Единственное, что не было ясно — и чему предстояло решиться в ходе кровавой гражданской войны, — это какая из двух экстремистских утопий, левая или правая, коммунистическая или фашистская, выиграет титаническую битву за право стать идеологией новой русской контрреформы, и, соответственно, определит судьбу России в XX веке. Выиграла левая, коммунистическая утопия. Но это ровно ничего общего не имело с метафизикой или с кознями грядущего „Всемирного Деспота из Дома Давидова”.

Мы знаем теперь, что победа коммунистического правительства Ленина—Троцкого действительно была большим несчастьем для России. Но меньшим или большим несчастьем для нее была бы победа фашистского правительства Маркова 2-го—Пуришкевича, мы не знаем. Это правительство реставрировало бы гарнизонную империю под знаменем всемирной борьбы с франкмасонско-жидовским заговором. И все же какое-то представление о возможной программе такого правительства мы можем извлечь хотя бы из следующего пророчества Ю.Одинзгоева: „Европе уготован тот же путь... Час расплаты за безумную податливость извергам рода человеческого приближается, и обманутые своими собственными вождями народы Европы на собственном опыте не замедлят убедиться в уготованном им кошмарном грядущем, в социалистически-большевистском эдеме, под властью еврейского Совнаркома, не замедляющего, без сомнения, выявить свою истинную сущность — человеконенавистнического и антихристианского сверхправительства, стремящегося всех привести к одному знаменателю, обратив в рабов „избранного народа” и его царя-деспота сионской крови. Катастрофа близка, при дверях...”⁴⁸

Запомним это пророчество.

Однако, поскольку „русской идее” не суждено было спа-

48 Ю.М.Одинзгоев. В дни царства Антихриста..., с.213, 207.

сти Европу от грозившего ей в 1920-1930-е гг. „деспота сионской крови“, единственная практическая функция, которую могла она еще исполнить, заключалась в том, чтобы помочь нацизму добиться победы в Германии и натравить его на Россию и на Европу.

Так завершилось первое столетие благородной ретроспективной утопии русского имперского национализма, возникшей из мечты о спасении России и Европы от исторической катастрофы и закончившейся ее превращением в орудие этой катастрофы.

4

„РУССКАЯ ИДЕЯ” И ЕЕ КРИТИКИ

Краткий очерк эволюции „русской идеи” за столетие (1830-1930) предназначен ответить на вопросы, которыми заканчивалась вторая глава этой книги. Почему современные русские либеральные мыслители в Москве и в эмиграции не разделяют того двойственного чувства по отношению к сегодняшней „русской новой правой”, которое испытывало по отношению к первоначальному славянофильству поколение Герцена и Чернышевского? Почему не разделяли этого чувства крупнейшие либеральные мыслители 1880-1890-х гг. по отношению к проповедникам современной им „русской идеи”? До такой степени не разделяли, что порядочный человек в тогдашней Москве не подавал русофилам руки? Самый краткий ответ на все эти вопросы заключается в том, что славянофильства как союзника в борьбе с „душевердным деспотизмом” не существовало уже в 1880-е гг.

Никто не объяснил этого лучше, чем Владимир Соловьев, сам бывший славянофил и выдающийся религиозный мыслитель: „Меня укоряли в последнее время за то, что я, будто бы, перешел из славянофильского лагеря в западнический, вступил в союз с либералами и т.п. Эти личные упреки дают мне только повод поставить теперь следующий вопрос, вовсе уж не личного свойства: где находится ныне тот славянофильский лагерь, в котором я мог и должен был остаться? Кто его представители? Что и где они проповедают? Какие научно-литературные и политические журналы выражают и развивают „великую и плодотворную славянофильскую идею”? Достаточно

поставить этот вопрос, чтобы сейчас же увидеть, что славянофильство в настоящее время не есть реальная величина... и что славянофильская идея никем не представляется и не развивается, если только не считать ее развитием тех взглядов и тенденций, которые мы находим в нынешней „патриотической” печати. При всем различии своих тенденций от крепостнической до народнической, и от скрежещущего мракобесия до бесшабашного зубоскальства, органы этой печати держатся одного общего начала — стихийного и безыдейного национализма, который они принимают и выдают за истинный русский патриотизм; все они сходятся также в наиболее ярком применении этого псевдонационального начала — в антисемитизме”.¹

Самая яркая из статей Соловьева, посвященных национальному вопросу в России, так и называется „Славянофильство и его вырождение”. Слово „вырождение” применительно к славянофильству стало стандартным термином в русской либеральной прессе 1880-х гг. Это свидетельствует, что тогдашние русские мыслители превосходно понимали суть этого процесса и писали о нем с бескомпромиссностью, далеко выходящей за пределы всего, что позволяют себе сегодняшние критики „русской идеи”. Они употребляли такие выражения, как „скрежещущее мракобесие” (Вл.Соловьев) или „мистика на грубой хищнической подкладке” (М.Стасюлевич).² Ничего подобного не встретим мы у современных критиков „русской идеи”.

Тогдашние критики, естественно, желали понять истоки этого вырождения и внимательно присмотрелись к первоначальному катехизису „русской идеи”, пытаясь, как говорил Соловьев, найти „в старом славянофильстве зачаток нынешнего национального кулачества”.³ И они единодушно обнаружили этот „зачаток” в *двойственности* славянофильского катехизиса. Как говорил, например, С.Трубецкой в статье „Разочарованный

1 В.Соловьев. Собр.соч.. СПб., изд-2-е, 1902-1907, т.5, с.356.

2 В.Стасюлевич. — Редакционная статья — „Вестник Европы”, 1885, № 12, с.909.

3 В.Соловьев. т.5, с.356.

славянофил”, в нем „были прогрессивные, высокогуманные, универсалистские тенденции — и консервативный ретроградный национализм... Идеал славянофилов — всеславянская православная культура будущего, обновляющая мир, и в то же время — допетровская Русь... в ее отчуждении от Европы”.⁴ Соловьев в „Славянофильстве и его вырождении” говорит по сути то же самое, только на языке религиозном: „Противоречие между вселенским идеалом христианства и языческой тенденцией к особнячеству”.⁵ Он отказывает славянофилам даже в истинности их православной веры, обвиняя их в „православничанье”. Он ставит в кавычки словосочетание „славянофильское православие”, ибо оно, по его мнению, „по психологическому своему мотиву, было более верою в народ, нежели народною верою”.⁶

Той же двойственности первоначального катехизиса посвятил С.Трубецкой свою следующую статью „Противоречия нашей культуры”,⁷ и на нем же сосредоточился П.Миллюков в своей знаменитой лекции „Разложение славянофильства”.⁸

ФОРМУЛА ДВОЙСТВЕННОСТИ

Гипноз классической критики „русской идеи” — с ее „формулой двойственности” — был силен. Когда в 1969 г. статьей „Загадка славянофильской критики” я начинал дискуссию о славянофильстве в журнале „Вопросы литературы”, эта формула все еще каза-

4 С.Трубецкой. Разочарованный славянофил. — „Вестник Европы”, 1892, № 10, с.777.

5 В.Соловьев, т.5, с.173.

6 Там же, с.169.

7 С.Трубецкой. Противоречия нашей культуры. — „Вестник Европы”, 1894, № 10.

8 П.Н.Миллюков присоединился к атаке либералов на выродившуюся „русскую идею” позже других, уже в 1890-е гг. Первоначально „Разложение славянофильства” было лекцией, прочитанной 22 января

лась мне не только адекватным, но единственно возможным подходом к проблеме. И именно ее противопоставил я и правоверным марксистам и вдохновленным „русской идеей” оппонентам из лагеря возрожденного славянофильства.⁹ Однако уже в ходе этой дискуссии я понял — и это отразилось в моей заключительной статье „Ответ оппонентам” („Вопросы литературы”, 1969, № 12), — что такая общеидеологическая, если можно так выразиться, критика „русской идеи”, смешивающая социологию и историософию, политику и религию, меня не удовлетворяет. Слишком легко оказалось моим марксистским оппонентам уходить от обсуждения политической доктрины славянофильства в социологию („все они были помещиками-крепостниками”), а русофилам — в культурфилософию и религию („славянофильство было не политической, а религиозной и культурологической доктриной”). Свободно перетекая из одной плоскости в другую, дискуссия утрачивала фокус, и формула двойственности не помогала, а мешала ее сфокусировать.¹⁰ Чего-то очень важного, быть может, ре-

1893 г. в аудитории Исторического музея в Москве. Затем она была опубликована в № 2 журнала „Вопросы философии и психологии” за тот же год и перепечатана в сб. статей „Из истории русской интеллигенции” (СПб., 1903).

9 См.: „Вопросы литературы”, 1969, № 5. Вторая, относящаяся к этой дискуссии моя статья „Славянофилы и Константин Леонтьев”, была опубликована в журнале „Вопросы философии” (1969, № 8). Дискуссия продолжалась в №№ 5, 7, 10 и 12 „Вопросов литературы” за 1969 г. В последнем номере этого года была опубликована моя заключительная статья „Ответ оппонентам”.

10 Когда дискуссия 1960-х гг. получила неожиданное продолжение на Западе (после выхода в свет „Русской новой правой” в 1978 г.) эмигрантские эпигоны моих московских оппонентов снова пытались уйти от обсуждения своего политического наследия тем же старым, проверенным в первоначальной дискуссии способом: смешав в одну кучу различные аспекты славянофильского „катехизиса”.

Б.Парамонов, например, писал: „Национализм славянофильский был не политикой, а культурфилософией — учением об органических корнях культуры”. Но уже в следующем абзаце той же статьи славянофильство оказывалось учением о „сверхкультурном, сверхисторическом смысле человеческого бытия” (Б.Парамонов. Парадоксы и комплексы Александра Янова. — „Континент”, № 20, 1980, с.247), а еще несколькими строками ниже утверждалось, что „религиозная проблематика у классиков была *подменена* культурфилософией” (там же,

шающего в ней не хватало. Чего именно, однако, определить я тогда не мог, точно сформулировать свой бунт против классической критики был не в состоянии.

Только в ходе работы над трехтомной „Историей политической оппозиции в России”, которая увидела свет, если это можно так назвать, лишь в самиздате,¹¹ смог я, мне кажется, сформулировать, чего не хватало мне в классической формуле двойственности: она была лишена политического измерения.

Конечно же, классики были правы: двойственность первоначального славянофильства (как и идущей сегодня по его следам русской новой правой), не подлежит сомнению. Трубецкой доказал его философскую двойственность, Соловьев — религиозную. Оно двоилось, как доказал Милюков, и в своих идеологических целях. Но в *политической своей доктрине славянофильство двойственно не было.*

С самого начала — и совершенно недвусмысленно — противопоставило оно отечественному деспотизму и западному

с.248, курсив мой. — А.Я.). Автора не смутило даже то обстоятельство, что вся эта сумятица терминов („культурфилософия”, „учение о сверхкультурном” и т.п.) полностью противоречит абсолютно ясным постулатам самих классиков славянофильства. Подобно Константину Леонтьеву, Борис Параманов лучше них знает, что именно хотели они сказать: „Удивительная терминологическая беспомощность (прямо сказать, бездарность) славянофилов (собственного имени не сумевших придумать) сослужили им дурную службу и на этот раз, — пишет Параманов. — Там, где нужно было сказать „культура”, Аксаков сказал „государство”; там, где нужно было сказать „небо”, он сказал „земля”. Эсхатологическая по сути доктрина оказалась высказанной в политических терминах” (там же, с.247-248).

Я не знаю, понравится ли пророкам современной „русской идеи”, если завтра какой-нибудь другой Б.Параманов объяснит ненависть, скажем, Солженицына к государственному строю современной России его „терминологической бездарностью” (по ошибке сказал „коммунизм” там, где нужно было сказать „ад”, и „авторитаризм” — там, где следовало сказать „небо”), выразив таким образом „эсхатологическую по сути доктрину... в политических терминах”. Мне все это представляется намеренной — и бестактной по отношению к прародителям „русской идеи” — попыткой увести читателя от конкретных проблем славянофильской политики.

11 Моя книга: *The Origins of Autocracy: Ivan the Terrible in Russian History*, опубликованная по-английски (University of California Press, 1981) и по-итальянски (Edizioni di Comunita, 1984) представляет экстракт из этой самиздатской рукописи.

парламентаризму свой „принцип авторитарной власти”, который отрицал доктрину разделения властей, т.е. единственный известный человечеству механизм ограничения государственного произвола. Этим обрекло оно себя с самого начала на необходимость полагаться на православную церковь как на гарантию этого ограничения. Таким образом, славянофильство по сути подменило политику религией и принцип разделения властей принципом разделения функций между светской и духовной властями. А это в свою очередь сделало его неспособным к выработке политического механизма предотвращения как периодических катастроф русской истории, так и своей собственной деградации. С самого начала политические партии, конституции, республики, все, что фокусировалось для славянофилов в ненавистном слове „парламентаризм”, считалось безусловным злом. С самого начала построили славянофилы в собственное миропонимание политическую ловушку. Их аргументы, превосходно служившие в борьбе идей, оказывались непригодными в борьбе политической. В самом деле, какой выход должна будет предложить такая доктрина в ситуации кризиса, оказавшись перед чисто политическим выбором, ограниченным только двумя возможностями – „за” или „против” парламентаризма? Разве не предпочтет она в этом случае автократию как меньшее зло?

Таким образом, вопреки формуле классической критики, именно *отсутствии двойственности* в политической доктрине славянофильства, именно ее однозначность оказалась решающим обстоятельством, обусловившим его вырождение. Если это так, то драма „русской идеи” была в первую очередь *политической* драмой. В единоборстве деспотизма и либерализма „русская идея” стала основой для идеологии авторитарной „середины”. Но раньше или позже, однако неизбежно наступит момент, когда становится очевидным, что в России в разгар национального кризиса, по знаменитому выражению Аксакова, такой „середины нет”. В 1870-е гг. этот роковой момент наступил для первоначального славянофильства. Настоящая тайна „русской идеи” состоит, таким образом, в том, что ее собственная политическая доктрина неизбежно обезоруживает

ее перед лицом политического выбора, оказывающегося императивом в момент кризиса. В этом — семя ее дегенерации. А выродившись, она превращается в свою противоположность — в идеологию „душевредного деспотизма” и контрреформы.

Современные критики национализма не могут с точностью знать, когда наступит роковой момент для наследницы „русской идеи” — „русской новой правой”. Они знают только, — основываясь как на историческом прецеденте, так и на анализе ее политической доктрины, — что этот момент обязательно наступит, и у них нет никакого основания надеяться, что поведет себя „русская новая правая” в этот момент иначе, чем вели себя в аналогичный момент идеологи первоначального славянофильства.

КРИТИКИ И ПОПУТЧИКИ

Теперь, я полагаю, читателю понятно, почему позиция современных критиков „русской идеи” гораздо ближе к позиции Соловьева и Трубецкого, нежели Герцена и Чернышевского (и западных „попутчиков”). Тем более, что им известно о „русской идее” то, что не могло быть известно Соловьеву и Трубецкому. Они знают о ее трансформации в черносотенство и фашизм. Они знают, что и при последнем своем издыхании благословила она Гитлера на крестовый поход против России и Европы. Вот почему освободительная антикоммунистическая риторика „русской новой правой” не заслоняет для них „скрежешущее мракобесие” ее собственной политической доктрины. Вот почему не доверяют они этой риторике в устах людей, которые, как и первые пророки „русской идеи” мечутся между теми же двумя ненавистями.

И когда западные академические „попутчики” аплодируют пламенной освободительной декламации Солженицына, как Герцен и Чернышевский в свое время аплодировали освободительной декламации Аксакова, когда они мягко журят его за антипарламентаризм, современные русские критики

видят в двойственности его катехизиса то же, что видели в двойственности славянофильства Соловьев и Трубецкой — исходную точку одного из самых зловещих феноменов в русской истории. Они знают, что на смену Константину Аксакову пришли Данилевский и Леонтьев. Они ждут, когда современные Данилевский и Леонтьев объявят себя истинными выразителями „русской идеи“, а им на смену придут Шаралов и Скобелев. Тем более, что в наше спрессованное время все эти персонажи, как увидит читатель, — уже там, в самом „эпицентре“ „русской новой правой“. Роковая эволюция ее уже началась. Вырождение стремительно набирает темп.

Конечно, ничего нет неизбежного на этом свете. И, быть может, новое вырождение „русской идеи“ предотвратимо — если попытаться его предотвратить.

Отношение к ней современных русских критиков могло бы быть совсем иным, если бы ее сегодняшние проповедники признали, что у них действительно есть тяжелое идейное наследство, что их политическая доктрина чревата вырождением не менее, чем марксизм или „тевтонофильство“. Если бы они, как положено участникам всякого честного идейного движения, попытались бесстрашно проанализировать уязвимые пункты своей идеологии, укрепить ее слабые места, предложить новые решения старых проблем. Если бы, наконец, они отнеслись к своим собственным взглядам хотя бы с той же степенью самокритики, как, скажем, русские неомарксисты в Москве и в эмиграции. В отличие от представителей „русской новой правой“ эти люди не пытаются скрыть, что их первоначальный катехизис оскандалился на весь свет. Они ищут диалога, дискуссии, пытаются выяснить причины его дегенерации, разобраться в ее идейном и политическом механизме, предложить новые решения. Им и в голову не придет механически повторять Маркса или Ленина, как, допустим, Солженицын повторяет Аксакова, а Шиманов — Леонтьева. Не то, чтобы неомарксистская доктрина стала от этого более убедительной, но у ее критиков остается, по крайней мере, впечатление, что они имеют дело с искренними людьми, уверенными в правоте своих убеждений и потому не боящимися ни чужого, ни своего

собственного анализа их доктрины. Критикам не преподносят давно обанкротившиеся догмы как последнее слово истины. Их не объявляют кретинами или негодьями, когда они высказывают свои сомнения.

К сожалению, никто никогда не слышал от „русской новой правой” ни одного критического слова в адрес „русской идеи”. Ее идеологи совершенно уверены в непогрешимости своего обветшавшего катехизиса.

Чтобы получить представление о методах полемики „русской новой правой”, вернемся на минуту к уже цитированной иеремиаде В.Михайлова: „Резюмируя все вышеизложенное, можно смело сказать, что еврейская кабала над русским народом – совершившийся факт, который могут отрицать или совершенные кретины или негодяи, для которых национальная Россия, ее прошлое и судьба русского народа совершенно безразличны”. Замените в этой тираде слово „еврейская” на слово „коммунистическая”, и вы получите стандартный ответ идеологов „русской новой правой” своим оппонентам.¹²

Они яростно атакуют вырождение марксизма, но никогда не говорят о вырождении славянофильства. Они громят Ленина, но им нечего сказать по поводу Леонтьева. История, по их мнению, годится для того, чтобы разоблачать неомарксистов, но перестает существовать, как только речь заходит об их собственных идейных корнях. Как объясняет один из проповедников „русской идеи” В.Максимов, советская система вообще „не материалистического, но метафизического происхождения, и мы должны относиться к ней как к таковой. Если же нет – западная цивилизация обречена на гибель”.¹³ Но разве не слышали мы этот же аргумент и это же пророчество от Одинзгоева в 1921 году?

„Тот, кто забыл свое прошлое, рискует пережить его снова”, – знаменитое изречение Джорджа Сантаяны звучит так,

¹² См., напр., А.Солженицын. Наши плюралисты. – „Вестник русского христианского движения”, № 139, 1983.

¹³ В.Максимов. Свобода духовная должна предшествовать свободе политической. – „Новое русское слово”, 18 июня 1978.

словно он обращался к русским националистам. Эти люди категорически отказываются признать свое прошлое. Я подозреваю, однако, что они не касаются его сами и не позволяют касаться другим не из забывчивости или невежества — а из страха.

ОТРИЦАНИЕ ИСТОРИИ

Но если у критиков „новой русской правой” нет надежды дождаться ответа на свои вопросы от са-

мых идеологов, то не ответят ли за них их академические попутчики? Хотя бы на самые насущные из этих вопросов. Например: если дореволюционная „русская идея” не спасла Россию от исторической катастрофы, как она торжественно это обещала — и в чем был *raison d'être* самого ее существования, — какие у нас основания ожидать, что это удастся послереволюционной? Какие у нас основания ожидать, что она не обанкротится, подобно своей духовной праматери и не выродится в черносотенство и фашизм?

На этот вопрос попутчики пытаются ответить. Один предлагает как гарантию православие русского народа,¹⁴ другой опирается на его предполагаемую приверженность монархии.¹⁵ Как принять, однако, эти аргументы, если все пророки дореволюционной „русской идеи” были поголовно православными и все привержены монархии, так же, впрочем, как православными и, надо полагать, приверженными монархии были все русские дореволюционные тираны? Разве предотвратило это метаморфозу дореволюционной „русской идеи” в черносотенство? Разве православие и монархия защитили Россию от исторической катастрофы в 1917 году?

Увы, в равной степени не защитили они ее ни в 1560-1580-е годы, когда свирепый диктатор в ходе четвертьвеко-

14 М.Агурский. Неонацистская опасность в Советском Союзе. — „Новый журнал”, № 118, 1975.

15 J.B.Dunlop. *The Faces of Contemporary Russian Nationalism* — Princeton University Press, 1984.

вого террора навязывал ей автократию и крепостное право. Ни в 1700-х, когда другой диктатор навязывал ей тотальную милитаризацию и превращал крепостное право в легальное рабство, а гвардейского полковника ставил во главе самой церкви. Ни в 1796 г. – от гибельных контрреформ Павла Первого, ни в 1825 г. – от Николая Первого, ни в 1881 г. – от Александра Третьего (точно так же, добавим в скобках, как бессильной оказалась защитить Россию от сталинской катастрофы в 1929 г. коммунистическая партия, исполняющая в советских условиях традиционную роль православной церкви).

Так, может быть, дело не в православии и монархии, а в теоретическом фундаменте *всех* русских экстремистских утопий, будь то русский марксизм или „русская идея“, одинаково отвергающих доктрину разделения властей? Может быть, „духовная власть“ – воплощается ли она в институте православной церкви или в институте коммунистической партии, – в принципе не способна исполнить функцию „укрощения“ автократического государства? Может быть, поэтому замена православной церкви в качестве гаранта такого „укрощения“ коммунистической партией и не внесла никакого принципиального изменения в ход русской истории? Если это так, то разумно ли ждать каких бы то ни было принципиальных изменений в нем от обратной замены – коммунистической партии православной церковью?

Есть элементарное арифметическое правило: от перестановки слагаемых сумма не меняется. Но разве не в этой перестановке слагаемых и состоит суть всей политической программы русского национализма?

Ни один из его попутчиков никогда не спросит: не может ли быть, что русская проблема вообще неразрешима путем механической перестановки институтов и идеологий, основанных на одинаково экстремистской политической доктрине? Не может ли быть, что дело тут вовсе не в идеологии, но в фундаментальном постулате о разделении функций между светской и духовной властями, постулате, одинаково определяющем политическую платформу как „русской идеи“, так и русского марксизма?

К сожалению, попутчики русского национализма и не подозревают о таких сюжетах. Точно так же, как не подозревали о них попутчики русского марксизма. Ибо даже заметить это решающее сходство между обеими экстремистскими идеологиями невозможно, игнорируя русскую историю. А истории попутчики избегают так же тщательно, как и их патроны. И поэтому им приходится рассуждать в тех же черно-белых категориях, в каких рассуждали до них попутчики русского марксизма: коммунисты против антикоммунистов. Изменился, как видим, только знак в отношении попутчиков к русской проблеме. То, что для одних было добром, стало злом для других — методология осталась та же.

Стандартный аргумент попутчиков русского национализма, естественно, содержит утверждение, что он многолик¹⁶ и что в принципе делится он на „голубей” и „ястребов”, православных и язычников, либеральных „меньшевиков” и „национал-большевиков”, короче, на хороших националистов и плохих националистов, на патриотов и шовинистов. Иначе говоря, они воскрешают классическую „формулу двойственности” — только не в идейном, а в персонифицированном, так сказать, разрезе. Мы подробно рассмотрим этот аргумент в следующей главе. Сейчас я лишь хочу обратить внимание читателя на то, что попутчики повторяют ошибку Трубецкого и Соловьева, игнорируя решающий факт, что в *политической* доктрине русского национализма нет никакой двойственности, что и его „ястребы”, и его предполагаемые „голуби” одинаково ненавидят западный парламентаризм, как и положено истинным последователям „русской идеи”, и — самое главное — одинаково отвергают доктрину разделения властей. Это обстоятельство делает их *неотличимыми* — в том, что касается политической доктрины — не только друг от друга, но и от коммунистов (не говоря уже о фашистах).

Вряд ли случайно поэтому, что среди русских коммунистов, как скоро увидит читатель, вполне достаточно рьяных сто-

16 J.B.Dunlop. The Many Faces of Contemporary Russian Nationalism. — Survey, Summer, 1979, v., 24, No 3.

ронников „русской идеи”. Непримиимые враги на политической арене, „ястребы” и „голуби” русского национализма, его коммунисты и его антикоммунисты, произрастают, оказывается, из одного и того же идейного корня – русского экстремизма. Они не просто враги, они – братья-враги.

В том-то и состоит вся острота и вся угроза сегодняшней политической ситуации в Москве, что опять, как накануне гражданской войны, стоят друг против друга эти братья-враги: „русская идея” и русский марксизм. И как в печальной памяти времена гражданской войны, ничего хорошего не сулит России и миру их грядущая конфронтация – кто бы из них ни победил. Если, конечно, дело дойдет до открытой конфронтации. Попутчики надеются, что дойдет.

СВИДЕТЕЛЬ ЗАЩИТЫ?

Джон Дэнлоп, один из самых преданных попутчиков „русской новой правой“, написал книгу „Лица современного русского национализма“. Она пронизана симпатией к „русской идее“, ставит своей целью защиту ее устремлений в глазах американской администрации (книга содержит рекомендации правительству) и публики, и, разумеется, следует стандартной методологии попутчиков, разделяющей современных русских националистов на „меньшевиков“ и „большевиков“. Если для первых, однако, Дэнлоп придумал новое имя („возрожденцы“), то последние, по его мнению, даже не заслуживают переименования: так и называет он их „национал-большевики“.

Автор ни на минуту не скрывает, что „сходство национал-большевизма с фашизмом поразительно: сильный импульс обожествления нации; стремление к сильному тоталитарному государству; мощный импульс вождя... вера в необходимость элиты; культ дисциплины, особенно дисциплины для молодежи; героическое жизнеутверждение (heroic vitalism); защита индустриальной и военной мощи... воспевание прежней славы и воинствующая экспансионистская динамика“.¹ Исходя из этого, заключение Дэнлопа, что в „национал-большевизме мы имеем по существу фашистский феномен, радикально правое движение в государстве, которое все еще номинально руково-

1 J.B.Dunlop. The Faces of Contemporary Russian Nationalism. – Princeton University Press, 1984, pp.256-257.

дится радикально левой идеологией”,² представляется абсолютно логичным.

Хотя весь смысл его книги в том, чтобы доказать, что „возрожденцы” существенным образом отличаются от фашиствующих национал-большевиков, Дэнлоп признает тем не менее, что никакой „китайской стены” между ними нет: „обе стороны часто способны признать общность (community) своих интересов, как явствует из общего одобрения Солженицыным в его литературных мемуарах [национал-большевика] Виктора Чалмаева и ориентации [национал-большевистской] „Молодой гвардии” в конце 1960-х гг.”³ Вообще, с политической точки зрения, разница между „возрожденцами” и национал-большевиками состоит, по мнению Дэнлопа, в том, что первые обладают массовой базой (имея в виду „их близкие связи с пятидесятиmillionной православной церковью”), „в то время, как национал-большевики оказываются в лучшей позиции для реального захвата власти” [в Москве].⁴

Дэнлоп думает, что „воплощение их [национал-большевистских] идей приведет, вероятно, к тому, что французский советолог Ален Безансон назвал „панрусской полицейской и военной империей”. Возможны как военная диктатура, руководимая хунтой, так и партийная диктатура (с КПСС, превратившейся в „Русскую партию” фашистского толка)”⁵.

Такое развитие событий я и называю русской контрреформой, т.е. одной из тех периодических катастроф русской истории, о которых мы говорили выше и для которых Россия особенно уязвима в эпоху исторического упадка. Экстремистские тенденции обеих выродившихся утопий — русского марксизма и „русской идеи” — амальгамируются в одном фашистском монстре, способном не только возродить массовый террор в России, но и грозовую предвоенную атмосферу 1930-х гг.

2 Ibid., p.252.

3 Ibid., p.264.

4 Ibid., p.265.

5 Ibid., p.262.

в мире, истерическую и деморализующую. Причем, учитывая специфику ядерного века, такая всемирная истерия способна на этот раз продлиться неопределенное время, разрушая структуру международных отношений и по существу всю структуру цивилизации. Именно о возможности такого устрашающего развития событий в конце XX в. и пишу я все свои книги. И если один, по крайней мере, американский ученый увидел, наконец, эту угрозу моими глазами, мне следовало бы радоваться, что усилия мои не были тщетны.

Порадоваться мне, однако, не удалось. Ибо, описывая весьма реалистически контуры этой угрозы, Дэнлоп вовсе не усматривает в ней угрозы. Как раз наоборот, с его точки зрения, такое развитие событий было бы в высшей степени желательно. Поскольку „если национал-большевики придут к власти, они будут намного более уязвимы для аргументов интеллектуально более утонченных возрожденцев, с которыми у них есть множество идейных и эмоциональных связей... Возможный сценарий поэтому: за кратким национал-большевистским междуцарствием последует период правления возрожденцев”.⁶

6 Ibid., p.265. У читателя могут возникнуть некоторые трудности в связи с классификацией Дэнлопа, поскольку единственным водоразделом между „возрожденцами” и „национал-большевиками” служит в этой классификации православное вероисповедание. В какой из этих лагерей отнести, скажем, Союз христианских социалистов, впервые упомянутый М.Горьким („Новая жизнь”, 20 мая 1918)? С одной стороны, эта организация провозглашала физическое и моральное превосходство арийской расы и ее лозунгом было „Антисемиты всех стран, соединяйтесь!” С этой точки зрения ее следовало, по-видимому, зачислить по ведомству „национал-большевиков”. С другой стороны, все члены этого Союза были православными, что обязывает всякого, следующего классификации Дэнлопа, зачислить их по ведомству „возрожденцев”. Нисколько не помогает нам решить эту проблему участие в черносотенном движении таких видных „возрожденцев”, как Антоний, епископ Волынский, Гермоген, епископ Саратовский, как Илиодор (Сергей Труфанов) или И.И.Восторгов. И тем более тот факт, что черносотенные „эмблемы и знамена держатся в церквях, чтобы каждому было ясно, что святая православная церковь полностью одобряет и благословляет высокое патриотическое святое дело Союза русского народа и берет его деятельность под свою защиту”. Я цитирую это по работе У.Лакера „Россия и Германия” (W.Laqueur, Russia and Germany: A Century of Conflict. — Weidenfeld & Nicolson, 1965, p.85), которую Дэнлоп, судя по его книге, тоже читал. И тем не менее, это не помешало ему отнести всех православных приверженцев „русской идеи” в лагерь „возрожденцев”, будущее „правление” которых он изображает как победу добра над злом.

Итак, жизнерадостный сценарий Дэнлопа обещает нам счастливый конец. В Москве происходит революция – со всей, надо полагать, кровью, грязью и гражданской войной, сопутствующей всякой революции. Так или иначе, фашистская Русская партия захватывает власть. Но оказавшиеся достаточно сильными, чтобы сокрушить все на своем пути к власти, „ястребы” вдруг размякнут перед аргументами „интеллектуально более утонченных” „голубей” и добровольно отдадут им завоеванную власть. И с этого момента начнется золотой век.

У этого сценария есть только один недостаток: он не гарантирован ничем, кроме честного слова мистера Дэнлопа. Я не буду сейчас говорить о том, что среди „возрожденцев”, как увидит читатель, вполне достаточно своих „ястребов” и что обе фракции „русской новой правой” пронизаны духом фашизма. Я не буду говорить и о том, что у „возрожденцев” „есть множество идейных и эмоциональных связей” с фашистами и что трудно хотя бы поэтому допустить, чтобы они были так политически добродетельны, как рисует их Дэнлоп. Я спрошу лишь, каковы их шансы вырвать власть у захватившей ее Русской партии?

Были ли у русских меньшевиков какие бы то ни было шансы вырвать власть у большевиков? А ведь меньшевики тоже были „интеллектуально более утонченными”, и у них тоже было „множество идейных и эмоциональных связей” с большевиками. Сделало это большевиков „уязвимыми для их аргументов”? Не оказались ли меньшевики – именно из-за своей идейной близости – в числе первых жертв большевистской диктатуры? Да иначе и быть не могло: во всех революциях без исключения экстремисты, захватившие власть, всегда вырезали и терроризировали в первую очередь своих непосредственных конкурентов – ближайших политических родственников: якобинцы – жирондистов, большевики – меньшевиков, сталинисты – большевиков, экстремистские хомейнисты – умеренных. Не было случая – не только в азиатских, но и в европейских революциях, – чтобы экстремисты, установившие свою диктатуру, вдруг размякли и добровольно отдали ее умеренным.

В моем распоряжении есть множество документов, свидетельствующих о неподдельной ненависти тех, кого Дэнлоп называет национал-большевиками к тем, кого он называет „возрожденцами”. Некоторые из этих документов будут приведены дальше. Сейчас упомяну лишь два случая. Николай Яковлев, которого Дэнлоп причисляет к выдающимся национал-большевикам,⁷ не только написал книгу „ЦРУ против СССР” (по мнению Майкла Скэммела, биографа Солженицына, „учебник холодной войны, стремящийся показать, что... вся неофициальная литература и искусство [в СССР] – продукт инфильтрации и манипуляций ЦРУ),⁸ но и выступил самым яростным „академическим” гонителем Солженицына. Сергей Михалков, тоже, согласно Дэнлопу, национал-большевик, был одним из инициаторов клеветнической кампании против Солженицына в советской прессе. Ни одна строчка из писаний этих людей не дает нам ни малейшего основания предположить, что, окажись они у власти, они были бы „уязвимы к аргументам” православных „голубей”.

Таким образом, логический вывод, следующий из книги Дэнлопа, находится в непримиримом противоречии с его декларированным намерением защитить благородные антикоммунистические стремления „русской новой правой”. То, что он так тщательно документировал в своей книге, свидетельствует как раз об обратном: о ее беспрецедентной опасности. Ибо если, захватив власть в Москве, национал-большевики, которых сам Дэнлоп описывает как откровенных фашистов, останутся у власти, Западу впервые в истории придется столкнуться с фашистской ядерной супердержавой. И кто знает, окажется ли ему по силам такая конфронтация?

Если сценарий Дэнлопа о добровольном отречении от власти фашистских „ястребов” в пользу православных „голубей” не выдерживает критики, то сценарий русской контрреформы, который он описал, даже не подозревая, что именно описывает, производит поистине сильное впечатление. Впер-

7 Ibid., p.261-262.

8 M.Scammel. Solzhenitsyn: A Biography. – W.W.Norton, 1984.

вые американский ученый, прошедший западную школу, представил публике в соответствии со всеми стандартами политической науки один из возможных сценариев будущего России в XX столетии, тот самый, который до Дэнлопа никто, кроме меня, не пытался ввести в оборот западной политической мысли, — сценарий контрреформы, о котором и слышать не хотят ни консерваторы, ни либералы советологии.

Что же касается Джона Дэнлопа, чисто сердечно полагавшего, что он выступает свидетелем защиты „русской идеи” перед судом истории, то читатель мог убедиться, что в действительности выступил он в прямо противоположной роли свидетеля обвинения.

6

ЗАПАДНЫЙ СПОР И „РУССКАЯ НОВАЯ ПРАВAYA”

Пришло время, однако, обратиться к западному спору о России и посмотреть, что прибавляет к нему наш очерк вырождения „русской идеи”. Укрепляет или подрывает исторический подход к России, лежащий в основе этого очерка, главные аргументы, скажем, либерального направления советологии? Как соотносится историческая драма „русской идеи” с главными аргументами консервативного ее направления? Первое впечатление, что никак. Первое впечатление может быть, однако, обманчиво.

Посмотрим для начала на аргумент, связывающий масштабы и интенсивность русского экспансионизма с коммунистической идеологией. Это правда, что только коммунистическому диктатору удалось реализовать (по крайней мере, частично) экспансионистскую программу выродившейся „русской идеи”. Это правда, что ему удалось — в процессе жесточайшей контрреформы — восстановить в России крепостное право и даже на время сделать рабский труд основой советских производственных отношений. Это правда, наконец, что он сделал „окончательное решение” еврейского вопроса насущной проблемой России 1951 года. О чем все это, однако, свидетельствует? Не о том ли, что выродившийся левый русский экстремизм оказался орудием осуществления программы выродившегося правого экстремизма? Что дегенерировавшая идеология русского марксизма оказалась оборотной стороной дегенерировавшей „русской идеи”?

Если это так, если любая идеология русского экстремизма имеет, как мы видели, тенденцию к вырождению и, выродившись, оказывается идеологией имперского экспансионизма, какой, спрашивается, смысл связывать ее именно с идеологией коммунизма? Какой смысл поддерживать один русский экстремизм против другого — к чему, как мог убедиться читатель в первой главе, склонна администрация Рейгана? Вспомним, что программа предреволюционной „русской идеи“ требовала полного контроля над „евреизированной“ Европой, по сути „Нового порядка“ в Европе. Даже коммунистическому диктатору — в разгар контрреформы — оказалось не по плечу исполнение этой программы. Мы не можем знать, окажется ли это по плечу фашистскому диктатору России — в разгар новой контрреформы — если сценарию Дэнлопа суждено, не дай Бог, исполниться. В любом случае, однако, вряд ли можно представить себе политику более нелепую, нежели способствовать новой исторической катастрофе России, поддерживая против коммунизма фашизм.

Таким образом, идеологический подход к России (экстремистский антикоммунизм), усвоенный консервативным направлением в западном споре, лишает нас возможности осознать сегодняшнюю политическую ситуацию в ее исторической целостности, в единстве прошлого и будущего. Он живет только в одном измерении — в настоящем. Но пренебрегать прошлым, значит, не думать о будущем. Тем же недостатком, как мы увидим, страдает и геополитический подход к России, усвоенный либеральным направлением советологии.

Чтобы показать это читателю, мы рассмотрим здесь по два главных аргумента обоих направлений. Я постараюсь показать также, что только исторический подход учит нас не доверять любым русским экстремистским утопиям, сколько бы добра и благоденствия ни обещали они России и миру — и самое главное, только исторический подход может обнажить фундаментальные стереотипы политического поведения России — и тем самым помочь западным политикам не шутать в темноте, и уж, по меньшей мере, избавить их от таких скандальных ошибок, как в случае с радиостанцией „Свобода“.

Исторический подход в принципе отвергает общепринятый в западном споре о России постулат, согласно которому „закрытый характер (the secretive nature) советского общества делает его чем-то вроде „черного ящика” для нас”,¹ по какой причине „Советский Союз останется [для нас] загадкой”.² Хотя такая пораженческая для западного интеллекта позиция действительно логически вытекает из обоих конвенциональных подходов, у нас на самом деле нет никакой надобности винить в этом природу русской политической системы или „закрытый характер советского общества”. Мы сами ограничили свое видение России двумя или тремя ее советскими поколениями. Мы сами отказались от широкой перспективы, открываемой анализом политического поведения по крайней мере двадцати русских поколений. Подробней я еще буду говорить об этом дальше. Сейчас скажу лишь, что — с точки зрения исторического подхода — в „черный ящик” мы превратили Россию сами.

ЛОГИКА КОНСЕРВАТОРОВ

Первый — и главный — аргумент консервативного направления советологии я сформулировал бы так: успешное противостояние коммунистическому тоталитаризму может быть достигнуто только активной подрывной антикоммунистической политикой, в пределе — свержением коммунистической власти в России. В дядерную эпоху такая политика, если бы она последовательно проводилась американской администрацией, привела бы к новой мировой войне. В случае победы Запада она могла бы закончиться оккупацией СССР, расчленением империи и навязыванием оккупированной России более или менее либеральной конституции. Это была бы „японская модель” насильственной трансформации милитаристской автократии. Иначе говоря, в дядерную эпоху такая политика имела смысл, если, конечно,

1 Joseph S. Nye, Jr., ed. *The Making of America's Soviet Policy*, — Yale University Press, 1984, p.4.

2 *Ibid.*, p.VII.

Запад согласился бы принять риск и цену новой мировой войны, чтобы *сломаť вековые стереотипы поведения русской политической системы*. Но какой смысл имеет такая политика в ядерную эпоху, когда новая мировая война и оккупация России немыслимы, когда возможности сломать эти стереотипы декретом оккупационных властей не существует и, следовательно, даже в случае свержения коммунистической власти Россия будет продолжать функционировать *согласно этим стереотипам*?

Задумывались ли когда-нибудь идеологи консервативно-го направления над этой перспективой? Как представляют они себе будущее России в случае, если предлагаемая ими политика увенчается успехом? Я не могу ответить читателю на эти вопросы: я никогда ничего подобного от этих людей не слышал.

Самого беглого взгляда на русскую историю, однако, достаточно, чтобы убедиться, что на ситуацию экстремальной опасности Россия отвечает установлением гарнизонной диктатуры. Иными словами, единственным мыслимым результатом успеха политики, предлагаемой консервативным направлением, может быть только сценарий Дэнлопа – террористическая контрреформа, ведущая к превращению России в фашистскую ядерную супердержаву. Такого ли результата добиваются консерваторы?

В этом смысле они больше всего напоминают русских экстремистов начала века, в первую очередь большевиков. Те тоже ослеплены были ненавистью к царизму, тоже видели в нем главный источник мирового зла, и тоже думали, что освобождение России от царизма принесет благоденствие стране и миру. Если вспомнить зловещие грезы „русской идеи“, бывшей тогда в зените своих экспансионистских и черносотенных амбиций, в этом экстремистском антицаризме было, вероятно, больше правды, нежели мы готовы сейчас признать. Недостаток его, однако, был тот же, что и у современного консервативного направления советологии: он намеревался тушить пожар огнем, заменить один экстремизм другим. Известно, что из этого получилось.

Вырождение экстремистских идеологий и тот факт, что,

выродившись, они превращаются в свою противоположность, представляет собой один из фундаментальных стереотипов политического изменения в России. Читателю, которого не убедил в этом мой очерк вырождения „русской идеи“, я постараюсь показать это кратко на примере вырождения ее антипода — русского марксизма. Возможно ли было представить себе пропасть, большую, нежели та, что разделяла русофильскую утопию Сергея Шарاپова от первоначального катехизиса Владимира Ленина, когда он оказался у руля Российской империи?

Утопия Шарاپова предвидела империю, подмявшую под себя десятки наций, обязанных быть благодарными России за то, что она избавила их от грозившего им „еврейского рабства“ и „всемирного Деспота из Дома Давидова“. Катехизис Ленина провозгласил конец империи: „1. Равенство и суверенитет народов России. 2. Право народов России на национальное самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства. 3. Отмена всех национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений“.³

Утопия Шарاپова, предвеля Гитлера, видела освобождение мира в окончательном решении еврейского вопроса. Катехизис Ленина противопоставил этому освобождение пролетариата от принудительного отчужденного труда. Для Ленина решение национального вопроса было лишь обратной стороной уничтожения эксплуатации человека человеком. В этом смысле еврейского вопроса для него вообще не существовало. Во всяком случае, в 1951 г. существовать ему не полагалось: все нации должны были слиться к тому времени в одну благородную человеческую семью. Таково было обещание коммунизма. А в 1951 г. в России должен был, если верить Ленину, восторжествовать Коммунизм — с большой буквы, как финальная и совершенная фаза человеческой истории. У нас есть документальное подтверждение этому: „поколению, представителям которого теперь около 50-ти лет, — говорил Ленин в октябре 1920 г., — нельзя рассчитывать, что оно увидит комму-

3 Документы советской внешней политики. М., 1957, т.1, с.15.

нистическое общество. До тех пор это поколение перемрет. А то поколение, которому сейчас 15 лет, оно и увидит коммунистическое общество”.⁴

Поколение, которому Ленин обещал, что оно увидит завершение истории, поколение, родившееся около 1905 г., было у власти в России в 1951 г. Брежнев, Косыгин, Суслов, Кириленко – все родились около 1905 г. И что же они увидели? Новый истеблишмент империи, опять, как до революции, затянутый в военные и полувоспитанные мундиры, блистающий эполетами, медалями и маршальскими звездами, патриархат православной церкви, восстановленный вместе с крепостным правом, чего не решились сделать даже последние цари, еврейский вопрос накануне „окончательного решения”, солдат-император, ведущий империю к господству над миром.

Ленинская утопия, так решительно и, казалось, навсегда покончившая с шарашовской, проигрывала ей спустя три десятилетия по всем пунктам. Поколение, которому было пятнадцать лет в момент ленинского торжественного обещания, увидело – вместо великолепного, неслыханного в истории прыжка „из царства необходимости в царство свободы” – апофеоз имперского рабства, предсказанного пророками „русской идеи”. Первоначальный катехизис русского марксизма действительно выродился, превратившись в свою противоположность. И в этом смысле он ничем не отличался от первоначального катехизиса „русской идеи”.

Это подводит нас к еще одному аргументу консерваторов, которым оперирует главным образом „русская новая правая” и частично – ее академические попутчики. Аргумент гласит, что Россия избежала бы всех этих несчастий и не превратилась бы в „империю зла”, т.е. в моих терминах никакой контрреформы не пережила бы – если бы только не застиг ее в 1917 г. „черный вихрь” западной идеологии. Если бы этот злонамеренный „вихрь”, воплотившийся сначала в кучке безответственных либералов, свергнувших царя, а затем в кучке большевистских конспираторов, оперировавших на немецкие

4 В. Ленин, Полн. собр. соч., изд. 4-е, т. 31, с. 274.

деньги и опиравшихся на латышские штыки, не захватил изменнически власть в России.

Вековые стереотипы политического изменения в России свидетельствуют об обратном: террористическая контрреформа обусловлена провалом реформы, а не происками „черного вихря”. И поэтому она произошла бы, даже если бы ни немецких денег, ни латышских штыков, ни самих конспираторов-большевиков в природе не существовало, даже если бы тогдашние пророки „русской идеи”, Пуришкевич, а не Ленин оказались бы у власти. Им все равно понадобился бы террор, чтобы остановить стихийно начавшийся распад империи так же, как самовольные захваты помещичьих земель крестьянами и фабрик рабочими, прекратить анархию и деморализацию, охватившие страну после трехлетней бойни. Им все равно понадобилась бы идеология, способная оправдать этот террор и возрождение империи, оправдать войну с собственным крестьянством, с собственным рабочим классом, с меньшинствами, пожелавшими отделиться от империи. Никакой другой идеологии, пригодной для этой роли, кроме „скрежещущего мракобесия” выродившейся „русской идеи”, в их распоряжении не было. Никакое другое средство, кроме террористической контрреформы, империю не спасло бы. Достаточно вспомнить самое знаменитое предсказание Константина Леонтьева: „Чувство мое пророчит мне, что Славянский православный царь возьмет когда-нибудь в руки социалистическое движение и с благословения Церкви учредит социалистическую форму жизни на место буржуазно-либеральной. И будет этот социализм новым и суровым трояким *рабством*: общинам, Церкви и Царю”.⁵ Василий Розанов пронзительно заметил по этому поводу, что, „кто знает и чувствует Леонтьева, не может не согласиться, что дай ему волю и власть (с которыми бы Ницше ничего не сделал), он залил бы Европу огнями и кровью в чудовищном повороте политики”.⁶ А полутчики уверяют нас, что „русская идея” не смогла бы породить своего Сталина...

5 К.Леонтьев. Собр.соч., М., 1912-1914, т.6, с.98.

6 В.Розанов. Из переписки К.Н.Леонтьева. — „Русский вестник”, 1903, № 4, с.642.

ЛОГИКА ЛИБЕРАЛОВ

Аргументы либерального направления советологии выглядят, на первый взгляд, гораздо более рациональными и, если можно так выразиться, секулярными. О крестовых походах оно не толкует и религиозно-идеологическое измерение конфронтации сверхдержав на первый план не выдвигает. Его геополитические метафоры о России как о новой супердержаве, которая подобно имперской Германии накануне первой мировой войны бросает вызов старому мировому порядку (или как о новой Австро-Венгрии, пытающейся спастись от распада при помощи имперской экспансии), лишают западный спор привкуса средневекового диспута. В отличие от консервативного направления, оно признает проблему политического изменения „абсолютно фундаментальной для нашего представления о Советском Союзе”.⁷ Более того, полагает, что „именно здесь наши стереотипы устарели самым поразительным образом”.⁸

И при всем том, внимательно прислушавшись к его аргументам, трудно отделаться от ощущения, что они были бы вполне на месте в устах, скажем, философов Просвещения или отцов-основателей американской конституции. Нет спора, приятно после воспаленной средневековой атмосферы консервативных диспутов оказаться в прохладном климате отвлеченных рационалистических доктрин, скажем, энциклопедистов восемнадцатого века и всеспасающей веры в просвещение и прогресс. Трудно представить себе, однако, такие доктрины в качестве руководства в конкретной политике ядерного столетия.

Генеральный постулат этого направления можно, наверное, сформулировать так: если нам удастся избежать крестово-носной активности, на которую толкают нас консерваторы, если мы оставим Советский Союз в покое, ограничившись сдерживанием его экспансионистских тенденций и гонки вооруже-

7. M. Shulman. What the Russians Really Want? — "Harper's", Apr., 1984, p. 69.

8 Ibid.

ний, то Россия сама по себе каким-то образом не только выкарабкается из своего исторического упадка, но и постепенно либерализуется, решив тем самым за нас смертельно опасную проблему конфронтации с тоталитарной сверхдержавой. В противоположность горячей антикоммунистической активности консерваторов постулат этот подразумевает, что от Запада требуются лишь осторожность, аккуратность и такт (и, конечно, желание остановить безумную ядерную гонку посредством контроля над вооружениями). Остальное уладят прогресс и просвещение — то ли в процессе смены поколений в советском руководстве, то ли потому, что императив экономической модернизации раньше или позже заставит советское руководство пойти на политическую либерализацию.

Таковы, собственно, главные аргументы либерального направления советологии. Рассмотрим их по очереди, начав с аргумента о „смене поколений” (и долженствующей последовать из нее либерализации русской политической системы, т.е. ее решающем политическом изменении). „Двигатель этого изменения — приход новых поколений, с новыми ожиданиями и опытом... Младшая элита хорошо образована и компетентна. Хотя они и не либералы в западном смысле, их мышление тем не менее гораздо более изощренно, чем мышление высокопоставленных членов партии, характеризующее провинциальным фундаментализмом. Они свободны от влияния революции и сталинского террора, сравнительно информированы о внешнем мире и готовы у него учиться”.⁹ Подразумевается, как видим, что в результате этого постепенного перехода советской элиты — и, следовательно, правительства — от социалистического фундаментализма к, скажем, социалистическому просвещению, политическое изменение в России будет происходить в позитивном, либеральном направлении.

Недостаток этого аргумента в том, что он, к сожалению, не описывает адекватно политические изменения даже в советском — хронологически незначительном — эпизоде русской истории. Нынешние советские лидеры действительно моложе и

9 Ibid.

образованнее своих непосредственных предшественников. Однако они *не* моложе и *не* образованнее первых советских лидеров. Достаточно сказать, что Ленин умер в том самом возрасте, в каком Горбачев пришел к власти. А Ленин был значительно старше своих коллег. В действительности первое советское правительство было, вероятно, самым молодым и самым образованным в русской истории. Это обстоятельство ничуть не помешало ему *возглавить режим контрреформы*.

Члены последующих советских правительств были все старше и все менее образованы — покуда, наконец, не впали они в вышеуказанный „провинциальный фундаментализм” — что не помешало одним из них возглавить сравнительно либеральный режим реформы 1920-х гг., а другим — режим террористической контрреформы в 1930-40-е. И совершенно независимо от возрастного и образовательного ценза постсталинские правительства опять возглавили сначала режим реформы в 1950-60-е гг., а затем режим политической стагнации в 1970-е. Никита Хрущев был значительно старше Леонида Брежнева, что не помешало ему стать смелым и ярким реформатором, в то время, как Брежнев и его поколение завело страну в тряси́ну стагнации.

Иначе говоря, факты свидетельствуют, что ритм политических изменений в России никогда *не совпадал* со сменой поколений так же, как с изменением возраста и образования политической элиты — даже в советское время. И уж совсем ненадежным путеводителем по лабиринтам русской политической системы оказывается теория смены поколений, едва мы отказываемся от постулата о России как о „черном ящике” и выходим за пределы советского эпизода русской истории. Тут и оказывается, что наш очерк вырождения „русской идеи” (так же, как и русского марксизма) имеет самое прямое отношение к современным западным спорам о России. История по сути отнимает у нас надежду, что все в России уладится само собой — с механической сменой поколений. Одно за другим прошли перед нами здесь поколения русских политических идеологов — и каждое последующее было все менее и менее либеральным и все более воинствующим и экспансионист-

ским. Если Константин Аксаков и был фундаменталистом „русской идеи“, кто осмелится сказать, что Данилевский был либеральнее его, не говоря уже о Леонтьеве или Шарапове?

Нет сомнения, что поколение, сменившее то, которому выпала судьба жить под четвертьвековой террористической диктатурой Ивана Грозного, пришло к власти с „новыми ожиданиями и опытом“ и было „образованнее и компетентнее“ своих предшественников. И оно действительно попыталось реформировать русскую политическую систему точно так же, как три столетия спустя попыталось сделать это поколение Хрущева. Но оно потерпело поражение. И поколение, наследовавшее ему — еще более, надо полагать, образованное и компетентное — завело тем не менее страну в трясину политической стагнации точно так же, как поколение Брежнева. Почти буквально повторился этот „сценарий“ после поколения, жившего под диктатурой Петра Первого,¹⁰ а затем и после Павла Первого и Николая Первого. И так продолжалось вплоть до окончания диктатуры Сталина — и после него.

Так не имеем ли мы здесь дело с еще двумя фундаментальными стереотипами политического изменения в России? Согласно одному из них, смена поколений *не* определяет характер режимного изменения. Согласно второму, политическая история России за последние восемнадцать-двадцать поколений представляет собою серию потерпевших поражение и обращенных вспять реформистских попыток. Каждая из них либо переходила в политическую стагнацию, либо провоцировала террористическую контрреформу. И если даже все остальное (структура общества, нравы, язык) радикально менялось в России со сменой поколений, *стереотипы политического изменения* оставались в ней неизменны — до революции и после нее. Так обстоит дело с первым аргументом либерального направления советологии.

10 См., например: A. Yanov. The Drama of the Time of Troubles — Canadian-American Slavic Studies, vol. 12, No 1, Spring 1978.

БЕГСТВО ОТ ИСТОРИИ

Второй его аргумент гласит, как мы помним, что Россия должна постепенно либерализироваться под влиянием императива экономической модернизации и в силу растущей сложности управления экономической системой. Самый оптимистичный из представителей либеральной советологии Джерри Хофф даже посвятил значительную часть своего учебника „Как управляется Советский Союз” доказательству, что именно в эпоху Брежнева Россия сделала серьезные шаги в направлении либерализации.¹¹ К сожалению, достаточно самого беглого взгляда на русскую экономическую историю, чтобы убедиться в беспочвенности этого оптимизма. На протяжении всех четырех столетий, отделяющих террор Ивана Грозного от террора Иосифа Сталина, сложность управления экономической системой росла непрерывно — и почему-то *не* привела к перманентной либерализации России. Единственная в Европе, Россия прошла через *три* последовательных и мучительных процесса индустриализации и экономической модернизации — при Петре Первом, при Александре Третьем и при Сталине. Согласно классическому учебнику экономической истории Европы, после первой своей модернизации в восемнадцатом веке Россия оказалась самой экономически передовой страной в Европе.¹² Это обстоятельство, однако, не предотвратило контрреформы Павла Первого и Николая Первого, снова заведшие ее в эпоху исторического — в том числе и экономического — упадка.

У Хоффа было бы гораздо больше причин для оптимизма, окажись он современником Шарاپова в 1901 г., после второй экономической модернизации России (хотя Шарапov, как мы помним, сделал из факта этой модернизации выводы прямо противоположные). Как бы то ни было, второе рождение русской тяжелой индустрии в 1880-1890-х гг. принесло

11 Jerry F. Hough and Merle Fainsod. How the Soviet Union is Governed. — Harvard University Press, 1979.

12 W. Bowden, M. Karpovich, A. Payson Usher. En Economic History of Europe since 1750. — American Book Co., 1937, p. 301.

России вовсе не либерализацию, а две жесточайшие контрреформы, последовательно увлекшие ее в эпоху нового исторического — включая экономический — упадка. Так не является ли *неспособность* экономической модернизации повлиять на характер политического изменения в России еще одним фундаментальным стереотипом ее политического поведения?

Анализ аргументов либерального направления советологии приводит к тому же выводу, что и анализ аргументов направления консервативного: они лишены исторического измерения. Или — что звучит более корректно — новизна советского политического феномена затмевает в глазах либеральных советологов всю предшествующую ему историю России как источника суждений о ее сегодняшних политических потенциях. Либеральная советология, игнорируя изучение стереотипов прошлого политического поведения России, лишилась возможности прогнозировать ее поведение в будущем. Таково, как мне представляется, происхождение легенды о „черном ящике”.

НОВЫЙ КРИЗИС

Это обстоятельство практически обезоруживает участников западного спора о России перед феноменом возрождения „русской идеи”. Если консерваторы склонны рассматривать ее как альтернативу коммунизму, либералы склонны, скорее, пренебречь ею как не имеющей отношения к политическому будущему России. Для консерваторов она служит подменой ответа на роковой вопрос: что случится с Россией (и с миром), если их политика увенчается успехом и коммунистическое правительство в ней падет? Либералы не могут принять ее всерьез, ибо само ее явление противоречит их постулату о неизбежности постепенной либерализации России.

Если бы, скажем, в начале столетия западный спор о России представлял собою то, что он представляет сейчас, поверили бы тогдашние консерваторы или тогдашние либералы,

что катастрофа русского царизма окажется триумфом русского марксизма? Точно так же не могут они поверить сейчас в „сценарий” Дэнлопа — с его угрозой превращения катастрофы русского марксизма в торжество русского фашизма. Ни идеологический подход консерваторов, ни геополитический подход либералов не могут объяснить такое развитие событий. Объяснить его могло бы представление о русской политической динамике — на всем протяжении имперского существования России — как о серии исторических катастроф. Я называю их контрреформами. Возможны другие названия. Но как бы мы их ни назвали, в таком представлении „сценарий” Дэнлопа оказывается совершенно на месте (как и метаморфоза русского царизма в русский марксизм). И это вовсе не единственная проблема, неразрешимая для обоих доминирующих в западном споре подходов к России. Ни один из этих подходов не может, например, объяснить причину неожиданного, на первый взгляд, возрождения „русской идеи” в коммунистическом СССР. Если мы посмотрим, однако, на имперскую политическую историю как на серию периодических упадков империи (очевидную из табл.3; см.приложения), периодическое возрождение „русской идеи” объясняется просто. Оно — *симптом нового упадка*. (Читатели „Очерков по истории русской культуры” П.Н.Милюкова, без сомнения, знают, что аналогичный Петербургскому и Советскому взрыв „русской идеи” произошел и в семнадцатом веке, накануне Петровской „революции сверху”. И разве не исполнил он тогда точно ту же функцию, что и возникновение славянофильства в Петербургской империи и русского национализма в советской? Иначе говоря, разве не был он грозным предупреждением и симптомом приближающегося упадка Московской империи?)

Почему Россия оказалась единственной в Европе страной, которую ни одна реформа на протяжении столетий (а среди них были и великие реформы) не привела к политической модернизации? Почему все без исключения русские реформы были раньше или позже обращены вспять? Почему Россия оказалась единственной континентальной империей в Европе, уцелевшей после первой мировой войны, когда все остальные рас-

пались? Почему после второй мировой войны, когда распались все колониальные империи мира, Россия опять оказалась единственным исключением? Как отвечают на все эти вопросы идеологический или геополитический подход? Никак. Эти вопросы, казалось бы, центральные для понимания русской политической системы, в западных дискуссиях вообще не фигурируют. Только русская политическая история, поставившая перед миром эти вопросы, может на них ответить. И ответ ее сокрушителен для логики либералов. Автократия замкнула Россию в своего рода исторической ловушке, из которой она не может, как свидетельствует все ее прошлое, выбраться самостоятельно — без интеллектуальной и политической поддержки мирового сообщества. Силы каждого из трех главных секторов ее политического истеблишмента — реформистского, консервативного и экстремистского (революционно-реакционного) достаточно лишь для того, чтобы нейтрализовать своих соперников, но не сокрушить их. Именно поэтому, надо полагать, реформистская Россия, единственно способная разомкнуть историческую ловушку, не смогла исполнить эту миссию на протяжении двадцати поколений. Каждый раз, когда она, казалось, была на грани решения своей задачи, консервативные или экстремистские силы сметали ее с политической арены. Это обстоятельство практически лишает русских реформаторов надежды добиться исторического прорыва — без помощи извне.

К несчастью, этот трагический урок русской истории до сих пор не нашел себе места в западном споре о России. Поэтому ни средневековые страсти консерваторов, ни пассивный академический оптимизм либералов не содержит никакого практического разрешения смертельно опасной конфронтации сверхдержав в ядерном веке.

Переговоры испробованы так же, как и отсутствие переговоров. Соглашения о контроле над вооружениями испробованы так же, как и отсутствие соглашений. Детант испробован так же, как холодная война. По сути все рекомендации консерваторов испробованы за четыре послевоенных десятилетия. Так же, как и все рекомендации либералов. И все без-

результатно: гонка вооружений и конфронтация нарастали. Сегодня этот процесс повторяется: либералы настаивают на новом детанте, консерваторы — на интенсификации гонки вооружений — на „звездных войнах”. Западная дискуссия все больше напоминает испорченную грампластинку, где игла бесконечно крутится по одной и той же дорожке, снова и снова повторяя один и тот же обрывок музыкальной фразы. Какой, однако, смысл повторять нефункциональные стратегии, проектируя, таким образом, конфронтацию в бесконечность? Не пора ли извлечь из собственного опыта хотя бы тот элементарный урок, что для разрешения конфронтации просто нужен совсем другой теоретический подход к России и совсем другие стратегии?

Я говорю о стратегиях, комбинирующих активность консерваторов — но без его агрессивности и милитаризма — и оптимизм либералов — но без его пассивности и отвлеченной схоластики. Подробно мы обсудим эти стратегии в заключительной главе. Сейчас скажем лишь, что не реагировать на возрождение „русской идеи” опасно. Ибо знаменует она, как и в прошлом веке, приближение национального кризиса России, в котором, как мы уже знаем из опыта, „середины нет”. Какая бы экстремистская идеология ни победила в Москве в результате такого кризиса, под какими бы лозунгами ни стала выходить из него страна, кончится дело, как в 1917 г., как всегда в таких случаях было в России, — новой контрреформой, — на этот раз способной превратить ее в фашистскую ядерную супердержаву.

В 1903 г. мир не заметил рождения большевистской партии в России. Потом — задним числом — о нем были написаны тома и тома. Потом стало очевидно, что рождение большевизма было ключевым событием для всей последующей мировой политики в нынешнем столетии. Западные либералы и консерваторы в современном споре о России, безусловно, не воспринимают рождение „русской новой правой” как ключевое событие нашего времени. Не повторяют ли они ошибку, которую сделали их предшественники в 1903 г.?

ГИПОТЕЗА

Как и в прошлом веке, современный русский национализм состоит из разнородных элементов. Как тогда, он имеет своих представителей и в государственном истеблишменте России, и среди диссидентства, непримиримо оппозирующего истеблишменту. Диссидентский национализм считал в прошлом веке — и считает сейчас — истеблишментарный национализм (в данном случае, советский патриотизм) официальной ложью. Это обстоятельство не помешало ему самому, однако, превратиться в официальную идеологию режима в эпоху контрреформы Александра Третьего. Иначе говоря, взаимодействие разнородных элементов имперского национализма в России обладает собственной динамикой. У его эволюции есть структура. Нельзя ли в таком случае — в сжатом и схематическом виде и, конечно, в качестве гипотезы — сформулировать эту динамику и эту структуру? Нельзя ли найти закономерность эволюции имперского национализма, которая в одно и то же время обобщала бы процесс вырождения „русской идеи” в прошлом веке и объясняла аналогичный процесс, происходящий перед нашими глазами сегодня? Закономерность, которая не подменяла бы анализ этого процесса утешительным, но наивным разделением его представителей на „хороших националистов” и „плохих националистов”, как делает Дэнлоп, а до него Хофф и Пайпс, как делают практически все западные эксперты. Вот как представляет мне эта гипотетическая закономерность.

А. „Русская идея” возникает как метаидеология, т.е. как пара субидеологий: одна „наверху”, другая „внизу”

(назовем их „истеблишментарной правдой” и „диссидентской правдой”).

Б. Начинают они с конфронтации: на первом этапе идеологические сестры не признают своего родства. „Истеблишментарная правая” идентифицирует себя с истеблишментом системы, рассматривая свою диссидентскую сестру не только как соперницу, но и как подрывную идеологию, и потому преследуя и ссылая ее представителей. „Диссидентская правая”, со своей стороны, идентифицирует себя с антиистеблишментарным диссидентским движением, уличая свою истеблишментарную сестру в профанации национального чувства и своекорыстной игре на патриотизме. Но поскольку обе они, хотя и на разных уровнях и в различных формах, воспринимают национальное возрождение как единственно возможный ответ на один и тот же исторический вызов — на начавшийся упадок империи — подспудно они все-таки ощущают свое родство, которое впоследствии (через ряд мучительных идеологических и политических метаморфоз) приводит их к взаимной адаптации. (Элементы, способные к такой адаптации просто отсеиваются и превращаются в незначительные маргинальные секты, как превратились, например, в такую секту славянофилы „неподвижного аксаковского стиля” — или „хорошие националисты”, в терминах Дэнлопа, — возглавлявшиеся в начале XX в. А.Самариным, Д.Шиповым и В.Львовым.)

В. Движущие мотивы в механизме этой адаптации различны для обеих субидеологий в разных исторических условиях.

Для современной „истеблишментарной правдой”, например, существенно:

1) обострение политической борьбы в истеблишменте в связи с постепенной деградацией системы;

2) оппозиция реформе, в которой она видит подрыв своих привилегий и угрозу империи, и нежелание в то же время примириться с политической стагнацией, ведущей страну к упадку. В этих условиях контрреформа

может представиться наименее болезненным, если не единственным, способом не только для выхода из состояния исторического упадка, но и для начала нового исторического подъема России;

3) контрреформа, однако, требует радикального идеологического поворота, способного вернуть империи ее утраченный мобилизационный характер, обеспечить ей активное содействие и симпатию масс, так же как и части интеллигенции, оправдать резкое ужесточение производственной, семейной и культурной дисциплины и возрождение воинствующей экспансионистской динамики;

4) ортодоксальный марксизм больше не способен к такому радикальному повороту. Он не в состоянии оправдать возвращение к идеологической атмосфере военного коммунизма. Все очевиднее превращается он для России в отыгранную карту: СССР необратимо теряет руководящую роль в мировом коммунистическом движении, зарубежные марксисты необратимо отчуждаются от „советской модели“, а русское общественное сознание отчуждается от бесплодной марксистской риторики;

5) иначе говоря, контрреформа требует идеологической стратегии, для выработки которой „истеблишментарная правая“ не располагает никакими интеллектуальными и моральными ресурсами, кроме тех, что вдохновляют ее преследуемую и гонимую диссидентскую сестру. В этом смысле она действительно „уязвима“ для интеллектуально более утонченных диссидентских националистов. Однако „уязвима“ она избирательно: лишь для тех аргументов, которые функциональны в ее собственной политической стратегии.

Для современной „диссидентской правой“ существенно совсем другое:

1) обострение идейной борьбы внутри диссидентства, неспособность собственными силами справиться со своим главным оппонентом в диссидентском лагере — „западничеством“, интеллектуальное поражение, которое может быть обращено в победу только при помощи госу-

дарства. (Так православная церковь, неспособная справиться с ересью мечом духовным, от века призывала на помощь физический меч государства, попадая тем самым в зависимость от него.) Современная „диссидентская правая” чувствует себя все более неуместной в рядах диссидентского движения, которое отвергает ее претензии на лидерство и тем самым лишает ее почвы в среде неисправимо „западнической” интеллигенции;

2) отсутствие реальных инструментов идейного воздействия на массы (средств массовой коммуникации, массовых институтов, находящихся под контролем ее истеблишментарной сестры и т.д.);

3) ненависть к „гнилому” Западу, т.е. к ценностям западной культуры, представляющейся воплощением декадентства и исторической деградации, ненависть, которую „диссидентская правая” полностью разделяет со своей истеблишментарной сестрой. Готовность пожертвовать (ради спасения России) политической и интеллектуальной свободой, запрограммированная в ее политическом катехизисе и нивелирующая эмоциональный порог, ощущение органической несовместимости с отечественной автократией.

4) наконец, если „диссидентская правая” в силу всех этих причин действительно обладает свойством развиваться в направлении адаптации и в конечном счете слияния со своей истеблишментарной сестрой, как и случилось с нею в прошлом веке, становится возможным описать эту идеологическую эволюцию в более или менее строгих терминах.

Для простоты изложения предположим здесь, что эволюция „русской идеи” проходит три главные фазы: от конфронтующего с режимом либерального национализма (назовем его условно Л-национализм) к стремящемуся к сотрудничеству с националистической фракцией истеблишмента изоляционистскому национализму (И-национализм) и от него к сливающемуся с официальной идеологией — в процессе контрре-

формы — милитаристско-имперскому, черносотенному национализму (Ч-национализм).

Примерно так выглядела моя гипотеза в 1975 г. в докладе „На полпути к Леонтьеву. Парадокс Солженицына”, прочитанном на Седьмом конгрессе американских славистов в Атланте (Джорджия). Она опиралась тогда, главным образом, на „Письмо” Солженицына вождям СССР, на его статьи в сборнике „Из-под глыб”, на мой личный — печальный — опыт дискуссии с русскими националистами и на историческую модель вырождения славянофильства. Я понимал, что идентифицировать Солженицына с „русской правой” в момент его величайшей славы как мирового трибуна и борца против тоталитаризма означало придать моей гипотезе привкус скорее кощунственного пророчества, нежели бесстрастного анализа ученого. С тех пор прошло, однако, десятилетие. В руках у меня достаточно документов, верифицирующих гипотезу, которая постепенно обростала плотью фактов и сама становилась фактом жизни. Как увидит читатель, движение идей „диссидентской правдой” действительно шло в направлении от либерального национализма к черносотенному. Процесс этот, однако, еще не закончился, эволюция „русской идеи” продолжается. И хотя некоторые контуры черносотенного национализма, которому суждено, быть может, стать новой государственной идеологией русской империи, уже различимы, но как цельной доктрины, подобной той, что сложилась в третьем поколении дореволюционного славянофильства („Путь в Константинополь ведет через Берлин”, „Россия как единственный бастион христианства в борьбе со всемирным франкмасонско-жидовским заговором” и т.п.) ее пока не существует. В этом смысле гипотеза остается гипотезой.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
В ОЖИДАНИИ ДВУХТЫСЯЧНОГО
ГОДА

8

ВСХСОН – НАЧАЛО
ДИССИДЕНТСКОЙ ПРАВОЙ

Судьба „русской идеи” прошлого века была моей специальностью. В конце 1960-х гг. я готовил к защите диссертацию, которая так и называлась: „Славянофилы и Константин Леонтьев: вырождение русского национализма: 1856–1891 гг.”. Я не стану, однако, уверять, будто мною руководил только научный интерес (хотя и с чисто академической точки зрения тема была взрывчатой: Леонтьев был табу в советской историографии с 1930-х гг., а изучение славянофильства – на мертвой точке). Самый замечательный аспект моей темы заключался вовсе не в ее академическом потенциале. Он был в самой русской действительности конца 1960-х гг., когда история словно бы оживала перед нашими глазами. Из-под глыб зам-

шелой официальной идеологии вдруг стали пробиваться свежие удивительные голоса, толковавшие о необходимости национального возрождения, о возвращении к национальным корням и спасении России. Новое настроение, как вихрь, закружило Москву. Оно возникало стихийно, снизу, не только не по указанию властей, но порою было направлено прямо против них. В домах интеллигентов, в клубах и университетах появились люди самого разного возраста — и старики, и юноши, — призывавшие вернуться „домой”, к „святыням национального духа”, торжественно декламировавшие о „земле” и „почве”, — словно ожили славянофилы 1830-х гг. Один из самых популярных московских журналов „Молодая гвардия” присоединится к этому хору, опубликовав серию громовых статей. Модной темой дискуссий стало вдруг вымирание русской деревни, ужасающее запустение колыбели нации — Северо-восточной Руси (т.е. то самое, чему ужаснулся я, объездив пол-России и написав об этом самые горькие свои статьи).¹

Интеллигенция вдруг устремилась проводить отпуска в деревнях, у могил далеких предков — вместо модных еще недавно Крыма, Кавказа и Прибалтики. Молодежь бродила по вымирающим деревням, собирая иконы, и очень скоро не осталось почти ни одного интеллигентного дома в Москве, не украшенного символами православия. Писатель Владимир Солоухин появился в Доме литераторов с перстнем, на котором был изображен расстрелянный император Николай Второй. На черном рынке возник бешеный спрос на книги „контрреволюционеров” и „белогвардейцев”, умерших в эмиграции.

Впоследствии Солженицын так сформулирует это настроение: „Бездумное заблуждение — считать русских в СССР „правлящей нацией”... Русские — главная масса рабов этого государства. Русский народ изможден, биологически вырождается, его национальное сознание принижено, подавлено”.²

1 См., например: „Тревоги Смоленщины” („Литературная газета, 23 и 26 июня 1966); „Костромской эксперимент” (там же, 17 декабря 1967); „Колхозное собрание” („Комсомольская правда”, 5 июля 1966).

2 А.Солженицын. Коммунизм у всех на виду, а не понят. — „Новое русское слово”, 17 февраля 1980.

Эта естественная забота о своем страдающем народе не вызвала бы ничего, кроме сочувствия, если бы в общем националистическом хоре не пробились вдруг странно знакомые и зловещие голоса. Ходила по рукам вышедшая из недр Московского горкома комсомола — одна из первых ласточек самиздата — листовка „Устав нравов”, написанная видным комсомольским функционером Валерием Скурлатовым. Автор утверждал, что „нет более подлого занятия, чем быть мыслителем, интеллигентом”. Он призывал „настраивать молодежь на смертельную борьбу”, связанную „с космической миссией нашего народа” и полутно „ввести телесные наказания для женщин, отдающихся иностранцам, клеймить их и стерилизовать”.³ Поначалу это показалось курьезом, хоть и зловещим. Но когда весной 1968 г. стало известно об аресте националистической группы А.Фетисова, идеи которой представляли собою „критику советской системы с позиций крайнего тоталитаризма и шовинизма”,⁴ сомнений в том, что возрождающаяся „русская идея” отбрасывает мрачную шовинистическую тень, больше не оставалось. Оказалось, что в работах этих диссидентов-националистов „историческое развитие человечества представлялось как борьба порядка с хаосом, воплощенном в еврейском народе, создававшем беспорядок в Европе на протяжении двух тысяч лет, покуда Германские и Славянские принципы — тоталитарные режимы Гитлера и Сталина — не положили этому конец”. Оказалось далее, что единомышленники А.Фетисова рассматривали „эти режимы как исторически неизбежные и позитивные явления”.⁵ (Стоит ли уточнять, что люди эти — точно так же, как и их вдохновители Н.Марков или Ю.Одинзгоев, — были православными, т.е. по сегодняшней терминологии Дэнлопа „возрожденцами”, „хорошими националистами”?)

3 „Политический дневник”, № 18, март 1966.

4 „Хроника текущих событий”, № 7, с.17 (без даты).

5 Там же.

ЛОГИЧЕСКАЯ ОШИБКА?

Итак, уже в конце 1960-х гг., в самом своем зачатке возрождающаяся „русская идея” очевидно демонстрировала два направления. Одно уходило корнями в освободительную антидеспотическую утопию К.Аксакова, другое – в имперскую милитаристскую грезу С.Шарапова. При всем их различии, однако, обоим этим направлениям предстояло найти общего „дьявола”. Во всяком случае, происхождение солженицынского дьявола, как вскоре показали события, совершенно не отличалось от происхождения фетишовского. Оба винили в бедах русского народа не русскую империю, а Запад. Одни винили западную идеологию марксизма и конспираторов-большевиков, завоевавших с ее помощью Россию, другие – западную „евреизацию”, грозившую всемирным хаосом. Ни те, ни другие, однако, не замечали явной нелогичности своего главного постулата.

Винить в бедствиях русского крестьянства Запад или евреев у них было ровно столько же оснований, сколько, скажем, у турецких националистов начала века винить в бедственном положении коренного населения Оттоманской империи – армян. Разве не оказалось турецкое крестьянство, точно так же как русское, „главной массой рабов этого государства”? Его положение было безусловно бедственным. Оно жило хуже и было беднее других народов империи, в особенности предприимчивых армян. Турецкие националисты начала века имели все основания сказать, предваряя Солженицына, что турецкий народ в Оттоманской империи „изможден, биологически вырождается, его национальное сознание унижено, подавлено”. Вряд ли, однако, стали бы они утверждать на этом основании, что „бездумное заблуждение – считать турок в Оттоманской империи правящей нацией”.

В том-то и заключается коварство традиционных континентальных империй Восточной Европы, что, в то время как элита имперской нации контролирует империю, крестьянство ее несет на себе „бремя империи”. В этом ровно ничего загадочного нет. И одинаково нелепо винить в этом западные идеологии, евреев или армян: они не создали ни Оттоманскую,

ни Российской империю. Их создали турки и русские. Действительная загадка заключается совсем в другом: Османская империя распалась в результате первой мировой войны, в то время как русская воспроизвела себя на обломках царизма.

Потому-то и говорю я о политической системе автократии как об „исторической ловушке”. И опять-таки непонятно, почему виноваты в этом Запад или евреи. Разве они создали русскую политическую традицию? Разве они создали автократию? Искусственность этого перекладывания вины за русские беды на других поражала воображение. На первый взгляд, оно может показаться просто логической ошибкой, если не безумием. Но приглядевшись к нему внимательней, наблюдатель обнаруживает в этом безумии систему. Состоит она в том, что русская империя и русская политическая традиция *освобождаются таким образом от ответственности* за то, что случилось с Россией. Только при помощи этого логического трюка становится возможным оправдать идеологическое ядро „русской идеи”, то, что объединяет „хороших националистов” и „плохих националистов”, Солженицына и Фетисова – возвращение нации „домой”, т.е. к исконной изоляционистской и имперской политической традиции, представленной как идеал истинно русской цивилизации.

Таким образом, никакой логической ошибки в обвинении Запада или евреев в бедах России нет. Без этого русский национализм существовать просто не может. Он может быть только антизападным и антиеврейским. Он должен быть уверен в золотом веке России, в ее благословенном утопическом „доме”, который был разрушен неким чуждым иностранным элементом, но в который Россия может вернуться, сбросив иностранное иго.

Вот почему русский национализм неспособен бороться с русской автократией. Вот почему при всей своей освободительной риторике он всегда в конечном счете оборачивается оправданием этой автократии и апологией империи. Вот почему был он с самого начала „новой цепью, налагаемой на мысль”. В 1960-е гг. перед нами была та самая „двойственность” „русской идеи”, о которой толковала в свое время ее классическая критика.

Посмотрим теперь, как предстояло ей развиваться в конце второго христианского тысячелетия — накануне двухтысячного года.

Всероссийский Социально-Христианский Союз освобождения народа (ВСХСОН) был первой в постсталинский период и пока единственной⁶ относительно крупной⁷ подпольной организацией, ставившей себе целью вооруженное свержение существующего государственного строя в СССР. Как и положено конспиративной организации, ВСХСОН имел Устав и Программу, соответствующие методы агитации и вербовки новых членов. Однако я не буду останавливаться на деталях его повседневной деятельности, на профессиях и образовании его членов, тем более, что все это подробно описано Дэнлопом в его книге, посвященной истории ВСХСОНа.⁸ Поговорим о его программе.

Разумеется, она исполнена непримиримости к коммунизму и советской власти и исходит из того, что „коммунистический мир разлагается. Народы на тяжелом опыте познали, что он несет нищету и угнетение, ложь и моральное вырождение”.⁹ Но это была не только программа конфронтации с режимом, это была программа „народно-освободительной революции, направленной на свержение диктатуры коммунистической олигархии”.¹⁰

Поскольку коммунизм рассматривался в программе как феномен по природе своей антинациональный, нерусский, то, естественно, предполагалось, что режим в некотором роде „висит в воздухе”, не имея серьезных корней в русском обществе.

6 Если не считать эмигрантского Народно-Трудового Союза (НТС).

7 В феврале 1961 г., накануне разгрома, он насчитывал 28 членов и 30 кандидатов.

8 J.Dunlop. The New Russian Revolutionaries. Nordland Press, 1976.

9 Всероссийский Социально-Христианский Союз освобождения народа. Сб.материалов. Париж, Имка-пресс, 1975, с.33.

10 Там же, с.34.

„Догматическая группировка коммунистического класса не имеет в народе широкой социальной базы, на которую она могла бы опереться, чтобы организовать серьезное сопротивление. Ее разгром предрешен”.¹¹

Поэтому революция, замышлявшаяся ВСХСОНом, по сути должна была носить характер военного переворота: „Для полной победы народу необходима своя подпольная армия освобождения, которая свергнет диктатуру и разгромит охранные отряды олигархии”.¹²

Поскольку коммунизм представляет собою главную угрозу христианской цивилизации, а сердце коммунизма находится в России, то очевидно, что и спасение может прийти только из нее. В ней определится будущее человечества, ибо „судьба мирового коммунистического движения будет решаться в России”.¹³

После победы „непосредственное участие общества в жизни страны должно осуществляться путем самоуправления на местах и представительства крестьянских общин и национальных корпораций — крупных союзов работников физического и умственного труда — в высшем законодательном органе страны”.¹⁴ „Государство должно конституироваться как теократическое, социальное, представительное и народное”.¹⁵

Теократический характер нового государства будет обеспечен организацией специального „блюстительного” органа — Верховного Собора, который „должен состоять на одну треть из лиц высшей иерархии церкви и на две трети из выдающихся представителей народа, избираемых пожизненно”.¹⁶ Верховному Собору будет принадлежать „право вето, которое он может наложить на любой закон или действие, которое не соответ-

11 Там же, с.61.

12 Там же, с.34.

13 Там же, с.61

14 Там же, с.64.

15 Там же, с.74.

16 Там же, с.75.

ствуем основным принципам социал-христианского строя".¹⁷ Кроме того, Верховный Собор в качестве „духовного авторитета народа” будет избирать главу государства — „представителя народного единства”.

Организованное таким образом теократическое социал-христианское государство должно будет обеспечить „основные права человека и гражданина”. Эти права перечислены во множестве пунктов. Вот некоторые из них.

Пункт 53. Жизнь и достоинство человека неприкосновенны.

Пункт 56. Все граждане равны перед законом.

Пункт 58. Свобода труда обеспечивается для всех правом каждого гражданина на землю и кредит для приобретения средств производства.

Пункт 62. Никакие виды принудительного труда не могут допускаться по отношению к свободным гражданам.

Пункт 63. Личная свобода ненарушима.

Пункт 64. Все средства распространения мысли свободны.

Пункт 67. Собрания и демонстрации свободны.

Пункт 79. Тайная политическая полиция должна быть распущена.¹⁸

Кажется, все, что было достигнуто политической мыслью России, на протяжении полутора столетий пытавшейся сконструировать специально русский и принципиально неевропейский путь государственного строительства, как бы сфокусировано в этом по-своему замечательном документе. Здесь и романтическое убеждение Павла Пестеля, что „свободу труда” и — главное — свободу от безработицы — можно обеспечить, дав каждому гражданину право на землю; и страстная проповедь Ивана Аксакова, что парламентаризм есть способ узурпации власти профессиональными политиками; и постулат Петра Ткачева, согласно которому русское государство не имеет социальных корней в русском обществе и освобождение народа может быть достигнуто поэтому посредством военного

17 Там же.

18 Там же, с.76-78.

путча; и мысль Владимира Соловьева о теократическом устройстве общественной системы как о политическом воплощении библейских заветов; и декларация Николая Бердяева, что западный капитализм и советский коммунизм в равной степени представляют собой роковые тушки истории человечества, путь к торжеству Антихриста; и глубокая вера Федора Достоевского в то, что спасение мира придет из России. Столь же индикативно для этого энциклопедического свода русского либерального „антиевропеизма” было не только то, что нашло в нем отражение, но и то, что не нашло.

В частности, не упомянут в нем национальный вопрос (что особенно удивляет в программе государственного устройства многонациональной империи). Хуже того, не упомянута необходимость *рабочего механизма*, способного обеспечить реальное осуществление всех перечисленных выше гражданских свобод.

В конце концов, основные свободы перечислены и в советской конституции. Однако без рабочего механизма их осуществления, которым, как свидетельствует история, может служить только институционализирующая политическая оппозиция, все они оказались фикцией, пустым обещанием. Где гарантия, что то же не случится с обещаниями „новых русских революционеров”? Где, другими словами, гарантия их либерализма? Я подчеркиваю, что не сомневаюсь в либеральных намерениях авторов программы — лишь в их осуществимости. Впрочем, поскольку ВСХСОН уже имеет на Западе в некотором роде официального интерпретатора, посмотрим сначала, что думает по этому поводу он.

„ЧЕГО НАРОД В РОССИИ ХОЧЕТ?”

Вкратце точка зрения Дэнлопа сводится к тому, что ВСХСОН был наиболее перспективным крылом советского диссидентства, несущим в

себе зерно и прообраз будущей антикоммунистической революции в СССР. „Хотя ВСХСОН, подобно декабристам, — пишет

он, — не был серьезной военной угрозой существующему режиму, идеи, которые он проповедовал — и продолжает проповедовать, представляют собой несомненно огромную опасность”¹⁹ для режима. Поэтому Дэнлоп уверен, что дальнейшее развитие диссидентского движения в СССР будет руководиться образцом ВСХСОНа. Он даже предсказывает это.²⁰ В доказательство он ссылается на „огромное сходство взглядов ВСХСОНа со взглядами Солженицына и его друзей”,²¹ Кроме того, Дэнлоп испытывает к ВСХСОНу огромную личную симпатию, которая служит ему основанием для еще одного предсказания: хотя „Общество, созданное по проекту ВСХСОНа, было бы более „авторитарным”, чем западные демократии”, оно тем не менее „представляло бы резкое улучшение по сравнению с советской системой”, поскольку именно такое общество „могло бы вполне соответствовать тому, чего народ [в России] хочет”.²²

Я не имею ни малейшего представления, откуда мистери Дэнлопу известно, „чего народ в России хочет”. По моим личным наблюдениям, разные люди хотят в ней разного. Но меня интересует сейчас — чего хотели авторы программы ВСХСОНа. А они, судя по статьям своей конституции, хотели именно свободы, не авторитаризма. Они-то были уверены, что „общество, построенное по их проекту”, будет гораздо более свободным, нежели западная демократия, которую они, как мы скоро увидим, считают „безусловным злом”. Вопрос, следовательно, в том, не ошибались ли „новые русские революционеры” так же, как ошиблись их предшественники, большевики, и не обрекала ли их программа Россию на новое автори-

19 J.Dunlop. The New Russian..., p.223.

20 „Можно уверенно предсказать, — писал Дэнлоп, — что в предстоящем десятилетии мы будем свидетелями возникновения новых вариантов „программы” ВСХСОНа в советской России” (Ibid., p.198). Поскольку это было опубликовано в 1976 г., то, как видим, „уверенное предсказание” Дэнлопа не осуществилось.

21 Ibid.

22 Ibid., pp.197-198.

тарное рабство вместо свобод, которые они ей обещали? К сожалению, мистер Дэнлоп ничего по этому решающе важному вопросу не сообщает.

„РУССКИЙ ПУТЬ”

Программа ВСХСОНа разбита на две части: критическую и позитивную. Критическая часть, составляющая основную массу документа (30 страниц из 48-ми), особенно интереса не представляет, ибо в главных чертах лишь пересказывает книгу М.Джиласа „Новый класс”. А вот в связи с позитивной ее частью возникает фундаментальный вопрос: *во имя чего* должна быть свергнута в СССР „коммунистическая олигархия”?

Как явствует из программы – во имя спасения человечества от коммунизма и от капитализма, *являющегося его непосредственным источником*: „Будучи болезненным детищем материалистического капитализма, коммунизм развил и завершил все вредные тенденции, которые имелись в буржуазной экономике, политике и идеологии... Составные части марксистско-ленинского учения заимствованы из западных буржуазных теорий... Коммунизм довел до предела начатую капитализмом пролетаризацию масс”.²³ Одним словом, перефразируя классическое выражение Ленина, коммунизм есть высшая стадия капитализма.

Сейчас, однако, нас интересует не столько это знаменательное сходство с большевистской догмой, сколько то, что в основе русского зла, конечно же, оказывается западное буржуазное начало. Эта фундаментальная черта программы ВСХСОНа обуславливает все ее дальнейшее развитие. Не только экономическая структура капитализма, его „базис”, употребляя марксистский жаргон, оказывается для ВСХСОНа неприемлема, но и его „надстройка”: „Социал-христианская государственная доктрина рассматривает как *безусловное зло* такую организа-

²³ Всероссийский Социально-Христианский Союз освобождения народа, с.32, 35-36.

цию власти, при которой она является призом для соперничающих партий или монополизирована одной партией. Вообще партийная организация власти неприемлема с точки зрения социал-христианства”.²⁴ Почему же многопартийная система, которая при всех ее прегрешениях все-таки является пока что единственной известной человечеству гарантией свободы личности, почему она „безусловное зло”? Очевидно, потому что *все* порождения западного капитализма имманентно содержат в себе опасность коммунизма. Именно поэтому „новые русские революционеры” чувствуют себя призванными повести человечество по принципиально иному — русскому пути. И русская сущность этого пути заключается в том, что, вопреки утверждениям западных теоретиков, центр тяжести мирового противостояния сил лежит вовсе не в сфере борьбы авторитаризма и демократии, но в сфере борьбы сил метафизических: Бога и Сатаны. „Причина... опасного напряжения в мире лежит гораздо глубже экономической и политической сфер... идет духовная борьба за личность. Перед человечеством два пути: свободное обращение к Богу... или отказ от Бога, и тогда сатанократия”.²⁵

Здесь — ядро мирозерцания „русской идеи” на протяжении полутора столетий. И в этом самом глубоком своем мировоззренческом смысле ВСХСОН оказывается в русле „русской идеи”, а вовсе не диссидентского демократического движения, борющегося за гражданские права и экономические реформы. По сути ВСХСОН был противоположен этому движению, для которого духовное возрождение есть производное от борьбы в „экономической и политической сфере”. Демократическое движение борется не с духами, а с вполне реальным

24 Там же, с.63. (Курсив мой, — А.Я.).

25 Там же, с.32, 61. Правда, в Программе содержится утверждение, что „эволюционным путем некоммунистический мир выходит из кризиса” (с.33), но оно находится в столь вопиющем и непримиренном противоречии со всем остальным ее содержанием, что выглядит абсолютно чуждым элементом. В самом деле, каким образом капитализм, оставаясь капитализмом, т.е. „отказываясь от Бога”, и не принимая программного требования ВСХСОНа о „духовной борьбе за личность”, может обеспечить миру — вместо логически следующей из него „сатанократии” — духовное возрождение?

авторитаризмом, именовавшим себя „реальным социализмом”. Поэтому, в отличие от ВСХСОНа, не „русский путь” противопоставляло оно советской системе, а права человека и гражданские свободы.

КОРПОРАТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО

Философские предпосылки программы ВСХСОНа неизбежно должны были вести ее „направо и в области социально-политического проектирования. Так, предлагая заменить „партийную организацию власти” „представительством корпораций”, патеры программы, конечно, всего лишь пересказывают центральную идею книги своего учителя Николая Бердяева „Новое средневековье”. Если Джилас вдохновил критическую часть их программы, Бердяев вдохновил позитивную.²⁶ Это он еще в 1923 г. противопоставил западным парламентам „с их фиктивной вампирической жизнью наростов на народном теле, неспособным уже выполнять никакой органической функции”, этим „выродившимся говорильням”, „представительством реальных корпораций, которые будут бороться не за политическую власть, а решать, например, вопросы сельского хозяйства, народного образования и т.п. по существу, а не для политики”.²⁷

Дело несколько осложняется лишь тем, что жестокое презрение Бердяева к западным парламентам содержало сильнейший привкус спекуляций Муссолини о корпоративном государстве. „Никто более не верит ни в какие юридические и политические формы, никто ни в грош не ставит никаких конституций... мы, особенно Россия, идем к своеобразному типу, который можно назвать „советской монархией”, синдикалистской монархией... власть будет сильной, часто диктатор-

26 Н.Бердяев. Новое средневековье. Берлин, изд-во „Обелиск”, 1924.

27 Там же, с.50-51.

ской. Народная стихия наделит избранных личностей священными атрибутами власти... в них будут преобладать черты цезаризма".²⁸ Право, если бы Бердяев даже не ссылался на Муссолини, все равно было бы очевидно, кто его вдохновитель. Но ведь он ссылается: „Фашизм — единственное творческое явление в политической жизни современной Европы”.²⁹ И словно бы этого еще недостаточно, он продолжает: „Значение будут иметь лишь люди типа Муссолини, единственного, быть может, творческого государственного деятеля Европы”.³⁰

Допустим, проектируя будущую Россию, „новые русские революционеры” могли не понимать, что они, если не прямо повторяют фашистскую риторику Муссолини (хотя ссылки на нее, как мы видели, даны открытым текстом в самом их учебнике), то, по крайней мере, зловещую бердяевскую их интерпретацию. Но уж Дэнлоп-то должен был знать, какую роковую роль в формировании оппозиционного сознания ВСХСОНа сыграла именно эта, самая неудачная и самая реакционная книга Бердяева. Судя по всему, он превосходно это знает: „Новое средневековье”, — пишет Дэнлоп, — стимулирующая работа, которая загадочным образом никогда не была переведена на английский... содержит бердяевскую программу возрождения России из-под большевистского ига... часть бердяевских идей была включена в позитивную секцию программы ВСХСОНа”.³¹ Должен признаться, что из всех комментариев Дэнлопа именно этот вызывает наибольшее недоумение.

Во-первых, следует ли из этого, что не только „новые русские революционеры”, но и сам Дэнлоп серьезно рассматривает фашизм как „программу возрождения России из-под большевистского ига”?

28 Там же, с.27, 53.

29 Там же, с.28.

30 Там же, с.78.

31 J.Dunlop. The New Russian..., p.62.

Во-вторых, мог ли не заметить Дэнлоп, что в своей „стимулирующей” книге Бердяев прямо заявляет нечто, полностью перечеркивающее все либеральные обещания гражданских прав, содержащиеся в программе ВСХСОНа? „Я утверждаю, — говорит Бердяев, — русский народ... *не хочет правового государства* в европейском смысле этого слова, [Россия] скорее родит Антихриста, чем гуманистическую демократию”.³² Хорошо это или плохо, но человечеству не известен никакой другой смысл словосочетания „правовое государство”, кроме европейского. И если категорическое отрицание правового государства есть, по мнению Дэнлопа, лишь „авторитаризм” (в кавычках), то что же тогда фашизм?

Наконец, в-третьих, поскольку „Новое средневековье” было опубликовано по-английски (причем трижды!),³³ то непонятно лишь, почему Дэнлоп „загадочным образом” этот факт отрицает.

Как бы то ни было, то обстоятельство, что „новые русские революционеры” предпочли в своей программе „безусловному злу” западной демократии принципы фашистского корпоративного государства, представляет проектируемую ими революцию в несколько неожиданном свете.

Допустим, что спасти русских от угрожающей им „сатанократии” действительно может только православная корпоративная теократия, которой намерен был облагодетельствовать их ВСХСОН. Но ведь русские составляют лишь половину населения СССР. И среди десятков наций, входящих в состав империи есть и неправославные, даже не христиане. Никаким референдумом никогда не было установлено, что какие-либо из этих наций питают особую склонность к пра-

32 Н.Бердяев. Новое средневековье, с.85, 20, 21.

33 N.Berdiaev. The End of our Time — Sheed and Ward (Aug. and Nov., 1933; Feb. 1935).

вославленной теократии. Какая судьба ожидает их в обществе, построенном по проекту ВСХСОНа, которое так нравится Дэнлопу? Увы, программа вообще не дает никакого ответа на этот вопрос. В ней не содержится даже формального обещания, что нерусским нациям империи будет предоставлено право, если они пожелают, не следовать по „русскому пути”. Пункт 73 указывает лишь, что ВСХСОН „сознает себя патриотической организацией самоотверженных представителей всех национальностей Великой России”.³⁴

В каких, однако, границах мыслится „Великая Россия”? В границах нынешней советской империи? Но что будет, если мусульмане, католики, протестанты, иудаисты, буддисты, живущие на ее территории, не пожелают признать православие все-спасающей идеологией, а теократию обязательной формой политической организации? В пункте 83 сказано: „Странам, в которых временно находятся советские войска, может быть оказана помощь в национальном самоопределении на основе социал-христианства”.³⁵ Но что будет, если эти страны пожелают самоопределиваться на какой-нибудь другой основе?

Поскольку программа не дает ответа на все эти вопросы, приходится искать другие свидетельства, способные пролить хоть косвенный свет на то, о чем она умалчивает. В частности, на отношение некоторых руководителей „патриотической организации” к некоторым национальным меньшинствам. В воспоминаниях попутчика ВСХСОНа Б.Караватского есть пассаж, посвященный взглядам „начальника личного состава” Михаила Садо: „Мне трудно примириться с тем, что в разговорах этого человека проскальзывали антисемитские нотки. Вероятно, этот глубоко укоренившийся недостаток этой необычайно интересной личности впитан им с молоком матери”.³⁶

Другое свидетельство находим в воспоминаниях А.Петрова-Агатова, человека весьма противоречивого, большую

34 Всероссийский Социально-Христианский Союз освобождения народа, с.61.

35 Там же, с.73.

36 Там же, с.208.

часть своей сознательной жизни проведенного в советских лагерях. Там и встретился он с членами ВСХСОНа, которых, так же как Караватский, считает „солью русской нации” и „цветом русской молодежи”. Но прежде, чем рассказать о его беседе с „директором идеологического отдела” ВСХСОНа Евгением Вагиным, я хотел бы привести цитату из воспоминаний Петрова-Агатова, рисующую атмосферу лагеря.

„Еврейский вопрос стоял остро... Познакомившись с сионистом Соломоном Борисовичем Дольником... я как-то предложил Андрею Донатовичу [Синявскому] зайти к нему в гости. „Я не против, Соломон Борисович – милый человек. Но я вас прошу иметь в виду, что здесь к евреям относятся особенно нетерпимо”. В лагере даже ходил слух, что Андрей Донатович – еврей. Впрочем, евреям считали не только Синявского. Увидев мои добрые отношения с Дольником, тоже стали говорить: „Жид! Какой он Петров? Какой-нибудь Фраерман или Зильберштейн. Все, сволочи, русские фамилии приобрели!” Ненависть к коммунистам тоже отождествляется с евреями. Ленин, Хрущев, Брежнев, Косыгин – все это жида – слышалось то там, то тут”.³⁷

Ситуация, согласитесь, крайне своеобразная, в которой даже ненависть к режиму находит себе основание в глубокой, инстинктивной, чтоб не сказать звериной, национальной ненависти. В то время как члены ВСХСОНа видят корни коммунизма в „материалистическом капитализме”, масса заключенных видит их, оказывается, в „еврейском засилье”, в „жидах”.

Какой позиции было бы логично ожидать от руководителей „патриотической организации”, претендовавшей на представительство „всех национальностей Великой России”, в этой отравленной атмосфере? По-видимому, самое меньшее, что могли бы они сделать, это хотя бы отмежеваться от площадного антисемитизма. Ведь они хотели стать руководителями государства. Здесь, в лагере, они столкнулись со своего рода мик-

³⁷ А.Петров-Агатов. Эмигрантские встречи. – „Грани”, № 83, 1972, с.65.

рокосмом общества, которое намеревались вести по „русскому пути”. И если даже здесь ненависть к коммунизму так тесно переплелась с черносоотенным, погромным шовинизмом, они легко могли себе представить, каковы были бы потенции анти-семитского взрыва при попытке насильственно ввести теократическое православное государство. Поэтому их реакции здесь особенно интересны.

Судя по свидетельствам, которые были в моем распоряжении, они не только не встали на защиту „униженных и оскорбленных”, что было лишь долгом христианина, не только не отмежевались от их гонителей, — нет, „директор идеологического отдела” Вагин сам убеждал Петрова-Агатова, что „все несчастье России от евреев”.³⁸

Аналогичный, только еще более зловещий эпизод рассказал мне Андрей Синявский, тоже отбывавший свой каторжный срок вместе с членами ВСХСОНа и „близкими им по духу”. Как-то он задал одному из них вопрос: „Что стали бы вы делать с евреями, если бы победили?” Ответ был однозначен: выстали бы в Израиль. „Ну а с теми, кто не пожелал бы ехать?” Ответ снова был однозначен: истребили бы. „Как? Вместе с детьми?” — ахнул Синявский. „Ну, Андрей Донатович, кто же, истребляя крыс, думает о крысенятах?”

**„РЕЗКОЕ УЛУЧШЕНИЕ
ПО СРАВНЕНИЮ С
СОВЕТСКОЙ
СИСТЕМОЙ”?**

Программа ВСХСОНа — в числе других либеральных обещаний — декларирует: „Средства информации... не должны находиться в монополии государства. Цензура должна быть отменена”,³⁹ И далее: „Все известные религии должны пользоваться правом беспрепятственной проповеди и отправления культа”.⁴⁰ Культурное и

38 Там же, с.64.

39 Всероссийский Социально-Христианский Союз освобождения народа, с.71.

40 Там же, с.73.

религиозное разномыслие, таким образом, обещано в программе. А что же сказано по поводу разномыслия политического? В самом деле, что стало бы делать правительство ВСХСОНа с такими людьми, как, допустим, Синявский или я? Что стало бы оно делать с традиционно „инакомыслящей” и, увы, столь же традиционно „западнической” русской интеллигенцией? Понятно, что этот вопрос не менее болезнен для конструкторов „Великой России”, нежели национальный. По сути, это проблема положения интеллектуальной элиты в общественной системе. И следовательно, речь идет о генерации новых идей и исправлении ошибок государства, короче говоря, о политической оппозиции, без которой нормальное развитие общества, как свидетельствует история, немислимо. Нет, авторы программы еще не называют эту интеллектуальную элиту ни „просвещенным мещанством”, ни „образованщиной”, ни „люмпенством”, ни „дивилизованными дикарями”, как станут делать их преемники. Они лишь обещают „не относиться враждебно к близким по духу, но имеющим своеобразие программам, считая, что окончательный выбор должен совершиться после свержения коммунистической диктатуры”.⁴¹ Только к близким по духу!

Но ведь мы, по-видимому, не оказались бы близкими ВСХСОНу по духу, а вместе с нами могли не оказаться „близкими” еще тысячи и тысячи, если не миллионы людей. Что стало бы делать новое „народно-революционное” правительство в этом совсем не невероятном случае? Извинилось бы за беспокойство и разошлось по домам? Не было бы для него более естественно, однако, посадить некоторых „далеких по духу” в те же лагеря или выстать их за границу, как делают в таких случаях все военные правительства?

Не забудем, что „права человека и гражданина”, обещанные в программе, вовсе не предполагалось вводить тотчас после победы ВСХСОНа. В пункте 74 сказано, что „государственная власть после свержения коммунистической диктатуры должна перейти к временному народно-революционному правительству, которое немедленно проведет в жизнь все назрев-

41 Там же, с.61.

шие радикальные реформы". И лишь после этого „должен вступить в силу нормальный государственный порядок". Вот я и интересуюсь, что случилось бы с нами в этом роковом промежутке, в период диктатуры „народно-революционного правительства"?

Некоторый, хотя и косвенный ответ на этот вопрос можно почерпнуть из беседы на радио „Свобода" Кирилла Хенкина и Евгения Вагина, в которой Вагин объяснил свое политическое кредо. Хенкин привел цитату из Достоевского и спросил Вагина, разделяет ли он точку зрения писателя. Вот ответ Вагина: „В отношении той цитаты, которую вы привели, а именно: может ли русский быть атеистом и насколько русская сущность с этим совместима, — да, я исповедую веру Достоевского, что русский — это православный, что религия является, конечно, глубинной сущностью русского человека".⁴²

Достоевскому, скажем прямо, было легче. Он не писал проектов государственного устройства будущей России и не намеревался стать одним из ее политических лидеров. Но Вагин-то намеревался. И поэтому нас должен интересовать политический смысл его определения „глубинной сущности русского человека". И для меня, в отличие от Дэнлопа, это вовсе не академический интерес, это вопрос судьбы.

Что стало бы делать вагиновское правительство со мною и близкими мне по духу, не православными, а следовательно, не русскими (имеется в виду не этническая, а гражданская сторона дела) и вдобавок еще политически инакомыслящими? Не естественно ли было бы для него, в лучшем случае, изгнать меня за границу? Но ведь я уже и без того за границей!

Сознаюсь, что я лишь слегка изменил эпизод, рассказанный мне тем же Синявским. На замечание, что он будет протестовать против политики геноцида, Синявский услышал от „близкого по духу" к ВСХСОНу солагерника: „А мы вас посадим, Андрей Донатович". Учитывая, что Синявский уже си-

42 Цит. по стенограмме передачи на радиостанции „Свобода": К.Хенкин, Е.Вагин. Беседы о Достоевском.

дел в лагере, в чем оставалось бы ему искать то „резкое улучшение по сравнению с советской системой”, которое обещает ему мистер Дэнлоп?

УТОПИЯ ЛИБЕРАЛЬНОГО НАЦИОНАЛИЗМА

Я надеюсь, читатель имел достаточно оснований убедиться, что идеология ВСХСОНа была пронизана антиевропеизмом, средневековыми мечтами о теократии и фашистскими принципами корпоративного государства. В этом смысле я и утверждаю, что ВСХСОН был началом и составной частью диссидентской „новой правой”. Как объяснить в таком случае либеральные обещания его программы? Как объяснить ее декларации об отмене цензуры и свободе религиозной проповеди, о том, что „судьи должны быть несменяемы и ответственны только перед законом”,⁴³ что „культурная политика социал-христианства исходит из признания, что живая культура... может процветать только в условиях свободы”⁴⁴ Одним словом, как объяснить все то, что заставило Дэнлопа поверить в „новых русских революционеров”⁴⁵ Неужели все это лицемерие и политическая демагогия? А если нет, то как иначе понять совмещение в одной идейной концепции свободы и теократии, либерализма и антиевропеизма, современных терминов и средневековых идей?

43 Всероссийский Социально-Христианский Союз освобождения народа, с.73.

44 Там же, с.65-66.

45 „Хотя это общество несомненно не понравилось бы некоторым западным либертариям... [но], если бы программа осуществилась, Россия вздохнула бы свободно. Каждый гражданин мог бы избрать себе профессию, писать и публиковать что хочет, свободно путешествовать по стране и за ее пределами. Он смог бы беспрепятственно принимать участие в государственной службе, в митингах и демонстрациях и создавать союзы, ассоциации и общества. В своей семейной жизни... он мог бы не бояться длинных рук государства” (J.Dunlop. The New Russian..., p.197-198).

Те же вопросы можно задать и по поводу доктрины классической „русской идеи“, которая еще сто тридцать лет тому назад тоже совмещала искреннюю и самоотверженную борьбу против „душевредного деспотизма“ с не менее искренним обращением к „западным конституциям“ и „партийной организации власти“. Мое убеждение состоит в том, что объяснить необъяснимое и примирить непримиримое можно. Но только в рамках *утопии*, т.е. идеологической конструкции, которая реально не осуществима. Вот почему наш спор с Дэнлопом вовсе не о том, что было бы, если бы программа ВСХСОНа осуществилась (ибо осуществиться в том виде, как она была задумана, она не могла), но о том, какова была реальная общественная *функция* этой националистической утопии в идейной борьбе в современном СССР. Функция эта была очевидно двойка. С одной стороны, программа ВСХСОНа была искренне задумана как антикоммунистический манифест, как страстный призыв к „возрождению России из-под большевистского ига“. ВСХСОН был открытым и непримиримым противником советской системы. В этом смысле он должен был стимулировать оппозиционное диссидентское движение в СССР. Но с другой стороны, пронизанная антиевропеизмом и средневековым программой объективно должна была стимулировать именно „правую“ оппозицию, ту самую, которой посвящена эта книга.

Пять политических событий обусловили возникновение этой утопии:

1) разоблачение Хрущевым на XX съезде тоталитарной природы сталинского режима;

2) поражение хрущевской реформы, приведшее к мысли, что „возрождение сверху“ невозможно;

3) уроки венгерского восстания 1956 г., которое как будто бы продемонстрировало, что коммунистическая система есть форма латентной гражданской войны между правительством и народом (из чего вытекало, что коммунистические правительства „висят в воздухе“ и достаточно легкого „революционного“ толчка, чтобы их сбросить);

4) книга Милована Джиласа „Новый класс“, которая подводила теоретическую базу под практические уроки венгерского восстания;

5) хрущевская либерализация, создавшая условия, при которых молодежь впервые познакомилась с книгами Бердяева, в том числе с „Новым средневековьем”, так же, как и со всей традицией классической „русской идеи”, противопоставившей западному пути борьбы с „душевредным деспотизмом” принципиально другой „русский путь”.

На самом деле, как продемонстрировала история, никакого „русского пути” не существует. Но кучка молодых людей, собравшаяся вокруг знамени ВСХСОНа, искренне в него верила. И поэтому были они не „новыми русскими революционерами”, как рекомендует их Дэнлоп, но лишь знаменем возрождения либерального имперского национализма в XX в., если угодно, „новыми славянофилами”.

ИДЕЙНЫЕ ИТОГИ ВСХСОНа

Нам осталось лишь суммировать идейное наследство этого первого всплеска „нового славянофильства”. Конечно, оно дало новые имена старым врагам „русской идеи”. То, что Аксаковы называли „душевредным деспотизмом”, оно в соответствии со стандартным словарем XX в. переименует в „тоталитаризм”. То, что они называли „парламентаризмом”, оно назовет „партийной организацией власти”. То, что для них было „Европой”, станет в словаре ВСХСОНа „капитализмом”, а то, что было „революцией” окажется „коммунизмом”. Но под новыми именами фигурируют в доктрине ВСХСОНа все те же старые „дьяволы”.

1. При всех естественных различиях между помещиками-националистами прошлого века и студентами-революционерами нынешнего, ВСХСОН, подобно старым славянофилам, оказался с самого начала зажатым в тисках двойного отрицания.

2. Подобно своим духовным прародителям, ВСХСОН противопоставил двуединому злу капитализма и коммунизма „русский путь” спасения человечества от грозящей ему катастрофы.

3. Как и славянофилы прошлого века, ВСХСОН исходил из того, что возможно создание идеального государственного устройства, не требующего ни политической борьбы, ни политических гарантий, ни политической оппозиции.

4. Подобно им, ВСХСОН перенес задачу „действительного освобождения” из сферы борьбы за культурные и институциональные ограничения власти в сферу борьбы абсолютного Добра с абсолютным Злом.

5. Как и старое славянофильство, ВСХСОН отказался от ревизии имперской структуры „Великой России”, что было равносильно признанию в имперском национализме.

6. Подобно ему, ВСХСОН допускал толерантность только к „близким по духу” идеологическим программам, что было равносильно признанию в политической нетерпимости.

7. Нет сомнения, что доктрина ВСХСОНа, так же как и доктрина старого славянофильства, была утопической идейной конструкцией. История показала, однако, что в контексте русской политики утопия либерального имперского национализма чревата серьезными практическими последствиями. Ибо на смену либеральным утопистам приходят прагматические идеологи и политики, которые, оперируя тем же исходным набором идей и приспособливая его к меняющейся реальности, преобразуют благородную утопию в идеологию фашизма. Читатель еще увидит, как наших „новых славянофилов” сменяют под знаменами „русской идеи” современные Данилевские, Леонтьевы и Шарповы.

„МОЛОДОГВАРДЕЙСТВО” — НАЧАЛО „ИСТЕБЛИШМЕНТАРНОЙ ПРАВОЙ”

Дэнлоп, может быть, и прав, когда пишет: „Дебаты в среде современного славянофильства... могут быть решающими для определения будущей формы русского общества и государства”. Прав он, вероятно, и когда говорит: „ВСХСОН встретился с „Вече”. Их встреча несет в себе неожиданные плоды”.¹ Мне бы только хотелось добавить, что не стоит, наверное, упускать из виду, что споры вокруг современного славянофильства происходили отнюдь не только в подпольном самиздате, но и в легальной печати — в журналах и газетах с миллионными тиражами. Споры эти были по временам не менее бурными, чем в самиздате. И влияние их на мыслящую молодежь могло быть поэтому никак не меньше, чем влияние ВСХСОНа или „Вече”.

Дело еще и в том, что, *прежде* чем ВСХСОН встретился с „Вече”, он встретился с феноменом „молодогвардейства”. Встреча эта несла в себе еще более неожиданные плоды. Во всяком случае, историк русского национализма не может их игнорировать.

Первые — и наиболее значительные — выступления журнала „Молодая гвардия”, знаменовавшие начало „истеблешментарной правой”, произошли как раз во время суда над членами ВСХСОНа. Я имею в виду статью Михаила Лобанова „Просвещенное мешанство” (апрель 1968 г.), за которой последовала в сентябре статья Виктора Чалмаева „Неизбежность”.

¹ J. Dunlop. The New Russian Revolutionaries. Nordland Press, 1976, p. 221.

„ПРОСВЕЩЕННОЕ МЕЩАНСТВО”

Сказать, что появление статьи Лобанова в легальной прессе, да еще во влиятельной и популярной „Молодой гвардии”, было явлением удивительным, значит, сказать очень мало. Оно было явлением потрясающим. Злость, яд и гнев, которые советская пресса обычно изливает на „империализм” или подобные ему „внешние” сюжеты, на этот раз были направлены, так сказать, вовнутрь. Лобанов неожиданно обнаружил червоточину в самом сердце первого в мире социалистического государства, причем в разгар его триумфального перехода к коммунизму. Обнаружил в нем язву, ничуть не менее страшную, чем империализм. В действительности — куда более страшную. Язва эта состоит, оказывается, в „духовном вырождении „образованного” человека, в гниении в нем всего человеческого”.² И речь идет вовсе не о явлении психологическом, частном, но о явлении массовом, социальном, о „зараженной мещанством... сплошь дипломированной массе”,³ о „разливе так называемой образованности”,⁴ которая „как короед... подтачивает здоровый ствол нации”,⁴ которая „визгливо-активна в отрицании” и представляет собою поэтому „разлагающую угрозу”⁵ самим основам национальной культуры.

Короче говоря, непредусмотренный классиками марксизма, не замеченный идеологами режима в социалистической стране уже сложился социальный слой „образованного мещанства”, представляющий собой врага № 1. Таково фундаментальное социологическое открытие Лобанова.

И он клеймит врага нации со всей доступной официально публицисту страстью. Истинная культура, по Лобанову, не от образования, а от „национальных истоков”, от „народной почвы”. Это не образованное мещанство, а „задавленный...

2 М. Лобанов. Просвещенное мещанство. — „Молодая гвардия”, 1968, № 4, с. 297.

3 Там же, с. 299.

4 Там же, с. 303.

5 Там же, с. 296.

необразованный народ порождает... непреходящие ценности культуры".⁶ Что касается мещанства, то у него „мини-язык, мини-мысль, мини-чувства – все мини“. „И, – добавляет Лобанов торжественно, – Родина для них „мини“".⁷

Разумеется, в лучших традициях сервильной публицистики Лобанов иллюстрирует свою мысль доносами. На живых и на мертвых. На расстрелянного Сталиным режиссера Мейерхольда. И на современного нерепрессированного режиссера Эфроса (по какой-то причине все иллюстрации Лобанова, все „разлагатели национального духа“ носят недвусмысленные еврейские фамилии). Именно эти еврейские элементы, которые „примазываются к истории великого народа“,⁸ играют роль своего рода фермента в „зараженной мещанством, дипломированной массе“.

Пытаясь анализировать „открытие“ Лобанова, нельзя, конечно, упускать из виду, что дело происходило в разгар Пражской весны, которая истолковывалась на верхах как результат захвата ключевых позиций в массовых коммуникациях Чехословакии еврейскими интеллигентами. Нельзя забывать также, что еще не утихла тогда „подписантская“ кампания в СССР, в ходе которой сотни московских интеллигентов (в значительной части евреев) ставили свои имена под протестами против ресталинизации, против процессов над Синявским и Даниэлем и над Гинзбургом. С этой точки зрения, неожиданное социологическое озарение Лобанова как будто бы объяснимо. Режим внезапно увидел для себя острую угрозу в образованных слоях населения. И публицист режима формулирует эту угрозу, пытаясь обеспечить своим боссам поддержку молодежи.

Но вот что бросается в глаза: сама защита режима выглядит у Лобанова необычайно странно. Он не апеллирует к Марксу или к „пролетарскому интернационализму“. Наоборот, апеллирует он исключительно к „национальному духу“ и к „русской почве“. Вот почему выглядит статья Лобанова не клиши-

6 Там же, с.299.

7 Там же, с.296.

8 Там же.

рованным отпором марксистского начетчика, а криком боли русского человека, до смерти перепуганного тем, что происходит в его стране, с его нацией. Более того, в ней содержится даже косвенное обвинение режиму, который не только допустил формирование в стране такого зловещего социального феномена, как „просвещенное мещанство”, но и довел дело до столь опасной точки, когда, как в отчаянии восклицает Лобанов, „мини” торжествует”!⁹ На злоповском языке, которым пользуется Лобанов, это означает, что боссы ослепли. Они не видят, что „мини” существует у нас не само по себе, но лишь как своего рода лобби „буржуазного духа”, завоевавшего Европу и теперь идущего на штурм России. И вот тут начинается самое интересное: когда Лобанову приходится отвечать на вопрос, в чем сила и привлекательность буржуазного „мини” для молодежи, он отвечает откровенно. „Нет более лютого врага для народа, чем *искус буржуазного благополучия*”.¹⁰ И затем восклицает (ссылаясь на Герцена): „Буржуазная Россия? Да минует Россию это проклятие!”¹¹ „Американизм духа” – вот что завоевывает Россию. И не только при помощи соблазнительного „мини” с изысканными манерами и нерусскими фамилиями, но и при помощи „искуса буржуазного благополучия” (читай, установки на „материальное поощрение трудящихся”, т.е. фундаментального положения постсталинской пропаганды).

Иначе говоря, советские вожди своей ориентацией на „материальное благополучие”, своим обещанием коммунизма как физической и духовной „сытости” сами поощряют завоевание России буржуазным духом. Они флиртуют с Америкой. Они думают, что межконтинентальные ракеты защитят их от смертельной угрозы, исходящей из этой страны. Не защитят, – внушает им Лобанов. Ибо действительная угроза не в американских ракетах, а в *буржуазности* „американского духа”. И суть этой буржуазности вовсе не в „эксплуатации человека

9 Там же.

10 Там же, с.304. (Курсив мой, – А.Я.)

11 Там же.

человеком”, а в сытости. В этом — второе „открытие” Лобанова. „Духовная сытость — вот психологическая основа буржуа”.¹² Но это — психологическая. А социальная основа буржуазности, разумеется, — сытость материальная, „бытие в пределах желудочных радостей”.¹³ Против этих „желудочных радостей”, против „брюха” Лобанова произносит, ссылаясь на Гюго и на Гоголя, страстные филиппики, посвящая им чуть ли не целую журнальную страницу.¹⁴

Но если действительная угроза не в ракетах, а в „сытости”, тогда закономерным выглядит третье — и важнейшее — „открытие” Лобанова: *американизации* духа в силах противостоять только *русификация* духа.

Здесь начинается, так сказать, „позитивная секция” программы Лобанова. И здесь происходит его неизбежная встреча с программой ВСХСОНа. Точно так же, как ВСХСОН, исходит он из того, что „причина... опасного напряжения в мире лежит гораздо глубже экономической и политической сфер”, т.е. в „духовной борьбе за личность”. Иными словами, Лобанов тоже переносит центр мировой драмы из сферы борьбы социализма и капитализма в метафизическую сферу противостояния „духов”. И точно так же предсказывает он, что в грядущем смертельном конфликте „рано или поздно столкнутся между собой эти две непримиримые силы”, названные им „нравственная самобытность и американизм духа”.¹⁵ (Впрочем, „американизм духа” вполне соответствует „сатанократии” ВСХСОНа). Интересно не то, что лобановская „нравственная самобытность” вовсе не похожа на „теократию” (в отличие от ВСХСОНа

12 Там же.

13 Там же, с.305.

14 Если мой анализ структуры советского истеблишмента в монографии „Детант после Брежнева” (Institute of International Studies, Berkeley, 1977) хоть отчасти верен, если внутри этого истеблишмента действительно есть мощные группы аристократизирующейся элиты, рассматривающие свои „желудочные радости” (преимущественно западного происхождения) как высшую жизненную ценность, то филиппики Лобанова должны, по-видимому, отражать еще и реакцию их пуританско-сталинистских оппонентов.

15 М.Лобанов. Просвещенное мещанство, с.304.

Лобанов верит в потенции советского режима), а то, что единственную альтернативу гибели мира он усматривает, так же как ВСХСОН, в „русском пути”.

Разумеется, положение обязывает (цензура тоже). Лобановские позитивные рекомендации не идут дальше предложения режиму искать социальную опору, референтную группу что ли, не в „образованном мещанстве”, а в *простом русском человеке*, в мужике, не испорченном ни сытостью, ни образованием, самобытным и в силу своей самобытности не поддающемся соблазнам мирового Зла. „Такие люди, — с болью и назиданием заканчивает свою статью Лобанов, — спасали Россию. И не в них ли — воплощение исторического и морального потенциала народа? И не здесь ли наша вера и надежда?”¹⁶

Таким образом, можно констатировать, что „позитивная секция” программы Лобанова, если расшифровать его иносказательную риторику и истерическую декламацию, сводится к двум главным положениям.

1. Русифицировать социальную ориентацию режима. (Опора на образованные слои, на дипломированную массу олицетворяет гибельный западный путь, ведущий к обуржуазиванию России. Отсюда логически следовало, что ориентация режима на расширение сети высшего образования противоречит „русскому духу” и ведет лишь к углублению кризиса.)¹⁷

2. Русифицировать официальную стратегию режима. (Не благосостояние, ведущее неизбежно к „американизации духа”, а духовная русификация обещает спасение России.)¹⁸

16 Там же, с.306.

17 Как ни странно, похоже, что режим политической стагнации, господствовавший в стране на протяжении последних двух десятилетий, действительно внял совету молодогвардейцев. Если в начале 1960-х, при режиме реформы, 57% выпускников средних школ имели возможность поступить в высшие учебные заведения, то уже десятилетие спустя возможность эту сохранили только 22% (см.; M.Yanowitch. *Schooling and Inequalities*. — in L.Schapiro & J.Godson, ed. *The Soviet Worker: Illusions and Realities*, Macmillan, 1981).

18 Этот совет режим стагнации принять не мог, не отказавшись от самого себя. Только режим русской диктатуры — в ситуации контрреформы — мог бы осуществить вторую рекомендацию Лобанова: еще одно доказательство, что „русская новая правая” ориентирована на контрреформу.

„НЕИЗБЕЖНОСТЬ”

Лобанов говорил все больше о национальном духе и его разлагателях. Но объективные выводы, которые следовали из его статьи, были тем не менее настолько откровенно социально-политическими, что ошеломленное общество буквально оцепенело. Выводы эти до такой степени противоречили всем основным установкам режима и интересам значительной части истеблишмента, что практически дискуссия по ним в легальной печати была невозможна. Даже на кухнях говорили об этой статье в основном шепотом. Это оцепенелое молчание воодушевило „Молодую гвардию” на новый подвиг. И если статья В.Чалмаева была встречена бурей возмущенных голосов, то не потому, что она была менее дерзкой, а потому, что казалась менее актуальной. Потому что спор о ней можно было изобразить как спор об истории, а не об изменении социальной и политической стратегии существующего режима. На самом деле Чалмаев создавал историческое обоснование для лобановской концепции русификации духа. Его задача была убедить молодежь в исторической неизбежности глобальной схватки наступающей „американизации” с единственной в мире силой, способной ей противостоять – с Россией.

Тональность статьи Чалмаева – та же, лобановская. Только его видение грядущей схватки еще апокалипсичней. Он тоже рассказывает жуткие истории „о гибели многих чудес человеческой цивилизации в буржуазном мире”. Он тоже, призвав на помощь И.Бунина, объявляет, что „Америка есть первая страна... которая, будучи просвещенной, живет без идей”.¹⁹ И тоже проклинает „вульгарную сытость” и „материальное благоденствие”.²⁰ Но когда Чалмаев с восторгом заговорил о вожде русского национализма семнадцатого века протопопе Аввакуме как о „русском глашатае Христова, не униженного никем слова”;²¹ когда он заговорил о „текучести русского народно-

19 В.Чалмаев. Неизбежность. – „Молодая гвардия”, 1968, № 9, с.271.

20 Там же, с.270.

21 Там же, с.266.

го духа, опережающего нередко в своем развитии внешние формы бытия народного”²² и, словно бы этого еще недостаточно, добавил, что „официальная власть”, „каноны государства” „никак не исчерпывают России”²³ – это, согласитесь, должно было переполнить чашу терпения официальной власти. Ибо неясно было, не утек ли уже „текущий русский дух” из тех „внешних форм”, из которых утекать ему в данный момент не рекомендовалось. Не „опередил ли он в своем развитии” и сегодняшнюю „официальную власть” с ее „канонами”.

Чалмаев был атакован – и жестоко. „Каноны государства”, представленные могущественной кликой марксистских жрецов, дали понять „народному духу” (в лице Чалмаева), что они пока еще крепко сидят в своих креслах и никакому „слову Христову”, пусть даже русскому, кресел этих уступать не намерены. И это было как бы официальным объявлением войны между каноническим марксизмом и „истеблишментарной правдой”, войны не на жизнь, а на смерть. Финал этой войны и сейчас далеко не ясен. (Здесь я расскажу лишь о некоторых уже отгремевших битвах.)

В самом деле, задача Чалмаева противоречила всем марксистским канонам. Русская история была для него по сути историей развития и созревания „национального духа”, подготовкой его для последнего решительного боя с „американизмом”, для нового, только более грандиозного Сталинграда, где „русскому духу” предстоит окончательная победа над дьяволом буржуазности.

Поэтому для Чалмаева не существует пропасти между Россией советской и царской. Для него не революции и не реформы – вехи истории, а битвы, в которых мужал и зрел русский дух. От Чудского озера, где князь Александр разбил немцев, до Куликова поля, где князь Димитрий разбил татар, от Полтавы, где Петр Первый разбил шведов, до Бородина, где Александр Первый разбил французов; от Сталинграда, где Сталин разбил немцев, до... до неведомого еще грядущего

22 Там же, с.268.

23 Там же.

Сталинграда. И с этой точки зрения сама Октябрьская революция была лишь очередной ступенью созревания русского духа, а вовсе не эпохальной датой рождения социализма. С этой точки зрения, деятельность Ивана Грозного или какого-нибудь патриарха Гермогена точно так же важна, как деятельность Ленина. Все они одинаково вели „национальный дух” к очередным государственным подвигам. „Это история народа, — поучает Чалмаев, — который то путем эволюции, то при помощи революционного взрыва шел от одних... форм государства и общественного сознания к другим, более прогрессивным”.²⁴

И что еще важнее — это громадная роль церкви и православия как организующей и воспитательной силы в триумфальном шествии русского духа. Все, что на протяжении десятилетий зачеркивалось марксистской историографией как проклятое царское прошлое и опиум для народа, все, что страстно клеймилось как реакционное и отжившее, выходило теперь на первый план как дружная созидательная работа русских царей и русской церкви на благо России и ее коммунистической партии, неблагодарно забывшей своих предшественников.

Чалмаев говорит: „Современный молодой человек может, вероятно, быть удивлен тем обстоятельством, что в исторических романах последних лет такое большое место вновь... заняли цари, великие князья, а рядом с ними, но никак не ниже их патриархи и другие князья церкви, раскольники и пустынножители”.²⁵ И он разъясняет, что и „поэтичнейший” патриарх Никон, и „пустынножитель-патриот” Сергей, и „патриот-патриарх” Гермоген и т.д. воплощали в себе „духовные силы” русской нации, ее „огненные порывы и мечты”, из которых она „выплавляет... основу для государственных подвигов”.²⁶ „Великая страна не может жить без глубокого пафоса, без внутреннего энтузиазма, иначе ее захлестывает дряблость, оцепенение”.²⁷ А поскольку сам носитель русской истории, Народ,

24 Там же, с.266.

25 Там же, с.265.

26 Там же, с.267-268.

27 Там же, с.256.

лишь „один раз в сто лет... выходит на Полтавскую битву или Сталинградское противостояние”,²⁸ то кто-то же должен в промежутках между великими битвами позаботиться о „глубоком пафосе” и „внутреннем энтузиазме”. Интеллигенция, „просвещенное мещанство”, на эту роль, как мы уже знаем, не подходит. Кто же и остается тогда как не цари и реформаторы церкви? „Помимо временного, преходящего, есть и в усилиях Петра I, Ивана Грозного и в попытках реформаторов церкви видоизменить на благо родины византийскую идею отречения от мира как главного подвига человека, нечто великое, вдохновляющее и нашу мысль”²⁹

Как видим, между Октябрьской революцией и Иваном Грозным, между социализмом и реформаторами церкви действительно не оказывается пропасти, как полвека учили марксистские идеологи советскую молодежь. Теперь, в 1968 г., орган ЦК комсомола, внезапно сменивший бодрый комсомольский пафос на мрачную церковную риторику, убеждает эту молодежь, что все они работали над одни и тем же. Но над чем же одним? Под какой общий знаменатель можно подвести Полтаву и Сталинград? Ленина и Ивана Грозного? Кто возьмется с легким сердцем причислить Петра Первого к строителям коммунизма, а Ленина — к пустынножителям?

И вот возникает грандиозное видение „византийской идеи”.³⁰ Это над нею, оказывается, работали совместно все титаны России, ее патриоты-пустынники и ее патриоты-коммунисты. И теперь мы можем понять программную декларацию Чалмаева о том, что „мерой подлинной интеллектуальности и прогрессивности является в наши дни борьба с идеоло-

28 Там же, с.268. „Раз в сто лет — лед Чудского озера, буйные травы Куликова, Полтавского, Бородинского полей” (с.264).

29 Там же, с.266.

30 „Византизм” России, как уже знает читатель, — идея Константина Леонтьева, согласно которой Россия — не просто государство. Россия — особый мир, особая цивилизация, унаследовавшая мировую задачу Восточно-Римской империи, задачу противостояния католическому и буржуазному Западу. Или, как сказал бы в терминах „русской новой правой” М.Лобанов, задачу сокрушения „американизма духа”.

гическими противниками нашей Родины,³¹ что „осознание этого бескомпромиссного размежевания идеологий — историческая неизбежность нашего времени”.³²

Согласно Лобанову, „идеология нашей Родины” — производное от „нравственной самобытности” русской нации. История помогла Чалмаеву сформулировать это производное. И это оказался „византизм”, превращающий русскую историю в подготовительную школу для нового Сталинграда, помогающий вновь обрести тот „глубокий пафос” и „внутренний энтузиазм”, без которого современную брежневскую Россию „захлестывают дряблость и оцепенение”.

ЧАЛМАЕВЩИНА

Статьи Лобанова и Чалмаева, сопровождавшиеся в „Молодой гвардии” десятками стихотворений и повестей, посвященных все тому же возрожденному национальному духу, земле и почве, были открытым вызовом брежневскому режиму и его идеологам. И режим ответил на этот вызов — не только градом негодующих статей, но и рядом акций, предпринятых отделом пропаганды ЦК партии. И даже специальным заседанием секретариата ЦК, посвященным „молодогвардейству”. (Сам Брежнев, по слухам, пожаловался на этом заседании, что, когда бы он ни включил телевизор, он только и слышит, что колокольный звон, только и видит, что церковные купола. „В чем дело, товарищи? — спросил он. — В какое время мы живем? До революции или после нее?”) Наконец, режим ответил снятием главного редактора журнала „Молодая гвардия” А.Никонова. Был пущен в оборот специальный термин „чалмаевщина”, который и начали употреблять для идеологических проработок. Но...

Но ничего не переменилось. Гора родила мышь. Никонов, правда, словно в насмешку, был назначен главным редакто-

31 В.Чалмаев. Неизбежность, с.262.

32 Там же, с.263.

ром „космополитического” журнала „Вокруг света” — но в том же издательстве „Молодая гвардия”, только этажом выше. На его месте оказался, в конечном счете, его бывший заместитель А.Иванов, еще более верный оруженосец Чалмаева. Терпение Брежнева по-прежнему испытывали колокольным звоном и церковными куполами. „Чалмаевщина” в поэзии и прозе продолжала царить в „Молодой гвардии”. И начал выходить даже новый „чалмаевского направления” журнал „Наш современник”, главный редактор которого С.Викулов нисколько не скрывал своей ориентации. Более того, „Молодая гвардия” осмелилась контратаковать своих оппонентов. А „Москва” и „Огонек” поддержали эту контратаку.

Происходило что-то абсолютно неслыханное. Беспрекословно послушная, десятилетиями работавшая без перебоев машина, на этот раз забуксовала. Отдел пропаганды ЦК оказался бесситен обеспечить выполнение решений Секретариата ЦК. Более того, все происходило словно в каком-то кафкианском мире: отдел культуры того же ЦК нагло отрицал, что такое решение вообще имело место. Сурового возмездия не получилось. Вместо него возник дряблый, визгливый, затянувшийся на годы скандал между двумя отделами на самом верху. К чему это привело, мы увидим дальше. А сейчас — об одной маленькой, но колоритной детали.

ПОРАЖЕНИЕ МАРКСИСТА

В хоре марксистских голосов, обрушившихся на „Молодую гвардию”, оказался, в конце концов, и либеральный „Новый мир”. Полтора десятилетия доблестно сражался он с ортодоксально-сталинистским „Октябрем”. Но теперь... Поистине все смешалось в доме Облонских, когда на горизонте появилась черная туча русофильства. Вместо доброй старой вражды, привычной, как ежедневная газета, непримиримые, казалось, оппоненты очутились вдруг по одну сторону баррикады. Более того, заговорили почти одним и тем же языком. И это был язык

дряхлой марксистской догматики. Александр Дементьев в необъятной статье обвинил „Молодую гвардию” в том, в чем ее, собственно, давно пора было обвинить. „В.Чалмаев говорит о России и Западе скорее языком славянофильского мессианизма, чем языком наших современников... Наша наука... трактует [эту проблему] прежде всего как борьбу мира социализма с миром капитализма... в основе современной борьбы „России” и „Запада” лежат не национальные различия, а социальные, классовые... [от статьи Чалмаева] один шаг... до идеи национальной исключительности и превосходства русской нации над всеми другими, до идеологии, которая несовместима с пролетарским интернационализмом... Смысл и цель жизни [по Чалмаеву] не в материальном, а в духовном... [что] является помехой на пути к материальному и духовному развитию советского крестьянства”,³³

Вся эта железобетонная фразеология звучала хотя и триумфально, но неуязвимо. Один только промах допустил Дементьев. Такой малый промах, что постороннему глазу его и не заметить. В огромной статье содержался маленький кусочек, которым Дементьев обрек себя — себя, а не Чалмаева, „Новый мир”, а не „Молодую гвардию” — на заклятие. „В.Чалмаев и М.Лобанов, — написал он, — указывают на опасность чуждых идеологических влияний. Устоим ли мы, например, перед искусом „буржуазного благополучия”?... „В современной идейной борьбе соблазн „американизма”... нельзя преуменьшать”, — утверждает Чалмаев. Правильно. Однако и преувеличивать тоже не надо... Советское общество по самой своей... природе не предрасположено к буржуазным влияниям”,³⁴

И все. И приговор был подписан. Не только Дементьеву, но и „Новому миру”, который героически выстоял против бешеных атак всей сталинистской сволочи, который печатал Солженицына и Синявского, который стоял, казалось, несокрушимо, как одинокий утес либерализма, среди бушующего океана

³³ А.Дементьев. О традициях и народности. — „Новый мир”, 1969, № 4, с.221-222.

³⁴ Там же, с.225-226.

реакции. И вот он пал. Пал — какова ирония! — не за Солженицына, не за Синявского, а за правоверную марксистскую статью, защищавшую чистоту идеологических риз партии.³⁵ Дементьев и сам невольно напророчил этот печальный финал, заметив, что „опасно оказаться под рукой неистовых, не знающих удержу врагов „просвещенного мещанства” и горячих ревнителей „национального духа””.³⁶ Воистину, как выяснилось, опасно — даже для марксистов.

Так не означает ли это, что именно здесь, выступив против „русской правой”, затронул „Новый мир” самое чувствительное место режима (при тогдашнем балансе сил в нем)? И, пожалуй, яснее всего это видно из яростного коллективного письма одиннадцати писателей — среди которых были представители как ортодоксально-сталинистского направления, так и „русской правой”, — помещенного в „Огонек” под названием „Против чего выступает „Новый мир”?”³⁷

Аргумент их прост и убийственен. „Вопреки усердным призывам А.Дементьева не преувеличивать „опасности чуждых идеологических влияний”, мы еще и еще раз утверждаем, что проникновение к нам буржуазной идеологии было и остается серьезнейшей опасностью... [и] может привести к постепенной подмене понятий пролетарского интернационализма столь милыми сердцу некоторых критиков и литераторов, группирующихся вокруг „Нового мира”, космополитическими идеями”.³⁸

35 Я не один раз слышал от работников ЦК, что если не причиной, то действительным поводом для снятия А.Твардовского была статья Дементьева.

36 А.Дементьев. О традициях и народности, с.226.

37 Вот полный список этих „подписантов”, которые не только не были наказаны за свое коллективное письмо — в противоположность десяткам аналогичных случаев — но и свалили Твардовского: Михаил Алексеев, Сергей Викулов, Сергей Воронин, Виталий Закруткин, Анатолий Иванов, Сергей Малашкин, Александр Прокофьев, Петр Проскурин, Сергей Смирнов, Владимир Чивилихин, Николай Шундик.

38 „Огонек”, 1969, № 30.

Зловещее слово „космополитизм” было произнесено.³⁹ И человеку, знакомому с внутренней расстановкой идейных сил в советском истеблишменте, просто знающему, кто есть кто, это объясняет, на какой основе смогли объединиться такие представители ортодоксально-сталинистской правой, как М.Алексеев или В.Закругин, с такими апологетами „новой русской правой”, как А.Иванов или С.Викулов. Становится понятно также, почему „Новый мир” смог так долго держаться против „Октября”. Потому что обе фракции „правой” были разъединены. Потому что русофилы до сих пор только радовались драке сталинистов и либералов, отвлекаяв внимание от их идейной экспансии. И только объединившись, почувствовали они свою настоящую силу. Это было первым — в пост-сталинскую эру — выступлением *объединенной* „истеблишментарной правой”, своего рода историческим экспериментом, продемонстрировавшим ее необыкновенные политические потенции.⁴⁰

Теперь дело, очевидно, было за тем, чтобы осторожно и тактично заполнить пропасть, разделявшую русофилов и сталинистов, превратив союз правых фракций из мимолетного тактического альянса в стабильную политическую силу, способную реально воздействовать на сами стратегические цели режима.

39 Конечно, оно не случайно было произнесено именно в „Огоньке”, возглавляемом главным „охотником за ведьмами” в космополитической кампании конца 1940-х гг. А.Софроновым. У Софронова великодушное чутье на такие вещи. И то, что он счел возможным открыто вмешаться в конфликт, позволяет предположить, что в воздухе 1969 г. действительно пахло грозой.

40 Мне кажется, что западным наблюдателям следовало бы учесть этот эпизод, обнаруживший с достаточной очевидностью, как эффективна может быть в определенных условиях коалиция правых фракций советского истеблишмента. И не только в борьбе с либерализмом. Ибо ясно, что этот истеблишментарный „либерализм” мог существовать лишь до тех пор, пока господствующей центристской фракции было удобно и политически безопасно его поддерживать. Поэтому можно было бы высказать осторожное предположение, что разгром старой редакции „Нового мира” действительно мог бы — при удачном стечении обстоятельств — послужить сигналом для новой космополитической кампании.

После яростных инвектив старой гвардии („Октябрь”) против „молодогвардейства” такая операция казалась, в принципе, невозможной. „Октябрь” никогда не примирился бы с такой ересью, что основой и питательной почвой советского государства является не рабочий класс, а крестьянство. Или с тем, что „национальный дух”, а не „пролетарский интернационализм” служит ему путеводной звездой. „Октябрь” не примирился бы. Но „Огонек”, как видим, оказался сговорчивей. Ибо вдруг обнаружил, что лобановская „дипломированная масса” есть по сути лишь другое название для софроновских „безродных космополитов”. Иными словами, у обеих фракций „истеблищментарной правый” оказался *один общий враг*.

Но тут как раз и был заложен коварный подводный камень. В самом деле, пока речь шла об общей борьбе с либеральной интеллигенцией, олицетворявшейся „Новым миром”, она была сравнительно безопасна. Но ведь „дипломированная масса” включала в себя не только либералов. Значительная часть могущественной правящей фракции центра тоже была дипломированной, к тому же гораздо больше заинтересованной в контактах с Западом, чем либералы (не говоря уже о том, что ее „космополитизм”, т.е. реальные возможности для, так сказать, импорта „мирового зла” были несопоставимо шире).

Таким образом, сравнительно невинная коалиция против „Нового мира” должна была, если бы она стабилизировалась и развивалась, перерасти в *политическую оппозицию*, в оппозицию „космополитичности” самого брежневского режима, до мозга костей зараженного буржуазными идеями „сытости”. Вот почему борьба против либерального „космополитизма” была логически связана с борьбой против правительственного, брежневского „космополитизма”.

Я не берусь утверждать, что лидеры русофильства так ясно это себе представляли. Я хочу лишь отметить, что, когда „Молодая гвардия” выступила в 1970 г. со своей третьей программной декларацией (со статьей С.Семанова „О ценностях относительных и вечных”), она сделала в ней как раз то, о чем мы сейчас говорили, а именно — смелый шаг навстречу „старой гвардии”. Ошибка заключалась в том, что шаг этот был тактически безграмотным.

ОШИБКА „МОЛОДОЙ ГВАРДИИ“

Конечно, „Молодой гвардии“ и раньше не были чужды, так сказать, сентиментально-сталинистские мотивы. Тот же Дементьев заметил, например, беспрецедентность напечатанных в ней стихов Феликса Чуева о Сталине.⁴¹ Но если стихи Чуева были зловещим, но все-таки эпизодом в эволюции „молодогвардейства“ к сталинизму, то статья Семанова призвана была идейно обосновать эту эволюцию. Разумеется, и од „национальному духу“, и песнопений „русской почве“, и доносов на „просвещенное мещанство“ в ней было не меньше, чем в статье Чалмаева. Октябрьская революция объявлялась русским национальным достоянием.⁴² Утверждалось, что „в нашем обществе превыше всего ценятся заслуги перед Родиной“.⁴³ Первым грехом троцкизма объявлялось „глубочайшее отвращение к нашему народу, его... традициям... его истории“.⁴⁴ Но главным было не это, а беспрецедентное утверждение, что „перелом в деле борьбы с разрушителями и нигилистами произошел в середине 30-х годов“, что „именно после принятия нашей Конституции... все честные трудящиеся нашей страны отныне и навсегда оказались слитыми в единое и монолитное целое“.⁴⁵

41 В стихотворении, кстати, очень искреннем, говорилось о том, что настанет день, когда откроется в Москве музей Отечественной войны, в котором:

Пусть, кто войдет, почувствует зависимость
От Родины, от русского всего.
Там посредине – наш Генералиссимус
И маршалы великие его.

Дементьев весьма ядовито заметил об этом: „Здесь уже сделана попытка соединить обращение к „истокам“ с мечтами о будущем“ (Дементьев, О традициях и народности, с.230). И действительно, то, что „родина“ безоговорочно связана с „русским“ (а не советским) – молодогвардейское. Но „наш Генералиссимус“ в центре сцены – это уже из другой, „старогвардейской“ оперы.

42 С.Семанов. О ценностях относительных и вечных. – „Молодая гвардия“, 1970, № 8, с.317.

43 Там же, с.316.

44 Там же, с.318.

45 Там же, с.319.

После хрущевских разоблачений на XX съезде эпоха, о которой говорит Семанов, „эпоха 1937 года“, была предана проклятию и рекомендовалась к забвению. Даже согласно официальной историографии она знаменовала разгром партийных кадров. И вот теперь Семанов объявляет ее главной Революцией, положившей конец „разрушителям и нигилистам“ и начало „монолитности нашего народа“.

Это была поистине медвежья услуга сталинистам. Объявляя, что „эти перемены оказали самое благотворное влияние на развитие нашей культуры“, ⁴⁶ Семанов, конечно, ревизовал решения XX съезда и пытался реабилитировать Сталина. Намерения его в этом смысле были, с точки зрения сталинистов, — наилучшими. Но исполнение было чудовищное. Одно дело, согласитесь, романтическая, так сказать, наполеоновская легенда о „нашем генералиссимусе“, и совсем другое — открытое благословение эпохи массового убийства старой гвардии. Семанов напомнил как раз то, о чем рекомендовалось забыть. Одним ударом разрушил он все, что так удачно начал год назад „Огонек“, положил конец альянсу. И тем самым дал в руки отделу пропаганды козырного туза. Не случайно как раз после статьи Семанова и состоялось заседание секретариата ЦК, на котором жаловался на колокольный звон Брежнев и где был низложен Никонов.

На самом деле, именно статьей Семанова и обнаружили идеологи „истеблишментарной правой“ всю глубину своего банкротства — свою неспособность выработать ни общую идейную платформу для коалиции правых сил, ни общую стратегию борьбы с „дипломированной массой“ „космополитического“ брежневского центра.

С точки зрения отдела пропаганды, ситуация теперь была предельно ясна. Если „Новый мир“ допустил „ляп“ (со статьей Дементьева), в результате которого пришлось пойти на полный разгром его старой редакции, то теперь аналогичный „ляп“ сделала „Молодая гвардия“. И пришло, казалось, время разгромить и ее редакцию. Это было логично. Это было в духе всего

46 Там же.

брежневского режима „стабилизации”, равномерно наносящего удары налево и направо. И удар был нанесен. Журнал „Коммунист” дал долгожданный залп. Читатель должен знать, что журнал „Коммунист” никогда не повторяет сказанного дважды. Он не читает нотаций и не делает выговоров. Он произносит приговор — окончательный и обжалованию не подлежащий. Этот приговор гласил: „Статья В.Чалмаева „Неизбежность”.. сразу обратила на себя внимание прежде всего, пожалуй, именно беспрецедентным... внесоциальным подходом к истории, смешением всего и вся в прошлом России, попыткой представить в положительном свете все реакционное, вплоть до высказываний даже таких архиреакционеров, как Константин Леонтьев”.⁴⁷ Эти строки звучали для Чалмаева, как погребальный колокол. Но дальше говорилось уже о „чалмаевщине”. О том, что „подобного рода авторам, выступавшим преимущественно в журнале „Молодая гвардия”, следовало бы прислушаться к тому рациональному, объективному, что содержалось в критике статьи „Неизбежность” и некоторых других, близких к ней по тенденции. К сожалению, этого не произошло. Более того, отдельные авторы пошли еще дальше в своих заблуждениях, забывая прямые ленинские указания по вопросам, о которых взялись судить”.⁴⁸

Дальше — по всем правилам партийной инквизиции — писания „отдельных авторов” (в том числе, конечно, Семанова) — объединялись в „линию” журнала и по поводу нее говорилось, что она „придает журналу явно *ошибочный крен*”.⁴⁹

Тысячу раз это было испробовано. И тысячу раз означало конец — шла ли речь о писателе, о редакции или об „антипартийной группировке”. И вот в тысячу первый раз не сработало. Конца не получилось. Ни Чалмаеву. Ни редакции. Ни „ошибочному крену”.

⁴⁷ В.Иванов. Социализм и культурное наследие. — „Коммунист”, 1970, № 7, с.97.

⁴⁸ Там же, с.98.

⁴⁹ Там же, с.99.

**„ДЕЛО”
МЕЛЕНТЬЕВА**

„Дело” это связано с „молодогвардейством”. В отличие от „дел” Чалмаева, Дементьева или Семанова, я не могу подтвердить его документально.

Да, собственно, никаких документов и не могло существовать по природе самого дела. Одни разговоры. Впрочем, разговоры людей, непосредственно к нему причастных.

Ю.Мелентьев был директором издательства „Молодая гвардия”; и одноименный журнал находился в его непосредственном подчинении. В самый разгар „молодогвардейской” кампании заведующий отделом культуры ЦК Василий Шауро взял его к себе „наверх”. У Шауро Мелентьев занимался трудными переговорами с отделом пропаганды по поводу „чалмаевщины” и организацией разгрома „Нового мира”. Когда наметились признаки сближения между обеими фракциями „правой”, видимо, кто-то наверху решил, что настало время прощупать самого Хозяина. Для исполнения этого беспрецедентного поручения нужен был человек большой отваги и преданности „правому” делу. Он рисковал если не головой, то уж наверняка карьерой: в личных отношениях Брежнев неизменно демонстрировал безжалостную и мелочную мстительность.

Дело было поручено Мелентьеву, бывшему тогда на взлете карьеры и жизненного успеха. Он добился аудиенции у Хозяина и беседовал с ним час. Точнее, это была не беседа, а монолог. Брежнев только слушал. Мелентьев говорил о том, что настроения в кругах молодежи, военной и патриотической интеллигенции тревожные. Проникновение западной идеологии достигло опасных размеров. Оно уже отражается и на качестве рекрутов и на моральном духе командного состава армии. Страна лишается боеспособности. Многие считают, что нужны решительные меры. Во-первых, курс идеологической работы с молодежью должен стать истинно патриотическим, таким, какой помог нам одержать победу над Гитлером и отказ от которого может привести к катастрофическим последствиям. Во-вторых, свести к минимуму любые контакты с Западом. В-третьих, установить более жесткий идейный контроль над интеллигенцией и частью центральных партийных кадров, глубоко за-

раженных чуждыми идеологическими влияниями. В общем, это была программа политического изоляционизма и идейного проекционизма, опирающаяся на борьбу „русского духа“ против „космополитизма“, или, другими словами, — изложенная в пристойных партийных терминах стратегия альянса „Молодой гвардии“ и „Огонька“.

Можно предположить, что Брежнев тогда обдумывал свой эпохальный поворот к детанту. Может быть, те, кто послал к нему Мелентьева, не знали об этом. А может, наоборот, знали и пытались предотвратить такой поворот. Может, они таким образом предлагали Брежневу альтернативу. Как знать?⁵⁰ В любом случае монолог Мелентьева по безграмотности и бестактности идет в сравнение только со статьей Семанова.

Реакция Брежнева была жесткой. Выслушав Мелентьева, он произнес всего несколько фраз. Но среди них была следующая: „Вам не место не только в ЦК, но и в партии“. В устах Брежнева эти слова означали конец карьеры Мелентьева. Вернее, должны были означать. И действительно, на следующий день Мелентьев был изгнан из ЦК.

И тут мы опять оказываемся в призрачном кафкианском мире брежневского истеблишмента. Приговор Генерального секретаря не только не оказался концом партийной карьеры Мелентьева, но дал ей новый толчок. Мелентьев стал заместителем министра культуры Российской республики. Затем — министром. Кто стоял за его спиной? Мы можем только гадать, что если человек, которому, по мнению Брежнева, не место в партии, получил тем не менее пост министра, то за его спиной должен был стоять кто-то настолько могущественный, что Брежневу было невыгодно с ним соориться.

Но особенно странной судьба Мелентьева кажется по сравнению с судьбою другого чиновника из ЦК, занимавшего в свое время пост, куда более высокий, чем Мелентьев. Я имею в

⁵⁰ Дело Мелентьева, частично ставшее известным от него самого, долгое время служило популярной темой разговоров в коридорах ЦК и в „околоцеховских“ кругах. Однако на вопрос, кто именно уполномочил его на столь беспрецедентную акцию, добиться авторитетного и однозначного ответа от обитателей этих коридоров оказалось невозможно.

виду А.Н.Яковлева, исполнявшего в течение нескольких лет обязанности заведующего отделом пропаганды ЦК, т.е. Идеолога партии.

„ДЕЛО” ЯКОВЛЕВА

Яковлев, стоявший на левом фланге того же брежневского центра, был озабочен как соображениями идейного, так и личного характера.

Он исполнял обязанности заведующего отделом. Но заведующим его не назначали. Для этого он был слишком левым. Репутация обязывала. И для того, чтобы оправдать свою левизну, Яковлев попытался переместить налево центр тяжести самой брежневской фракции. Наиболее удобным политическим рычагом для этого представлялась борьба с русофильством. И Яковлев уже с 1968 г. пытался превратить русофильство в объект политической борьбы наверху. Это он стоял за критическим залпом, выпущенным по чалмаевщине. Это он стоял за статьей в „Коммунисте”. И заседание секретариата ЦК, обсуждавшее эскапады „Молодой гвардии”, тоже было делом его рук.

Но тут нашла коса на камень. Сопротивление разгрому „Молодой гвардии” шло из отдела культуры того же ЦК. Шауро ухитрился так амортизировать удары Яковлева, чтобы они не переходили из области допустимой идеологической дискуссии в роковую сферу политических обвинений.⁵¹

51 Тактика Шауро строилась на том, чтобы скрыть политическую суть русофильства, изобразив его как явление исключительно культурное. Что, в самом деле, дурного, если молодежь заинтересовалась прошлым своего народа, если она платит дань восхищения своей прародине, русской деревне? Впрочем, позицию Шауро можно лучше всего описать словами одного авторитетного ученого: „В некоторых русских кругах... сложилось на протяжении последнего десятилетия что-то вроде культа русского прошлого — деревенской традиции, русских народных обычаев, искусства и т.д., главным образом культурного по характеру и совершенно аполитичного... на эмоциональном уровне” (см.: *Соппентагу*, Aug. 1977, p.42). Если бы Яковлев прочитал этот пассаж, он был бы, вероятно, убежден, что это написано кем-нибудь из подставных

После нескольких лет безуспешного маневрирования и интриг, испробовав все закулисные ходы и удары через подставных лиц, Яковлев вынужден был сыграть ва-банк. Так же, как и Мелентьев, он ставил свою карьеру на карту. Но в отличие от Мелентьева он действительно сгорел.

Момент, выбранный им для атаки, казался удачным. С одной стороны, предстоял пятидесятилетний юбилей многонационального СССР. С другой — детант с Западом уже разгорался ярким пламенем. Следовало доказать, во-первых, что вопреки уверениям Шауро русофильство — это вовсе не лирическая ностальгия по деревенскому прошлому, а явление сугубо политическое, и политика его антимарксистская и даже контрреволюционная; во-вторых, что русофильство стимулирует националистические настроения в нерусских республиках СССР; в-третьих, что оно несовместимо с курсом XXIV съезда, — съезда детанта.

15 ноября 1972 г. в „Литературной газете“ появилась гигантская, на две страницы, статья Яковлева „Против антиисторизма“. „По сути дела, — писал Яковлев, — за всем этим *идейная позиция*, опасная тем, что объективно *содержит попытку возвернуть прошлое*“.⁵² И будто этого было мало, Яковлев добавлял: „полемика [русофилов] идет не только с Чернышевским, но и с Лениным“. Полемизировать с Лениным (да и с Чернышевским) до сих пор не позволял себе в СССР никто, даже Сталин. А русофилы это делают. Следовательно, русофильство — явление экстраординарное, в рамки допустимых идеологических дискуссий никак не укладывающееся. Тот, кто

лиц Шауро. Можно представить себе его изумление, узнай он, что автор — У.Лакер, американский политический писатель, который уже цитировался в этой книге выше и который так проникательно разобрался в хитросплетениях эмигрантского русского национализма 1920-х гг. К сожалению, проникательность покинула его, как позже случилось с Пайпсом и Хоффом, едва дело дошло до анализа современного русского национализма.

52 (Курсив мой, — А.Я.) Двадцать лет назад эта фраза звучала бы прямым обвинением в контрреволюции. В брежневской России такие вещи вышли из моды. Но как иначе мог воспринять это даже теперь советский человек, приученный к тому, что прошлое может означать либо царизм, либо сталинизм?

прожил жизнь в СССР, понимает, как зловеще звучали там подобные обвинения даже в 1972 г.

Помимо этого, Яковлев развернул огромную, поистине устрашающую панораму проникновения русофильства во все области литературы и общественных наук, начиная от „истерических писаний Шевцова” до Советской энциклопедии. Он обнаружил русофильство в историографии, в беллетристике, в поэзии, в литературоведении – всюду. Очень осторожно, но тем не менее настойчиво старался он создать впечатление невиданной – со времен разгрома всех партийных оппозиций – диверсии враждебной идеологии, особенно опасной тем, что она практически помогает буржуазной пропаганде разжигать национальные противоречия в СССР: „Хорошо известно, какая активная компания ведется нашими классовыми противниками в связи с 50-летием многонационального советского государства”.⁵³ И никаких „ляпов”, подобных дементьевскому, в статье Яковлева не было. Она вся была, как монолит.

Идеолог партии – не Дементьев, письмом в „Огоньке” ему не ответишь. Никто не осмелился полемизировать с Яковлевым. Никто, кроме самиздатского „Вече”, который в редакционной статье „Борьба с так называемым русофильством, или путь государственного самоубийства” подверг Яковлева уничтожающей критике. Только „диссидентская правая” могла позволить себе такую критику, метод которой был, впрочем, элементарен: вы опираетесь на Ленина? Ладно. Но будьте последовательны. Ленин писал о национальном самоопределении, об „удушении Украины”. Так почему же, следуя Ленину, не предлагаете вы прекратить „удушение Украины” хоть сейчас? „Если тов.Яковлеву не по душе присоединение Средней Азии к России, то не предложит ли он, по случаю юбилея, роспуск

53 Нельзя забывать о двойственности положения самого Яковлева. Он исполнял обязанности партийного идеолога и, следовательно, нес ответственность за все, что происходило на идеологическом фронте. Поэтому, сгущая краски, он подставлял под удар самого себя (что, вероятно, и было использовано его оппонентами). Но тот факт, что он шел на это, даже рискуя своим положением, свидетельствует, насколько серьезной казалась ему ситуация.

Советского Союза”⁵⁴ .Иначе говоря, руководствуясь цитатами из Ленина, можно прийти — и Яковлев, по мнению „Вече”, доходит — до „государственного самоубийства”, до прямого *антисоветизма*. „В 1918 г. Советская республика сжалась до границ Московского царства времен Ивана III. Об этом мечтает гонитель русофилов”.⁵⁵

Вряд ли такими аргументами, да еще в полуподпольном самиздатском журнале, можно было свалить партийного Идеолога. Тем не менее, его свалили. Так же, как и Дементьев, пострадал он за марксистскую догматическую статью, за „отпор антипартийной идеологии”.

Кто стоял за этим падением высоко метившего Идеолога, внезапно разжалованного в послы и отправленного в Канаду, опять-таки можно лишь гадать.⁵⁶ Одно известно, с его падением кампания против русофильства не только не стала ареной политической борьбы, но и вообще была закрыта. Ясно и другое: очень могущественные силы наверху были заинтересованы в том, чтобы редакция „Молодой гвардии” не погибла, подобно редакции „Нового мира”, чтобы „истеблишментарная правая” сохранила — до лучших времен — свои силы.

Да, силы эти следовало политически обезвредить. Угрожать брежневскому центру им позволено не было. И высокий покровитель „Молодой гвардии” Полянский был тихо удален из Политбюро и, в конечном счете, разделил судьбу Яковлева, став послом в Японии.

Но действительный урок „дела” Яковлева заключается совсем в другом: кто-то не позволил, чтобы „истеблишментарная правая” разделила судьбу истеблишментарных либералов, чтобы „дело” Мелентьева окончилось так же, как „дело” Яковлева: в том, чтобы редакция „Молодой гвардии”, разби-

54 Сб. документов самиздата „Вольное слово”, вып.9-10, с.44, Изд-во „Посев”.

55 Там же.

56 Яковлев был возвращен из Канады Андроповым. В июне 1985 г., почти полтора десятилетия спустя после своего поражения, он добился того, чего не смог добиться при Брежневе. Теперь в качестве секретаря ЦК он курирует и пропаганду и культуру. В июне 1987 г. он стал членом Политбюро. Шауро, разумеется, был уволен.

тая политически, сохранила тем не менее свои кадры, свои позиции, свою идеологическую амуницию. Для чего? На этот вопрос может ответить только будущее.

ИДЕЙНЫЕ ИТОГИ „МОЛОДО- ГВАРДЕЙСТВА”

1. Перенесение борьбы с „социализма” и „капитализма” в сферу противостояния духа: русского и буржуазного, воплощенного в „американизме”.

2. Противопоставление русского народа „дипломированной массе”, „космополитическому” мещанству.

3. Признание советской власти потенциально русской по духу.

4. Латентное признание существующего режима, ориентированного на „дипломированную массу”, на буржуазные ценности „сытости” и „образования”, „космополитическим” и „нерусским” по духу, а следовательно, несоветским.

5. Апокалипсическое видение неизбежности финальной, завершающей предысторию мира, схватки „русского духа” с „американизмом”.

6. Неизбежность полного изменения ориентации режима, „легкомысленного по отношению к Родине”.

7. Согласие вернуться для этой цели, по крайней мере, к некоторым ценностям „утраченного рая” сталинизма как воплощения русско-византийской традиции. (Если ВСХСОН предлагал посредством „революции снизу” заменить советскую власть „корпоративным государством”, то „молодогвардейство” по сути предлагает посредством „революции сверху” заменить псевдосоветский брежневский режим режимом подлинно советским, русским.) Таким образом, суть „молодогвардейской” программы сводилась к требованию контрреформы.

ЖУРНАЛ „ВЕЧЕ”: ЛОЯЛЬНАЯ ОППОЗИЦИЯ СПРАВА

Существование „Вече” — безусловно крупнейшее событие в истории „диссидентской правой” постсталинской России. Толстый, общественно-политический и литературно-художественный журнал — это в старинной русской традиции. Но толстый машинописный журнал оппозиционного направления — с фамилией и адресом редактора на обложке — более или менее регулярно распространявшийся в СССР почти четыре года — вот что было явлением феноменальным.¹

С самого начала редакция провозгласила принцип открытой и свободной дискуссии. И на страницы журнала выплес-

¹ Конечно, „Вече” объявил себя органом лояльной оппозиции и политических вопросов обещал не касаться. Более того, он исходил из постулата: „Мы должны убедить администрацию в том, что существование лояльной оппозиции — не во вред, а во благо советскому государству”. Во благо советской власти „Вече” должен был служить по следующим причинам:

А. „Лояльная оппозиция — это защита от расплывшейся бюрократии, от самочинства которой сами „водители” страдают не меньше трудящихся...

Б. [Эта оппозиция] „предохраняет от возможности появления единоличной диктатуры” („Вольное слово”, вып.17-18, с.6). Девять номеров журнала под редакцией Владимира Осипова выходили с января 1971 г. до марта 1974 г. После раскола редакции В.Осипов и В.Родионов выпустили два номера нового журнала „Земля”. „Раскольники” же И.Овчинников и А.Скуратов выпустили 10-й номер „Вече”. К концу 1974 г. „Земля” и „Вече” прекратили свое существование. Тогда же был арестован Осипов (и в следующем году осужден на 8 лет). Интересна одна синхронность, не отмеченная, насколько мне известно, западными наблюдателями: КГБ активизировал преследование „Вече” с 1973 г. — параллельно с уменьшением влияния Полянского и „истеблишментарной правой”.

нулось все, что накопилось в умах и душах русских националистов за десятилетия. В этом смысле — как индикатор настроений „патриотических масс” — опыт „Вече” поистине бесценен. С другой стороны, это был квалифицированный, на хорошем профессиональном уровне издаваемый журнал, представлявший такие высоты русского интеллекта, по сравнению с которыми исторические эссеисы и ВСХСОНа и „молодогвардейцев” неизбежно должны были показаться любительскими. И Данилевский, и Хомяков, и Леонтьев, и Скобелев, и все другие светила „русской правой” прошлого века были подвергнуты тщательному анализу и актуальной интерпретации. Экологические, экономические, архитектурно-градостроительные, этнографические, литературные проблемы страны были исследованы глубоко и основательно.

Самиздатский „Вече” — это около двух тысяч страниц очень серьезного, затрагивающего все стороны жизни в СССР текста, никем пока в качестве специального феномена не исследованного. Не собираюсь здесь этого делать и я. „Вече” интересует меня только с одной стороны: как индикатор политической эволюции „русской диссидентской правой”, как замечательная, но безуспешная попытка сдержать ее сползание от либерального национализма к черносотенному.

У меня нет никаких сомнений в том, что редакция „Вече”, и в особенности его главный редактор Владимир Николаевич Осипов, были либералами в той степени, в какой это вообще возможно для националистов.² Нет у меня сомнений и в том, что они честно и отважно сражались за свои либеральные ценности — со всеми проявлениями черносотенства, антисеми-

2 Эдва ли кто-нибудь из западных наблюдателей усомнился в национал-либерализме Осипова. См., например, D.Pospelovsky. The Rebirth of Russian Nationalism in Samizdat — Survey, 1973, No 1, p.64). См. также заявления и декларации самого Осипова в „Вече” № 1 и № 7 (соответственно: Архив самиздата № 1013 — издание представляет собой сборники полученных из России самиздатских материалов, которые были размножены на копируемых машинах и хранятся в различных библиотеках на Западе — и „Вольное слово”, вып.17-18) или его протест против обвинения в антисемитизме в интервью с Динем Миллсом, московским корреспондентом „Балтимор сан” („Вестник РХД”, № 106, 1972).

тизма и шовинизма, которые беспрерывно давили на них. Они потерпели поражение. И это представляется мне наиболее существенным результатом четырехлетнего опыта „Вече”. Ибо журнал с самого начала вел войну на два фронта — не только с КГБ (это очевидно из многих заявлений Осипова и отмечено всеми, кто писал о нем), но и со своими собственными союзниками справа (и это, насколько мне известно, не отмечено пока никем). Трудно сказать, какой из этих фронтов был тяжелее: полицейские преследования сверху или невозможность удержать свои либеральные позиции под сильнейшим давлением снизу (приведшие в конце концов к расколу редакции весной 1974 г., т.е. задолго до ареста Осипова). В этом смысле „Вече” был индикатором тяжелейшего кризиса, который переживал либеральный национализм в России первой половины семидесятых.

Всего несколько лет понадобилось в наше стремительное время „русской идее”, чтобы перейти от первой своей мессианской фазы ко второй — изоляционистской. Если в шестидесятые ВСХСОН еще намеревался спасти человечество, то уже в начале семидесятых человечество это превратилось для „Вече” в абстракцию. Не мир желал спасать он, а Россию. По сути „Вече” был самым ярким глашатаем русского И-национализма в XX столетии. И тем не менее, зловещие признаки сползания „русской идеи” в ее третьей, финальной фазе — к фашизму — тоже сформулированы были с достаточной, как увидит читатель, ясностью именно на его страницах.

Вот почему опыт „Вече” уникален: ни до него, ни после него ни одна публикация интеллектуалов, исповедующих „русскую идею”, не открывала такой возможности заглянуть в то, что действительно происходит в низах „русско-патриотического” направления, что чувствуют его сторонники, как реагировали они на режим советского консерватизма и как представляли себе саму „русскую идею”.

„Вече” был окном в „русско-патриотические” массы — обстоятельство, никогда не отмеченное западными наблюдателями, писавшими об этом журнале. Соответственно, не заметили они и главного парадокса „Вече”, заключавшегося в

том, что журнал был двулик: один его лик — либеральный — на глазах у читателя неумолимо вытеснялся другим ликом — шовинистическим.

КОНЦЕПЦИЯ ИЗОЛЯЦИОНИЗМА

В шестидесятые, в эпоху ВСХСОНа и „молодогвардейства“, китайская угроза не воспринималась еще как нечто решающе важное для национального существования России. Поэтому критическое острие этих доктрин направлялось либо против „коммунизма и капитализма“, либо против „американизации духа“. Проблема „Россия и Запад“ преобладала. Мировая драма, которую пытались описывать деятели ВСХСОНа и публицисты „Молодой гвардии“, была драмой спасения человечества от ядовитых произведений „западного духа“, ведущих его к пропасти. И России с ее, в одном случае — православием, а в другом — „нравственной самобытностью“ отводилась в этой драме активная спасающая, мессианская роль.

Китайской угрозе в этой по-своему стройной картине просто не было места: она не имела ничего общего ни с „буржуазностью“, ни с „американизмом духа“. Картину требовалось переписать.³ Тот самый ряд исторических событий, который склонил правящий брежневский центр к детанту с проклятым

3 Осипов начал эту работу весьма красноречивым пассажем: „Специфика китайской угрозы состоит не в военном потенциале, а в огромном преимуществе географической позиции и людских резервов. Наш переизбыточный военный потенциал — гиря на собственных ногах. Мы с ним не сделаем ни шага в восточной войне. Когда китайцы говорят, что утопят врага в людском море, они несколько не бахвалятся. Море это все прибывает, и с каждым годом близится час, когда оно выплеснется через край и густой волной покатится по просторам Сибири“. („Вольное слово“, вып.17-18, с.9). В интервью, данном 25 апреля 1972 г. С.Броунингу, корреспонденту Ассошиэйтед Пресс, говоря о причинах „обращения к национальной идеологии“, Осипов точно формулирует: „Перед лицом надвигающейся угрозы со стороны коммунистического Китая, не прекращающейся вражды космополитического капитала русское общество не хочет оказаться идеологически немощным“ (Архив самиздата, № 1599, с.14).

Западом, должен был склонить „русскую правую” к выработке альтернативы этому детанту. И это была задача колоссальной интеллектуальной сложности, к которой идеологи „истеблишментарной правой” — с их осанной национальному духу и знанием истории на уровне средней школы — решительно не были готовы. Тут требовались действительно талантливые люди, настоящие интеллектуалы, традиционно находившиеся в России в оппозиции режиму.

Но поскольку „Вече” объявил себя оппозицией лояльной, он вынужден был согласиться соблюдать некие правила игры, от века практиковавшиеся во всех легальных толстых журналах, должен был использовать их традиционную технику. И это, конечно, была техника исторической аналогии, за столетия разработанная русской лояльно-оппозиционной прессой до истине высочайшего мастерства и филигранной тонкости. Вот почему главный вклад „Вече” в выработку альтернативной стратегии был сделан в форме историко-философских эссе, самым значительным из которых мне кажется „Роль Н.Я. Данилевского в мировой историософии”, опубликованное без подписи.

Читатель помнит, что Данилевский был первым ревизионистом классического славянофильства. Его фундаментальный труд „Россия и Европа”, впервые опубликованный в 1871 г., в эпоху кризиса дореволюционного либерального национализма, положил начало стратегической переориентации „русской правой” в прошлом веке. Данилевский был национал-либералом. Очевидно, по всем этим причинам именно интерпретация Данилевского должна была представляться идеологам „Вече” наиболее подходящей формой актуального диалога с вождями.

Главный тезис Данилевского заключался в том, что никакой всемирной цивилизации не существует. Есть лишь отдельные „культурно-исторические” типы, имеющие между собой не больше общего, чем разные биологические виды, скажем, рыбы и ящерицы. Ядром каждого из этих типов являются „исторические нации”, которые отличаются от неисторических тем, что „имеют свою собственную задачу... свою идею”. По это-

му „политические формулы, выработанные одним народом, только для этого народа и годятся”.⁴

Если бы Данилевский был последователен, он должен был бы прийти к праву наций на самоопределение. „К сожалению, — снисходительно замечает автор „Вече”, — Данилевский сочувствовал далеко не всякой самобытности. Народы, оказавшиеся в пределах государственных границ России, не могли рассчитывать на его терпимость”.⁵ Теоретически Данилевский объясняет свою позицию тем, что, кроме исторических наций, есть еще, так сказать, народы-неудачники, по разным причинам лишённые собственной идеи и вследствие этого оказавшиеся лишь „этнографическим материалом”. Есть также народы, уже исполнившие свою историческую задачу, умершие „естественной смертью, старческой немощью (Китай)”⁶ и поэтому, очевидно, тоже превратившиеся в этнографический материал.

Одним из главных пунктов ревизионизма Данилевского в отношении славянофильства было отрицание им принципа универсальности морали („Вече” мягко называет это „прагматизмом”). В частности, к международным отношениям, — считал он, — правила морали неприменимы. „Око за око, зуб за зуб... вот закон внешней политики, закон отношения государства к государству”.⁷

Таким образом, равнодушное сосуществование, а в случае конфликта интересов откровенная вражда („холодная война”, как сказали бы сейчас), между нациями возводилась в сте-

4 Сборник документов самиздата „Вольное слово”, вып.9-10, с.9. Изд-во „Посев”.

5 Там же, с.31.

6 Там же, с.11.

7 Отрицание универсальности морали прямо вытекало из отрицания универсальности цивилизации. С какой стати ящерицы станут жертвовать собой во имя рыб? Ученик Данилевского К.Леонтьев сказал об этом еще откровеннее: „Гуманных государств не бывает... они суть идеи, воплощенные в известный общественный строй. У идей нет гуманного сердца, они неумолимы и жестоки” (К.Леонтьев. Собр.соч. М., 1912-1914, т.5, с.38). Я не хочу сказать, что в своей повседневной деятельности государства руководствуются филантропическими принципами, но они по крайней мере не стараются делать из нужды добродетель.

пень естественного закона. А с „этнографическим материалом” в этих обстоятельствах позволено было, разумеется, поступать... как с материалом. Полностью отрицая такую абстракцию, как „интерес всего человечества”⁸ и утверждая, что „настоящая глубокая опасность заключается именно в воцарении... общечеловеческой цивилизации”,⁹ Данилевский, естественно, выдвигает вместо этого „целую программу своего рода изоляционизма”.¹⁰

Вот к этому выводу и ведет своих читателей „Вече”. Неправы были славянофилы (и неправы были идеологи ВСХСОНа), рассматривая Россию как орудие спасения человечества от „сатанократии”. Человечество — фантом, и спасать в нем нечего. Спасать нужно самих себя как „историческую нацию”, которой предстоит реализовать свою „идею”.

В чем же состоит эта идея? „Россия не может занять достойное себя и славян место в истории иначе, как став главой особой самостоятельной политической системы государств” и „служба противовесом всей Европе”.¹¹

Как выглядела политическая вселенная в эпоху Данилевского (и в особенности его учеников и апологетов Н.Страхова и К.Бестужева-Рюмина) с точки зрения их „изоляционистско-прагматической” доктрины? Она состояла из трех существенных элементов.

1. Россия, которой предстоит исполнить свою историческую задачу.

2. „Живой мертвец” — Турция, давно превратившаяся в этнографический материал, но не желавшая с этим смириться и угрожавшая сорвать историческую миссию России. Не разгромив Турцию, Россия просто не могла стать „главой особой самостоятельной системы государств”, не могла служить „противовесом Европе”.

8 „Вольное слово”, вып.9-70, с.18.

9 Там же, с.22.

10 Там же, с.36.

11 Там же, с.37.

3. Загнивающий космополитический Запад, который, хотя и обречен превратиться в этнографический материал, тем не менее, пока что препятствует России разгромить Турцию.¹²

Исходя из этой картины, политический смысл стратегии Данилевского сводился к весьма простой формуле.

1. Россия должна стать достаточно сильной, чтобы не дать Западу помешать ей разгромить Турцию.

2. На развалинах Турции основать свою „изолированную” империю — от Адриатического моря до Тихого океана.

3. Закрыв на замок границы этой титанической империи, спокойно ждать, пока Запад окончательно „сгниет” под давлением своих внутренних противоречий.

Присмотревшись к тому, что представляет собой современная политическая вселенная с точки зрения „Вече”, мы с удивлением должны будем убедиться, что она тоже состоит из трех элементов: России, Китая и Запада. И функции каждого из этих элементов — те же самые. В частности, „живой мертвец” Китай угрожает сорвать не только исполнение исторической миссии России, но и само ее православное возрождение, а загнивающий Запад не дает России избавиться от этой угрозы. Какая же стратегия может вытекать из такой картины мира? Не та ли самая, что вытекала из картины Данилевского?

Следовательно, не детант с Западом, а сила, достаточная для того, чтобы не дать Западу помешать России разбить Китай; сила, способная обеспечить ей „изолированное” и „самодостаточное”, отдельное от остального мира существование, — такова должна быть стратегия России, предложенная „Вече” в

12 Следует вспомнить, что действительно популярным стало лишь 4-е издание „России и Европы” в 1889 г., после Берлинского конгресса 1878 г. и националистической контрреформы Александра Третьего в 1881 г., когда Европа, можно сказать, „отняла” у России результаты ее победы над Турцией, тем самым практически повторив — дипломатическими методами — опыт Крымской войны 1853-1856 гг. Тем-то и объясняется необычайная популярность Данилевского в 80-х гг.: он оказался пророком, по сути предсказав результаты Берлинского конгресса.

самом авторитетном историко-философском эссе, опубликованном на его страницах.¹³

По Данилевскому, Россия не сможет стать Россией, т.е. реализовать свою идею, не похоронив „живого мертвеца”, – в наше время – это Китай. Так оказывалось возможным *скомбинировать традиционную славянофильскую вражду к Западу с антикитайской ориентацией*.¹⁴

Стать гигантской „закрытой” империей, в дела которой не смел бы вмешиваться никто и которая жила бы согласно своим „политическим формулам”, спокойно выжидая, пока Запад превратится в подлежащий освоению „этнографический материал”, – такова была альтернатива „европейничанью”, выдвинутая „старой русской правдой” в 70-е годы прошлого века.

13 То, что „Вече” придавал эссе о Данилевском действительно фундаментальное значение, еще раз было подчеркнуто в его ответе на уже упоминавшуюся статью Поспеловского (см. примеч. 2). „По поводу национального мессианизма мы хотели бы заметить следующее. Кроме ранних славянофилов и Достоевского, действительно проповедовавших эту идею, в славянофильстве был еще Н.Я. Данилевский, который отвергал любой национальный мессианизм... В № 6 „Вече” была помещена статья о взглядах Данилевского, которую Поспеловский, к сожалению, не прочел” („Вольное слово”, вып. 17-18, с. 169). Едва ли может быть сомнение, что в этом пассаже изоляционистско-прагматические идеологи „Вече” отбиваются не столько от лондонского журнала, сколько от давления своей собственной „мессианистской” читательской массы. Во всяком случае, очевидно, что редакция „Вече” не желала идентифицировать себя с „мессианистами”.

14 Интересно заметить, что интерпретация идей Данилевского в „Вече” была совершенно оригинальной. Во всяком случае, она решительно расходится с общепринятой на Западе академической интерпретацией, выраженной хотя бы в книге: R.E. MacMaster. Danilevsky: A Russian Totalitarian Philosopher (Harvard University Press, 1967). На первый план в учении Данилевского Мак-Мастер выдвигает „элемент войны”, оставляя в тени решающий „элемент изоляционизма”, чем лишает себя возможности объяснить либерализм в „тоталитарной” концепции русского философа. Мак-Мастер не видит даже самого феномена „имперского либерализма”. Разумеется, для „Вече”, в отличие от Данилевского, проблемы Константинополя как яблока раздора между Россией и Западом не существует. „Элемент войны” он переносит на русско-китайскую границу, отводя ему таким образом лишь роль политического фрагмента в общей изоляционистской стратегии Данилевского. Есть известная ирония в том, что интерпретация „Вече”, несмотря на свои откровенно политические и очевидно ненаучные цели, оказывается в состоянии намного более логично и убедительно объяснить либерализм Данилевского, нежели чисто академическая интерпретация Мак-Мастера.

Такова же, намекает „Вече”, может быть альтернатива новой „русской правой” детанту в 70-е годы нынешнего века.¹⁵

15 По крайней мере я, проработав много лет в этой прессе и написав десятки статей на ее эзоповом языке, другого смысла в этом эссе усмотреть не могу. Впрочем, то же самое доказывается и способом чисто логическим. В своей программной декларации Осипов обещает, с одной стороны, „лояльность к существующему строю”, а с другой – „поддержку государства перед лицом внешней угрозы”. Как видим, в области внешней политики одной пассивной лояльностью он ограничить себя не намерен, („Вольное слово”, вып.20, с.6).

В другой программной декларации Осипов заявил: „Перспективен ли существующий строй, обречен ли он на роль временного состояния... позиция русских патриотов неизменна, ибо мы не берем на себя смелость или дерзость противопоставить существующему строю свой социальный вариант... мы помним, как бы ни сложилась политическая судьба России, национальные интересы первичны, надсоциальны, вечны” („Вольное слово”, вып.17-18, с.15). Это означает, что, в отличие от ВСХСОНа, „Вече” не намерен выдвигать альтернативы ни советскому строю (как социальной системе), ни авторитарному режиму (как системе политической). Тем не менее заявление Осипова оставляет открытой область стратегических рекомендаций, которые могли бы содействовать реализации „первичных”, по преимуществу национальных, интересов.

С этой точки зрения в концепции автора эссе о Данилевском возникают три возможные альтернативные стратегии:

а) Россия может согласиться со статусом одной из великих держав современного мира (и к этому в конечном счете ведет детант с Западом);

б) Россия может претендовать на господство над миром (и как раз в этом подозревали Россию Маркс и Энгельс. „Панславизм, – писал Энгельс, – мошеннический план борьбы за мировое господство” (К. Маркс и Ф.Энгельс. Соч., т.1, с.125). Вот почему – такова ирония истории – Маркс и Энгельс были яростными проповедниками общеевропейской войны против России);

в) Россия может стремиться к имперско-изоляционистскому статусу на большей части евро-азиатского материка (что предлагал Данилевский). Империя эта – по Данилевскому, федерация – „должна обнять все страны и народы – от Адриатического моря до Тихого океана, от Ледовитого океана до Архипелага... под водительством и гегемонией цельного и единого русского государства” („Вольное слово”, вып.9-10, с.38).

На стороне какой же из этих стратегий лежат симпатии „Вече”? Стратегию „а” редакция – вслед за Данилевским – отвергает. „Россия слишком велика и могущественна, чтобы быть только одною из великих держав” (там же, с.37). Стратегию „б” она – вслед за Данилевским – считает „неестественной”, т.е. не соответствующей теории „культурно-исторических типов”. Что же остается тогда, кроме имперско-изоляционистской стратегии „в”?

**ПЕРВЫЙ ЛИК
„ВЕЧЕ”: ИМПЕРСКИЙ
ЛИБЕРАЛИЗМ**

Западный читатель может быть ошеломлен тем, что столь жестко-изоляционистский, имперский внешне-политический план высказывался (пусть даже не прямо, а зашифрованно) не „ястребами”, а „голубями” русского национализма, людьми, которых я называю — и искренне считаю — либералами в „патриотическом” лагере. И главное, которые сами считали себя либералами.¹⁶ Чтобы понять этот очевидный парадокс, надо прежде всего уразуметь парадоксальную природу самого национал-либерального сознания. Оно вовсе не исходило из параллелизма во внешней и внутренней политике, кажущегося естественным европейскому сознанию. Мы уже видели, что „Вече” резко *отделяет* эти позиции друг от друга. Сейчас нам предстоит увидеть, что он *противопоставляет* их друг другу. И это не изобретение „русской правоты” XX века. Это — традиция, в которой „Вече” следует тому же Данилевскому.

Традиция эта исходит из представления, что сами по себе „политические требования или, лучше сказать, надежды русского народа в высшей степени умеренны, так как... он не видит во власти врага и относится к ней с полнейшей доверенностью”.¹⁷ Иначе говоря, характер русского народа исключает политическую оппозицию. Если же она все-таки существует, то причина тому чисто внешняя: „Все, что можно назвать у нас партиями, зависит от вторжения иностранных и инородческих влияний”.¹⁸ Единственный вывод, который из этого следует, — рекомендация правительству: закройте страну от иностранных влияний, элиминируйте инородческие влияния внутри нее, и вы тотчас убедитесь, что в русском обществе „противоправительственный, противоправительственный интерес вовсе

16 В том же интервью Броунингу на вопрос: „Каково ваше отношение к демократическому движению?” Осипов четко отвечает: „Самое сочувственное. „Вече” и „демократы” совместно воплощают славянофильские принципы внутренней политики — национальной и либеральной” (Архив самиздата, № 1599, с.16.)

17 „Вольное слово”, вып.15, с.27.

18 Там же.

не существует”.¹⁹ В этих условиях некоторые послабления в области гласности и гражданских прав не только будут безопасны для правительства, ибо – согласно Данилевскому в интерпретации „Вече” – никогда не приведут к политической оппозиции, они будут чрезвычайно полезны, так как „отсутствие гласности и конституционных гарантий прав человека препятствуют реализации национальных задач”.²⁰ Иначе говоря, чем больше изоляционизма во внешней политике, тем больше может позволить себе Россия либерализма в политике внутренней. Скажем так: за железным занавесом русское правительство сможет абсолютно доверять своему народу. Больше того, в таких обстоятельствах „русская периодическая печать, будучи могущественной для добра, совершенно бессильна для зла”.²¹ „Это основано на следующих свойствах русского человека: его умении и привычке повиноваться, уважении и доверенности к власти, отсутствии властолюбия, отвращении вмешиваться в то, в чем он считает себя некомпетентным”.²²

Что касается межнациональных отношений внутри „изолированной” империи, то они опять-таки могут быть – согласно „Вече” – вполне либеральны. И это снова исходит из особенных, исключительных свойств русского народа как „исторической нации” и ядра русской империи. Прежде всего, как утверждает „Вече”, ссылаясь на В.Соловьева: „Россия больше, чем народ... Сверхнародное значение России может вытекать только из русской народной сущности”.²³ И далее, ссылаясь на Бердяева: „В русской стихии поистине есть какое-то национальное бескорыстие, жертвенность, неведомая западным народам”.²⁴ Вот почему русская империя никогда не имела ничего общего с презренным западным колониализмом: „Для русской исто-

19 Там же.

20 „Вольное слово”, вып.20, с.5.

21 „Вольное слово”, вып.15, с.27.

22 Там же, с.28.

23 „Вольное слово”, вып.17-18, с.27.

24 Архив самиздата, № 1599, с.7.

рии характерно добровольное присоединение народов к России... Если можно говорить, что русская империя держалась на штыках, то только в том смысле, что русские штыки защищали окраины от притязаний жестоких соседей. Россия умела внушить любовь к себе, в этом был секрет ее могущества".²⁵ Вот почему, „что бы ни говорили о роли инородцев в русской революции, о торжестве нерусской стихии в Октябре... можно твердо верить в одно: новая федерация народов создана была по-русски."²⁶

И здесь опять-таки перед нами две негативные модели, характерные для всей философии „Вече": американская и китайская. И одна модель – в истории и современном мире – позитивная: русская. Что такое американская модель? „Новая нация? Нет, всего лишь „массы людей, не имеющих между собой ничего общего, кроме бешеной жажды наживы и врожденного страха от того, что у них нет никакого национального характера, как бы ни старались они скрыть это друг от друга за громкими изъявлениями преданности американскому флагу”, – утверждает „Вече”, ссылаясь на Фолкнера.²⁷ Что такое китайская модель? „Уничтожение всякого иного [национального] начала вообще”,²⁸ насильственная, в том числе посредством принудительных браков, китаизация всего населения страны.

Принципиально иное дело – империя русская. Здесь господство русской исторической нации основано на ее нравственном превосходстве над этнографическим материалом окраин. Здесь окраины, если они правильно понимают свою этнографическую природу, сами тянутся к русским как к своему историческому центру и источнику высших ценностей: „Если окраи-

25 „Вольное слово”, вып.17-18, с.26.

26 Архив самиздата, № 1599, с.6. Курсив мой, – А.Я.

27 Там же. Не будучи в состоянии идентифицировать эту цитату, я попросил об этом читателей „Русской новой правой”. Джозеф Скворецкий из Торонто написал мне, что тирада, цитированная „Вече”, взята из романа У.Фолкнера „Intruder in the Dust” (Modern Library College Ed., 1964, p.156), и принадлежит одному из персонажей романа, адвокату Гевину Стивенсу.

28 Архив самиздата, № 1599, с.6.

ны видят в центре сосредоточение более высокой по отношению к ним культуры, более высокой... нравственности, национальной терпимости, доброты и щедрости, то они добровольно влекутся к нему".²⁹ Иначе говоря, поскольку оппозиция окраин не принимает политической окраски (а она не принимает ее, если элиминировать „инородческие влияния” в центре), то „Вече” рекомендует самый широкий либерализм.³⁰

Как видим, „Вече” удастся примирить непримиримое: то есть проповедь жесткого изоляционизма во внешней политике с проповедью либерализма в политике внутренней, удастся, по крайней мере теоретически.

СИБИРСКИЙ ГАМБИТ

Либерально-имперская стратегия „Вече” покоилась на глубокой вере в потенциальное превосходство русской нации над всем остальным ми-

ром.³¹ Поэтому, по мнению „Вече”, железный занавес между Россией и Западом — вовсе не самоцель. Он — средство для социального, нравственного и религиозного ренессанса России.

Этот „ренессансный” план „Вече”, насколько он поддает-

29 „Вольное слово”, выл.17-18, с.27.

30 Что касается традиционного „великорусского шовинизма”, который мог бы послужить препятствием такой либерализации, то его, с точки зрения „Вече”, просто не существует. И никогда не существовало. Российская империя вовсе не была „тюрьмой народов”, как гласит либерально-марксистский миф. Напротив, она всегда была братским союзом народов, привлекательным для любой малой нации, находившей в России защиту от своих соседей. Единственным основанием для мифа о России как „тюрьме народов” были „иностраные примеси” — немцы, поляки или грузины, властвовавшие время от времени в империи: „Уместно ли говорить о русском великодержавном национализме? Полноте, русский ли он? Кто был его носителем? Насквозь пропитанный немцами бюрократический аппарат послепетровской монархии? Джугашвили и Дзержинский?” (Архив самиздата, № 1599, с.9).

31 Речь опять-таки идет о старинном славянофильском убеждении: нравственное превосходство русского народа заключается именно в его аполитичности.

ся реконструкции по отдельным фрагментам, исходил из следующих постулатов.

1. „Нация, переселенная в города, обречена на вымирание”,³² „Всякий патриотизм неразрывно связан с любовью к земле, к сеятелю и хранителю земли – крестьянину. Всякий космополитизм столь же неразрывно связан с ненавистью к крестьянству – создателю и хранителю национальной традиции, национальной нравственности и культуры”. „Крестьянин – наиболее нравственно самобытный тип”³³ (М.Лобанов). С этой точки зрения безнадежно урбанизированный Запад обречен. Но для России, „где у каждого, если не мать, то бабушка – крестьянка”, – не все еще потеряно. В России возможна *обратная миграция*, так сказать, деурбанизация общества.

2. „Россия спасается православием. Православие неуничтожимо. Оно Божье Дело, а русский человек может быть только православным”.³⁴ В этом смысле Запад опять-таки безнадежен, а для России опять-таки не все потеряно. Еще возможна если не легальная, то, по крайней мере, фактическая *православизация* общества.

3. Реставрация крестьянской и православной России – вот что окончательно элиминирует „космополитизм” внутри страны и эффективно отгородит Россию от Запада, задыхающегося в городах и безверии. Но возможно ли это в авторитарно-советской России? И если возможно, то как? „Советский режим, как свидетельствует его история, способен идти на уступки под влиянием военных и хозяйственных обстоятельств, но органически не способен отречься от себя в угоду нравственным принципам. Да и уступки он сделает только при сохранении главного – власти”.³⁵

Какая же необходимость может заставить советский режим пойти на такие, гигантской сложности и серьезности ус-

32 „Вольное слово”, вып.17-18, с.30.

33 Там же, с.29.

34 Архив самиздата, № 1013, с.51.

35 „Вольное слово”, вып.17-18, с.10-11.

тупки? „Вече” видит только одну такую необходимость: подготовку к войне с Китаем.

Когда Сталин формулировал свои пять основных условий военной победы, что выдвинул он на первый план как *решающее* ее условие? Крепость тыла. Почему крепость тыла, а не качество вооружений, например, или количество дивизий? Потому что Сталина преследовал страх перед своим народом. И он продолжает преследовать нынешнее поколение советских лидеров, выпускников сталинской академии. Вот почему именно „крепость тыла” превращается в магическую формулу, которую „Вече” рассчитывал сделать рычагом для реализации своей программы. Когда начнется тяжелейшая в русской истории война, советская армия должна иметь за спиной крепкий, сплоченный единой истинной верой тыл, а не сибирскую пустыню. Тыл, способный превратить Сибирь в русскую крепость, способный противопоставить китайскому „людскому морю”, готовящемуся „густой волной покатиться по просторам Сибири”, традиционную патриархальную стойкость русского солдата-мужика и его православный энтузиазм. В этом интересы всех русских патриотов едины.³⁶ И потому, предлагая план создания в Сибири „второй России”, авторы „Вече” считали его вполне реалистичным. Необходимость создания мощного тыла заставит режим, бессильный сделать это бюрократическими советскими методами, согласиться на вольную колонизацию Сибири. „Миллионы энтузиастов”, предводительствуемые „лишенными должности священниками, лишенными работы и общественного поприща инакомыслящими”,³⁷ двинутся на свободные земли и превратят их в новую славянофильскую Атлантиду. Вот почему „только Сибирь могла бы спасти и свободу, и Отечество, и советскую амбицию”.³⁸

36 У меня нет никаких сомнений, что ужас издателей „Вече” перед Китаем был абсолютно искренним. Один из членов редколлегии журнала в личном разговоре жаловался мне, что китайцы в Сибири снятся ему по ночам.

37 „Вольное слово”, вып. 17-18, с. 9.

38 Там же, с. 10.

4. Таким образом, раздел России на европейско-урбанизованную и сибирско-православную – вот ось либеральной утопии „Вече”. Это был сознательный гамбит. Новая азиатская Россия должна была, по крайней мере, временно принести в жертву свою европейскую праматерь. „Сибирь может быть освоена только при наличии жесткого политического противовеса в европейской России”.³⁹

5. Постепенно влияние – и преуспевание – „второй России” изменят и ситуацию в ее европейской части. Ее истинно русский ренессанс, создание совершенно неведомых миру форм крестьянско-православной цивилизации, приведут к преобразованию всей страны, к окончательному триумфу русского „культурно-исторического типа”.

И единственное, что для этого нужно, – разбудить русскую, крестьянско-православную душу в советских лидерах, у которых ведь тоже „если не мать, то бабушка – крестьянка” и притом православная. „Я не думаю, – заявляет Осипов, – чтобы в советском госаппарате не было трезвых голов”.⁴⁰

ВТОРОЙ ЛИК „ВЕЧЕ”: ИМПЕРСКИЙ ШОВИНИЗМ

Специалисты возразят, что вовсе не только изоляционистская доктрина Данилевского вдохновляла „Вече”, но и мессианские идеалы славянофилов и Достоевского, что сколько

угодно можно найти в нем агрессивнo-шовинистических и просто черносотенных материалов в духе „чалмаевщины” или даже национал-социализма И.Шевцова.⁴¹ Все это правда. Но спе-

39 Там же. Впоследствии, как мы увидим, А.Солженицын заимствует это стержневое предложение „Вече” и обнаружит его (впрочем, без ссылки) в своем известном „Письме вождям” – факт, не отмеченный, насколько мне известно, ни одним из биографов Солженицына.

40 „Вольное слово”, вып.17-18, с.10.

41 Вот лишь один образец: „Можно спорить с Шевцовым в оценке силы и роли сионизма в СССР, но при чем же тут вражда к интеллигенции? Разве только сионисты – интеллигенты в нынешней России?”

циалисты возражат не мне, а самому „Вече”, его либеральному лику. Ибо национал-либеральные планы „Вече”, которые мы до сих пор рассматривали, не только не исчерпывали „патриотическое сознание” начала 70-х годов, но едва ли доминировали в нем. С этой точки зрения более всего интересна статья М.Антонова „Учение славянофилов – высший взлет народного самосознания в России в доленинский период”, которой „Вече” открыл спор со своими союзниками справа.⁴²

Критическая задача работы Антонова состоит, во-первых, в доказательстве „противоположности западных и русских воззрений... во всех сферах жизни”,⁴³ во-вторых, в обличении „безродного космополитизма” русской (и советской) интеллигенции как губительного лобби „западных воззрений”.

Разве сам Шевцов не такой же интеллигент, как... актив Коммунистической партии, Советское правительство?” (там же, с.46). Подробнее о доктрине И.Шевцова см.: A.Yanov. Detente after Brezhnev. Ch.III. – “The Right Wing Alternative”. Institute of International Studies, Berkeley, 1977, pp.51-55. См. также ответ редакции „Вече” М.Агурскому, где „захваты Петра и Екатерины” объявляются „воссосединением отторгнутых Швецией и Польшей русских земель” („Вольное слово”, вып.17-18, с.148). Речь при этом идет о захвате Прибалтики и разделе Польши. Советские евреи обвиняются в том, что они „живут в лучших материальных условиях” и „претендуют на привилегированное положение... в России” (там же, с.149-150).

42 М.Антонов – член так называемой „Фетисовской группы”, откровенно просталинской и профашистской, которую наблюдатели обыкновенно относят к течению „национал-большевизма”, хотя члены ее были православными. Напомню читателю, что Фетисов откровенно одобрял „Новый порядок” Гитлера и вышел из партии в знак протеста против десталинизации. Гигантская работа Антонова заняла значительную часть первых трех номеров „Вече”. В конце публикации редакция оговорила, что „личные мнения автора в значительной степени не совпадают с мнением редакции”, и поместила „Мнение оппонента”, полемировавшего с некоторыми выводами Антонова. Тем не менее сам факт, что журнал счел возможным практически начать свое существование с фундаментальной публикации Антонова, что редакция ни словом не подвергла сомнению взгляды автора на Запад, составляющие ядро публикации, что она, наконец, назвала Антонова „последователем и пропагандистом замечательного русского ученого и общественного деятеля А.А.Фетисова”, – сам этот факт неопровержимо свидетельствует, что взгляды Антонова представляют могущественный сектор „русско-патриотического” общественного мнения, игнорировать который для „Вече” было невозможно.

43 Архив самиздата, № 1013, с.25.

Позитивная ее задача сводится к тому, чтобы доказать, „что у ленинизма несравненно больше общего с православием и славянофилами, чем с марксизмом-католицизмом“⁴⁴ и поэтому „лишь *соединение Православия и Ленинизма* может дать то адекватное мировоззрение русского народа, которое синтезирует весь многовековой жизненный опыт народа“.⁴⁵

Либеральное крыло „Вече“, как мы видели, вслед за Данилевским усматривает в Западе, можно сказать, иную биологическую разновидность человечества. Поэтому – при условии железного занавеса – оно относилось бы к „гниению“ Запада и постепенному превращению его в „этнографический материал“ скорее созерцательно, с почти эпическим равнодушием. Антонов относится к Западу (и к представляющим его внутри страны „космополитам“) с нескрываемой ненавистью фанатика-миссионера, призывающего к крестовому походу на язычников. Для него дело не только в том, что „народы и государства Запада отжили свой век и умирают, что они неизбежно скоро погибнут, причем погибнут не от внезапного натиска, а в силу иссякания жизненных сил, – им надоело жить; весь Запад оказался в безысходном тупике“.⁴⁶

Либералы „Вече“ отвечают на это, опираясь на Данилевского: если Антонов думает, что у западных народов действи-

44 Архив самиздата, № 1108, с.45.

45 Там же, с.39. Выделено автором. Читатель, разумеется, помнит, что Ленин был воинствующим атеистом. Вот, например, одно из его высказываний: „Всякая религиозная идея о всяком боженьке, всякое кокетничанье с боженькой есть невыразимейшая мерзость... самая опасная мерзость, самая гнусная зараза“ (сб. „О религии и церкви“, М., 1977, с.31). Исходя из этого я призываю читателя оценить головоломную сложность задачи, которую – впервые в лице Антонова – поставила перед собою „русская новая правая“, пытаясь соединить ленинизм с православием. Само собой, что Антонов персонально потерпел здесь полное поражение. Но идея его жива в „патриотической массе“ и в головах ее идеологов. Кто может знать, какие еще предстоят ей метаморфозы и воплощения? Если действительно ее суть состоит в „детанте“ командной экономики с православной церковью, то почему бы ей, собственно, не реализоваться? Крепостное право тоже, теоретически говоря, несоединимо с христианством. Тем не менее этот „детант“ оказался жизнеспособным в России на протяжении столетий.

46 Архив самиздата, № 1013, с.26-27.

тельно „ложное мировоззрение... и они принципиально не могут поэтому правильно представить себе выход из тупика”,⁴⁷ что ж, таков закон истории, мы все равно не в силах ни помочь этому, ни помешать, аминь. Антонов, однако, делает из этого совсем иной вывод. „Ложное мировоззрение” Запада кажется ему настолько опасным и заразительным (почти как Ленину религия), что оно и Россию ставит на край пропасти. Отчего же? Во-первых, из-за „органических свойств английского характера, которые делают англикано-пуританские круги извечным, неисправимым и заклятым врагом русского народа”.⁴⁸ Но это не главное. Главная опасность — насколько поддается рациональной интерпретации довольно бессвязная статья Антонова — заключается в том, что сами эти англикано-пуританские круги оказываются лишь своего рода исполнительным органом „ложного мировоззрения”, а сущность его — в другом. Не случайно „основателем всей современной западной философии, этой безверной религиозности, был еврей Спиноза”. И не случайно, что „корни сугубо материалистического направления в философии уходят в глубину еврейского народного характера”.⁴⁹

Если Данилевский рассматривал Запад в качестве „двух-основного романо-германского культурно-исторического типа”, то Антонов, если можно так выразиться, рассматривает его скорее как „двух-основный еврейско-пуританский тип”. И беда в том, что одна из этих основ расположилась прямо в сердце России. Она составляет душу ненавистного Антонову „люмпенства” (так почему-то именует он западническую интеллигенцию, которую Лобанов до него прозвал „просвещенным мещанством”, а Солженицын после него окрестит „образованщиной”). Оно, это „люмпенство”, упорно и повседневно, на глазах, так сказать, публики уничтожает Россию. Поэтому начать избавление мира от дьявольского семени надо с уничтожения его у себя дома.

47 Архив самиздата, № 1020, с.18.

48 Архив самиздата, № 1013, с.22.

49 Там же, с.23.

Вот для чего нужен Антонову союз (не вялая осиповская доляльность, а именно союз) с режимом. Для немедленного возобновления „космополитической кампании“, прерванной смертью Сталина. Вот для чего нужно ему соединение ленинизма с православием — как основы реставрации сталинизма. Для расправы с инородцами и „люмпенством“, „В настоящее время, — считает Антонов, — во всех областях жизни русского народа встает одна и та же задача: отбить наступление безродных и космополитических элементов, отбросить навязанные народу чуждые его духу западные формы и вернуться к исконным русским началам, обеспечив их дальнейшее развитие“.⁵⁰

Антонов говорит вместе с А.Хомяковым: „История призывает Россию стать впереди всемирного просвещения“.⁵¹ Но это после, когда будет наведен порядок в собственном доме, когда в центре мировоззрения встанет „идея Москвы как Третьего Рима, как Нового Иерусалима, как воплощения ленинской высшей Правды и Справедливости на земле“.⁵² Тогда настанет черед и для всемирной миссии, т.е. расправы со всем этим еврейско-пуританским „люмпенством“ в глобальном масштабе.

Все это нужно собирать буквально по крохам в огромной (девяносто девять страниц) скучной и перенасыщенной цитатами статье, беспощадно ревизирующей классические постулаты славянофильства, превращающей его из мирной либеральной утопии прошлого века в науку ненависти. Никаких интеллигентских мудрствований, никаких гражданских прав, никакой „второй России“ Антонову не требуется. Не мир несет он, но меч. Таков был второй, шовинистический, лик „Вече“.

50 Архив самиздата, № 1108, с.37.

51 Архив самиздата, № 1013, с.19.

52 Архив самиздата, № 1108, с.38.

КАПИТУЛЯЦИЯ НАЦИОНАЛ- ЛИБЕРАЛИЗМА

Читая журнал „Вече”, обнаруживаешь парадоксальную картину. Группа „штатных” политических писателей, высоколобые либералы осиповского толка, писали длинные за-

шифрованные эссе, искусно придумывали мудреные исторические аналогии, вырабатывали сложнейшие проекты имперского либерализма и „сибирского гамбита”. И в то же время их собственную политическую аудиторию, их читателей и словно бы последователей, обуревали совсем другие, антоновские, страсти. Не идея „сибирского гамбита”, а проблема инородцев волновала читателя, написавшего в редакцию: „Мы, русские, слишком привыкли пасовать, робеть и ступешиваться перед *инородными хамами*”.⁵³ Не гражданские права, а как раз наоборот, тоска по Сталину волновала другого читателя, спрашивавшего: „Вам приходило ли когда на мысль, отчего при Сталине было свободнее православной церкви? Говорят, он даже любил беседовать с патриархом. Задумывались ли вы над тем, отчего по всем церквам служили панихиду по Сталину? По другим не служили, а по нему служили”.⁵⁴ Не идеи имперского либерализма, а вполне антоновская фанатическая ненависть к космополитизму обуревала третьего читателя, восклицавшего: „Космополитизм — это духовное рабство... космополитизм — подготовка пути Антихристу”.⁵⁵ Не лояльности к советской власти, а союза с ней требовал четвертый читатель: „Разве несовместимы русский патриотизм и марксистско-ленинское мировоззрение? Разве не просили считать себя коммунистами солдаты перед тем, как отдать жизнь за Родину? У кого повернется язык назвать их „нерусскими”?”⁵⁶ Не равнодушное — по Данилевскому — созерцание „больного” Запада, а живая ярость сквозила в письме пятого: „Европа — неиспра-

53 Архив самиздата, № 1140, с.168. Курсив мой, — А.Я..

54 Архив самиздата, № 1013, с.15.

55 Архив самиздата, № 1020, с.32.

56 „Вольное слово”, вып.9-10, с.184.

вимая блудница, а Америка — ее безумнейшая и прощальная ночная вакханалия, после которой может быть только разочарование и гибель”.⁵⁷

Политическая база „Вече” бунтовала против его национал-либерального курса. Открыто и страстно навязывала она ему „русско-патриотический” антоновский курс — бей инородцев и соединяйся с властью! Короче говоря, политическая база осиповского журнала оказывалась на деле антоновской. Уже в начале 70-х годов настроение „патриотических масс” переросло интеллигентский либеральный национализм „Вече”.

И самое грустное в том, что Осипов и его либеральные сотрудники драматически отказывались понимать, что происходит. Можно не сомневаться, что, когда Осипов писал: „Письмо Солженицына своим славянофильством и патриархальностью найдет, пожалуй, больший отклик в русском сердце, чем демократические альтернативы интеллектуалов”⁵⁸, он вряд ли осознавал, что подписывает приговор самому себе. Осипов, который провозгласил, что „даже проблема гражданских прав в СССР менее важна... чем проблема умирающей

57 Там же, с.190. Можно было бы привести множество других цитат из читательских писем — от простой информации („Милостивый государь! Хочу обратить внимание читателей вашего журнала на католическую опасность в России, возрастающую по мере того, как современные стихии космополитизма все более растлевают сознание Русского Православного народа”; цит.по: Архив самиздата, № 1140, с.166) до в некотором роде философского трактата („Теория правового государства по своему происхождению всецело прозападная... Суть теории в разделении и противопоставлении законодательной и исполнительно-распорядительной власти, что, по мнению теоретиков, ведет к демократизации государства. На практике же такое разделение оборачивается не демократизацией, а неустойчивостью... совершенной бессмыслицей... Такая диалектика не в духе русской традиционной юрисдикции... [сводящейся к] сосредоточению в одном государственном органе, в одном лице как законодательных, так и исполнительных функций” (цит.по: Архив самиздата, № 1108, с.157-158) и от романтических реминисценций („За веру, царя и отечество!.. Этот крик был самый священный, самый самоотверженный. С ним умирали и надеялись получить Царство Божие... Помните последнюю войну? За Родину, за Сталина — вперед! И это тоже было священо”; цит.по: Архив самиздата, № 1013, с.49) и до торжественных пророчеств („Грядет и уже при дверях Русский день мира!”; цит.по: Архив самиздата, № 1230, с.159), но общей тональности и направления читательской почты „Вече” это, как видим, не меняет.

58 „Вольное слово”, вып.17-18, с.3.

русской нации”,⁵⁹ побеждал Осипова — идеолога лояльной оппозиции, великодушно протягивавшего руку Сахарову. Время ВСХСОНа миновало. Не соединялись больше в „патриотическом” сердце либерализм с национализмом. Надо было выбирать что-то одно. Тот, кто не способен был сделать роковой выбор, должен был политически погибнуть. И Осипов погиб. Погиб — вместе с либеральным ликом „Вече” — еще до того, как был арестован КГБ.

Лучшим доказательством этого служит читательская почта его собственного журнала. То, что цитировалось выше, только цветочки патриотической критики снизу. Ягодки содержались в „Критических заметках русского человека о патриотическом журнале „Вече”, которые Осипов не осмелился даже опубликовать, и анонимный автор которых, последовательно атакуя противоречия национал-либерализма, открыто обвинил журнал в „антипатриотизме” и в „предательстве всего истинно русского и славянского”.⁶⁰

„КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА”

Главное, чего требует автор „Заметок” от „Вече”, — это логической последовательности. Если космополитизм есть действительно самое страшное преступление перед русским народом и человечеством, то как можно забывать при этом, что источник его — космополитическая природа самого христианства? Как можно требовать реабилитации православия, если именно оно исторически „сыграло роль Иуды-предателя и по отношению к *самодержавию* и по отношению к русскому национальному сознанию или, как называли его славянофилы, к *народности*”?⁶¹ Как можно забывать об этой „пре-

59 „Вестник РХД”, № 106, 1972, с.295.

60 „Новый журнал”, № 118, 1975, с.227.

61 Там же, с.220.

дательской роли православного космополитизма, проложившего к нашим дням дорогу сионистским космополитам"? „Если сейчас кому-нибудь и нужно реабилитировать православие, то в первую очередь тем, кто его создавал — сионистам”.⁶²

Тут, разумеется, на сцену выходят идеи „Протоколов сионских мудрецов”, преподносимые автором как неоспоримое документальное обоснование его позиции: „Для себя они создали иудаизм, по которому человечество делится на людей (это только евреи) и на гоев... Для гоев были созданы христианство и ислам — дочерние предприятия от иудаизма с ограниченной ответственностью (по-английски — „лимитед компани”), призванные держать в повиновении перед высшей расой или народом, избранным Богом (т.е. евреями) всех остальных. Гои же, согласно Ветхому завету, должны стать рабами евреев к 2000 году”.⁶³

С этой точки зрения, естественно, что „отношение к сионизму — та лакмусовая бумажка, которая выявляет патриотизм или предательство. Середины нет! Кто не с нами, — тот против нас! Кто не против сионизма во всех его проявлениях, — тот против русских, против славянофилов, против всего честного, что есть на земле. В этом свете журналу, если он действительно хочет сделаться *патриотическим* и *русским* журналом, а не предбанником сионистских инакомыслящих, их бесплатным агентом, следует уяснить, что во всей цепи проблем, стоящих перед русским народом, главным звеном является борьба с сионистским засильем. Ухватившись за это звено (и только за это), можно будет вытянуть всю цепь проблем. Если этого не сделать, сионисты к 2000 году уничтожат русский народ *физически* вместе со всеми его проблемами”.⁶⁴

С точки зрения автора, дилемма проста: в мире происходит драматическая, смертельная конфронтация России и сионизма. Сосуществовать на одной планете они не могут. Русский

62 Там же, с.221.

63 Там же.

64 Там же, с.223.

патриотический журнал, достойный этого имени, не может сохранять нейтралитет в этой борьбе. „Вече”, с точки зрения автора, делает именно это. „Как может русский человек [поверить в патриотизм „Вече”], когда журнал предоставляет свои страницы таким заклятым врагам русских и России, как А.Сахаров и А.Солженицын?.. Журнал оплакивает вместе с сионистским самиздатом Юрия Галанскова... Но за кого боролся Галансков? За тех же злейших врагов России и русских – сионистов, за протоколы процессов сионистской агентуры в овечьей шкуре – инакомыслящих Синявского и Даниэля. Позором для журнала является перепечатка заявлений А.Сахарова, Шафаревича и прочей сионистствующей своры ученых и псевдоученых, воющих о свободе печати... Там, где ее добились формально (США, Англия и др. западные страны), она, эта печать, полностью монополизирована сионистами. Какая же это свобода печати? Нет, уж пусть лучше Главлит, чем такая свобода!”⁶⁵

На кого же работает „Вече”? На Россию или на ее врагов? – этими вопросами задается автор „Заметок”. И отвечает: „Сионистствующие инакомыслящие при поддержке на государственном уровне со стороны конгресса США и правительств других сионизированных стран Запада различными средствами пытаются подорвать нас изнутри, чтобы проложить дорогу детям Израиля к мировому господству. По пути ли с ними *русскому патриотическому журналу*? *Коммунизм и советская власть* (вся социалистическая система) сейчас единственное могучее препятствие на пути шествия сионизма к 2000 году. В авангарде СССР и, следовательно, всей социалистической системы идет русский народ. Спора нет – ему тяжело в цепях сионистского засилья, но еще тяжелее, когда удар наносят в спину русские... еще тяжелее, когда русские люди из благих побуждений организуют самиздатский журнал и бьют доверчивый русский народ камнем по голове”.⁶⁶

Не в том дело, что текст этот звучит истерически, а в том, что он отчетливо демонстрирует, до какой степени „русско-

65 Там же, с.222.

66 Там же, с.227.

патриотическое” сознание 1970-х гг. оказалось прокрустовым ложем для либерализма (пусть даже имперского). Не укладывалась в него ни наивная вера в возможность свободы слова за железным занавесом (ибо „стремление к объективности и так называемой свободе слова ведет к предоставлению страниц как полнокровным, так и полукровным сионистам”),⁶⁷ ни идея деурбанизации и деиндустриализации („ведь мы не одни на планете. Русский народ сократит производство, а сионисты его задушат”),⁶⁸ ни либеральное славянофильство („жили бы они [славянофилы] в наше время, они бы не стали восставать против существующей идеологии и формы правления, а наверняка стали бы их защищать на благо русского народа”).⁶⁹ У „патриотического” читателя совсем другая программа для истинно русского журнала. Вот она.

„Публиковать материалы о никчемности научных работ сионистов-псевдоученых (такие попытки уже делаются. Физик-теоретик Тяпкин доказывает, что культ Эйнштейна был создан бездарными евреями, чтобы повысить свой научный престиж. То же утверждалось Шевцовым). [Публиковать] материалы о выпадах сионистов против честных русских людей... материалы о взяточничестве и развороте сионистов, материалы об их сборищах у синагог... письма с мест о безобразиях внутренних эмигрантов, о захвате жилого фонда в городах, требовать справедливого распределения квартир в пользу коренного населения, задавать органам прокуратуры вопросы, на какие деньги сионистствующие приобретают машины, дачи и т.д., задавать вопросы, почему в том или ином учреждении 90 или 70% евреев, требовать процент поступления в вузы еврейской молодежи, в соответствии с процентом проживающих в стране евреев (а это около 1%).

Требовать, чтобы этот 1% был распространен на все учреждения и предприятия и под лозунгом равенства для всех,

67 Там же, с.224.

68 Там же, с.222.

69 Там же, с.221-222.

никаких преимуществ тем, кто завтра может оказаться в Израиле.

Признать, что журнал... имел расплывчатую, объективно просионистскую платформу. Материалы антисионистского характера придавали журналу лишь видимую объективность... Поэтому журнал против воли себя скомпрометировал как пособник сионистов.

Выходить под лозунгом: „Смерть сионистским захватчикам!” или „Все на борьбу с сионизмом!”

Журналу следует ориентироваться не на верующих, которые своими молитвами Россию от сионизма не спасут, не на подонков типа Сахарова и Солженицына, для которых нужен космополитизм, а не русский народ... [а] на честных партийных, советских, военных работников, на патриотически настроенных деятелей культуры и искусства... и прочих советских людей, коммунистов и беспартийных, имеющих вес и голос в органах управления”.⁷⁰

Не очевидно ли, что с такой программой „патриотическому” читателю нужен был на самом деле вовсе не „Вече”, а „Русский голос”, не Владимир Осипов, а Сергей Шараров, не оппозиция режиму, а союз с ним, не национал-либерализм, а призыв к погромам? На свою беду „Вече” развязал мешок Пандоры — и среди диких ветров, вырвавшихся оттуда, не было ни одного попутного. Все дули ему в лицо, все сбивали с ног, все обрекали на смерть — даже без вмешательства КГБ.

ПРАВОСЛАВНЫЕ И ЯЗЫЧНИКИ...

„Полутчик” русских националистов М.Агурский, опубликовавший „Критические заметки русского человека” в эмигрантском журнале, преварил их своими собственными критическими заметками под названием „Неонацистская опасность в СССР”. Он пишет: „Со-

70 Там же, с.223-224.

71 Там же, с.202, 203.

ветский расизм выступает уже не как атеизм, а как новая форма язычества, точно так же, как выступал германский национал-социализм... Представляется весьма очевидным, что единственной реальной альтернативой для тех, кто действительно хотел бы возродить жизнь России на новой основе, было бы принятие... той гуманистической программы, которую предложил в своем „Письме вождям” Солженицын”.⁷¹ На той же странице Агурский ставит в пример националистам-язычникам „таких русских христианских националистов, как... иеродиакон Варсонофий”.⁷²

О программе Солженицына мы еще будем говорить. Что касается вышеупомянутого иеродиакона, то с ним связано одно из самых зловещих событий в истории „Вече”, так называемое „Письмо трех”, вполне сравнимое по своей черносоотенной ярости с „Критическими заметками русского человека”, но, в отличие от них, опубликованное самим Осиповым еще на заре журнала в № 3 за 1971 г.⁷³

Прежде чем я расскажу о содержании этого письма, — один, связанный с ним эпизод, свидетельствующий о том, до какой степени редакция „Вече”, во всяком случае, ее либеральное крыло, до самого конца не понимала всей глубины своего отрыва от собственной политической базы, всего драматизма того предостережения, которое она получила в „Письме трех”. Д.Поспеловский в статье „Возрождение русского национализма в самиздате”⁷⁴ справедливо назвал „Письмо трех” зловещим документом, уклоном в сторону националистического религиозного расизма. И „Вече” ему ответил. Нет, редакция не оценила разумности и такта в предостережении Поспеловского. Она развязно и грубо высмеяла его, она уверяла (кажется, не только читателей, но, увы, и самое себя), что зарубежный наб-

72 Там же, с.202.

73 „Прошение Поместному Собору 1971”, подписанное священником Г.Петуховым, иеродиаконом Варсонофием Хабибулиным, мрянинном Фоминым.

74 D.Pospelovsky. The Rebirth of Russian Nationalism in Samizdat, — Survey, 1973, No 1.

людателю толкует о пустяках. „Одна-единственная фраза вызвала все негодование, все обвинения в адрес журнала: в преамбуле письма слово „сионизм” соединено союзом „и” со словом сатанизм”.⁷⁵ Птичий грех! Не удивительно, что журнал — на протяжении двух лет — не нашел возможности хоть как-то отмежеваться от такого пустяка, почти описки. Однако я лучше предоставлю читателю судить о том, кто был прав в этом споре.

„Нельзя молчать”, — писали авторы „Письма трех”, — когда общеочевидной стала чрезвычайно возросшая опасность со стороны организованных сил широкого сионизма и сатанизма... Агенты сионизма и сатанизма... искусственно создают трения между Церковью и Государством с целью их общего ослабления... стремясь отравить общество, в особенности интеллигенцию и молодежь, идеями анархического либерализма и аморализма, разрушить самые основы нравственности, семьи, государства”.⁷⁶ Таким образом, не принципиальные разногласия и тем более не антагонизм атеистического государства и православной церкви создают конфликт между ними (слово „конфликт” заменено в „Письме” эвфемизмом „трения”, да и трения эти создаются, по мысли авторов письма, „искусственно”), а исключительно происки „внешней силы”. И сила эта названа по имени. И если бы даже не было союза „и” между „сионизмом” и „сатанизмом”, разве это меняло бы суть дела? Заметим далее, что, как считают авторы „Письма”, зловещая сила эта, будучи по существу своему антиправославной, одновременно ведет „коварную борьбу и против нашего государства извне и изнутри”.⁷⁷ Иначе говоря, враг у советского государства и православной церкви — один.

Но это лишь, так сказать, отрицательное основание для предлагаемого союза. Авторы „Письма” уверены, что у него есть и позитивное основание. А именно — общие цели. В самом

75 „Вольное слово”, вып.17-18, с.166.

76 Архив самиздата, № 1108, с.63.

77 Там же, с.64.

деле, цель православной церкви („спасение человечества от греха и его следствия“) совершенно та же самая, с точки зрения авторов письма, что и цель советского государства („борьба против сил разрушения и хаоса“). Но если цель советского государства (представленного в деле „борьбы с силами разрушения и хаоса“ специальным учреждением, которое авторы „Письма“ не называют по имени, а имя его — КГБ) совпадает с целью церкви, и враг у них общий, то не ясно ли, что речь идет лишь о своего рода разделении труда между ними? То, что не в силах исполнить КГБ, берется сделать церковь как „нравственная сила и опора государства в его благородной борьбе“.⁷⁸

В „Письме“ объясняется также, что может произойти, если государство и церковь *не объединятся* в этой благородной борьбе. И тут под пером авторов вырастает жуткая картина дикого разгула „агентов“ как внутри страны, так и в „сионистских центрах стран Запада, прежде всего в США, где функционирует церковь Сатаны“.⁷⁹ „Агенты сионизма“, — считают авторы, — стараются растлить русский народ. Они отравляют его „космополитизмом“, равно как „неверием и сомнением относительно всех духовных и национальных ценностей“. Все это, впрочем, мы уже слышали многократно. Но вот то, что „агенты“ занимаются „распространением разврата и пьянства“ и даже „умножением аборт“, — это уже нечто неслыханное. Однако, список преступлений на этом не заканчивается. „Агенты“ сионизма способствуют „забвению и небрежности в исполнении семейного, родительского, патриотического долга“, что, тем не менее, не мешает им вести свою убийственную работу также и в области „лицемерия, предательства, лжи, стяжательства и всех других пороков“.⁸⁰

По мысли авторов „Письма“, абсолютно все отрицательные явления в СССР происходят от того, что КГБ недосмотрел

78 Там же.

79 Там же.

80 Там же, с.63-64.

за агентами сионизма. А это в свою очередь объясняется не упущениями славных органов безопасности, а тем, что у них нет надежного союзника и „опоры” в лице церкви. Отсюда ясно как день, что „одной из первых задач нашего времени является изыскание *способов практического сближения* (курсив мой. — А.Я.) с государством”.⁸¹

Я надеюсь, читатель заметил, какой путь прошла „русская новая правая” меньше, чем за десятилетие. Она уже больше не призывает, как ВСХСОН, к „уничтожению охранных отрядов олигархии”. Авторы „Письма трех” публично предлагают себя в помощники этим „охранным отрядам”. И главное, исходит это вовсе не от язычников, но от служителей православной церкви и подписано иеродиаконом Варсонофием, которого „попутчик” Агурский *противопоставляет* как хорошего „христианского националиста” автору „Критических заметок”.

Всю эту концепцию православная редакция „Вече” в своем отпоре Поспеловскому (в одном из *последних* номеров журнала) взяла под свою защиту, великодушно объявив оговоркой, чуть ли не грамматической ошибкой. А между тем это была политика. Воинствующая политика „черной сотни”, альтернативная либерал-националистической программе „Вече”. И это была политика не вне, а внутри „Вече”. Поистине две души жили в душе одной. Ответ Поспеловскому был свидетельством капитуляции национал-либерализма.

ИДЕЙНЫЕ ИТОГИ „ВЕЧЕ”

1. Переход от открытой конфронтации с режимом, возможной в Советском Союзе лишь в форме подпольной антиправительственной организации (ВСХСОН), к статусу лояльной оппозиции, т.е. первая ревизия либерального национализма.⁸²

81 Там же, с.64.

82 Документальным подтверждением этому является декларация Осипова: „Я, в прошлом активный оппозиционер, ныне отказался от политической конфронтации с режимом, одновременно надеясь, что режим не уничтожит меня за мою национально-культурную деятельность” („Вестник РХД”, № 106, 1972, с.295).

2. Принятие в качестве оснований для этой ревизии постулата, согласно которому СССР потенциально находится в ситуации нацистской Германии, перед лицом борьбы на два фронта — с Западом и Китаем.

3. Разделение в этой связи политической позиции надвое: с одной стороны, пассивная оппозиция внутренней политике режима, с другой — активная поддержка его „перед лицом внешней угрозы”.

4. Попытка выработать „сибирский гамбит” как имперско-изоляционистскую стратегическую альтернативу, совмещающую антизападные устремления „русской новой правой” с антикитайской ориентацией.

5. Попытка посредством этой изоляционистской стратегии сохранить основные ценности национал-либерализма, которая окончилась расколом редакции на либеральную „осиповскую” фракцию, ограничивавшуюся поддержкой режима в области внешней политики, и „русско-патриотическую”, стремившуюся выработать предпосылки для тотального сотрудничества с режимом.

6. Осознание русской-патриотической фракцией невозможности совмещения национализма с либерализмом и ее призыв к возобновлению „космополитической кампании” как идеологической основы реставрации диктатуры.

„СЛОВО НАЦИИ”. ФАШИЗМ: ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

„ПРОРЕХИ „НАШИХ МУДРЕЦОВ”

Покуда „Вече” агонизировал под напором „патриотических” страстей своей собственной читательской аудитории, в самиздате появилось „Слово нации” — „Манифест русских патриотов”,¹ суммировавший настроения „патриотических масс” конца 1960-х — начала 1970-х годов.

Как можно было предположить, „Манифест” атаковал не только осиповские либеральные симпатии, но и программу ВСХСОНа. Он откровенно издевался над теоретическими основами этой программы. Анонимные „русские патриоты”, подписавшие „Манифест”, видели в них лишь „бутафорские громы и молнии в адрес бюрократической элиты”(115). Вы говорите, восклицают авторы „Слова нации”, что „эта элита не представляет ни народа, ни какого-либо класса общества, она представляет лишь самих себя. Но позвольте! Ведь такие мысли уже высказывал некогда один, правда, далеко не лучший ум — П.Н.Ткачев. Это ему принадлежит достойное Коперника открытие, будто русское государство висит в воздухе и опирается лишь само на себя. Открытие это было в свое время справедливо осмеяно Энгельсом, но, может быть, теперь положение из-

¹ Манифестом русских патриотов назвал „Слово нации” эмигрантский журнал „Вече” — „Вече”, № 3, 1981, с.107. Далее ссылки на это издание даны в тексте.

менилось и неистинное стало истинным? Увы, этого не произошло. В анализе наших мудрецов по-прежнему гордо зияют прорехи” (115).

Читателю, уже знакомому с программой ВСХСОНа ясно, конечно, каких именно „наших мудрецов” высмеивает „Слово нации”. И когда читаешь дальше, что „демократические институты не несут с собой исцеления, скорее, наоборот, усугубляют болезнь” (130), и сравниваешь это с читательской почтой „Вече”, в душу невольно закрадывается мысль: не кончилось ли время идеологов ВСХСОНа да и Осипова, и вообще имперского либерализма в России XX века? Ибо „патриотические массы”, поддержки которых они искали, поддерживают на самом деле вовсе не их.

НА ПУТИ „ВСЕМИРНОГО РАСПАДА”

„Главная угроза”, – говорит „Слово нации”, – мало кем еще понятая, остается общей: вырождение, вызванное причинами биологического порядка, действующими с тем

большой силой, чем меньше на них обращают внимания, упорно жуя истасканную псевдоистину о главенстве так называемых социальных фактов над биологическими” (107). „Демократия в ее эгалитарном варианте есть одно из следствий вырождения и одновременно его стимул” (108). Бесхребетная западная демократия принесла миру несчастье. Она выпустила джинна из бутылки: желтая и черная расы, освобождение которых от колониальной зависимости „свидетельствует лишь о вырождении некогда могучих народов”, (113) угрожают поглотить арийскую цивилизацию. „Если не принять своевременных мер, мы можем дожить до того, что будем играть роль пешек или, в лучшем случае, пассивных наблюдателей в битве черной и желтой рас за мировое господство” (130). „Должен же где-то воздвигнуться, наконец, вал на пути всемирного распада” (126).

Нет смысла спорить о верованиях. Единственное, чего может требовать читатель от „русских патриотов”, когда они пы-

таются артикулировать темное возбуждение их читательской аудитории, это верности их собственным постулатам, логической непротиворечивости между их посылками и заключениями. Об этом и пойдет здесь разговор. Где и как может быть воздвигнут вал против „всемирного распада“? Откуда придет весть о спасении? „У европейских народов иссякают жизненные силы“ (113). Франция и Германия „сегодня зажаты двумя сверхгигантами, само название которых почему-то зашифровано“ (117). Несмотря на зашифровку, однако, мы отлично знаем, о каких сверхгигантах идет речь. Один из них, США, совершенно очевидно на роль спасительного вала непригоден: „Вкрапленные в американское общество представители [„третьего мира“] устраивают погромы и поджоги, водружают ноги на стол, услужливо подставляемый им либералами, и твердо ведут линию на то, чтобы стать господствующим классом в Америке. Когда англосаксы окончательно утратят чувство национальной гордости и погрязнут в либеральной тине, весь огромный промышленный потенциал США может превратиться в орудие для достижения мирового господства черной расы“ (113).

Сравним эту тираду с цитированным уже письмом в „Вече“, объявившим Европу „неисправимой блудницей“, а Америку „ее безумнейшей и прощальной ночной вакханалией“, которая может закончиться „только погибелью“, и у нас не останется сомнений, от чьего имени говорят „русские патриоты“ в своем „Манифесте“.

Но если Европа и Америка безнадежны, какие же ресурсы остались у арийской цивилизации, чтобы защитить себя от нового нашествия варваров? Естественно, — Россия.

Так, как будто окольным путем — через brutальные расовые выкладки — возвращаются „русские патриоты“ на круги своя, к тому, что полтора столетия подряд не устают повторять пророки русского национализма, от классиков славянофильства до идеологов ВСХСОНа: в России спасение мира.

В самом деле, не удивительно ли, что как бы ни формулировали за последние полтора столетия русские националисты смертельную угрозу нашему бедному миру, всегда каким-то

образом оказывалось, что „у Запада иссякли жизненные силы”, а у России их такой избыток, что она готова к его спасению? Будь эта угроза в „безверии” или в „парламентаризме”, в „мещанской ментальности” или в „американизации духа”, в „метафизической сущности коммунизма” или, наконец, в „биологическом вырождении”, – единственная надежда мира неизменно фокусируется в России.

Как бы то ни было, „русские патриоты”, подписавшие „Слово нации”, – при всех своих биологических и расовых претензиях – остаются в главном русле русской экстремистской националистической мысли с ее провинциальным мессианизмом и верой в уникальные всеспасающие качества России, под которой они, опять-таки рабски повторяя постулаты своих предшественников, естественно, подразумевают империю. „Наш лозунг, – провозглашают они, – Единая Неделимая Россия” (113).

ОШИБКА ГИТЛЕРА

Тут-то и проступает логическое противоречие в их расовой концепции. Они превосходно знают, что не являются пионерами в деле спасения арийской цивилизации. Здесь приоритет безусловно принадлежит Гитлеру. А Гитлер (так же, как отечественные националисты времен гражданской войны, у которых авторы „Манифеста” заимствовали лозунг единой неделимой России), потерпел сокрушительное поражение. Они не смеют забыть, что получили идейное наследство от банкротов. Они должны найти объяснение этому банкротству – и они находят его.

В изображении „русских патриотов” поражение Гитлера было обусловлено не самим принципом расовой войны, но тем, что он изменил этому принципу. Это правда, что „он объявил беспощадную войну вырождению. Но выполнить эту задачу он был не в состоянии, потому что руководствовался вовсе не расовыми принципами, которые провозглашал, а узконациональным эгоизмом, объявляя неполноценными даже наро-

ды, стоящие на том же уровне, что и немцы” (110). Однако если главная ошибка Гитлера, с точки зрения „русских патриотов”, заключалась в подмене расового принципа националистическим, то именно этой подмены они и должны были бы остерегаться как огня. Увы, так же, как и для Гитлера, спасение мира сводится для них в конечном счете к созданию „мощного национального государства, служащего центром притяжения для здоровых элементов всех *братских* [sic!] стран” (130). И „в этом государстве русский народ на самом деле, а не по ложному обвинению, должен стать господствующей нацией” (130). Иначе говоря, авторы „Слова нации” повторяют ошибку, в которой обвиняют Гитлера.

ПРАВОСЛАВНЫЕ РАСИСТЫ

Логическое противоречие в расовой концепции „русских патриотов” усугубляется их отношением к православию. Ибо именно оно (а не христианство вообще) объявляется ими неперменным атрибутом российской империи, а следовательно, спасения мира. „В истории России Православная церковь сыграла огромную положительную роль... дикий антицерковный шабаш был составным элементом похода сил хаоса на русскую национальную культуру. В национальном же государстве, воссоздание которого мы ставим своей целью, традиционная русская Религия должна занимать подобающее ей почетное место” (129).

Эта позиция усугубляет и трудности западных попутчиков русского национализма. Куда, спрашивается, должны они отнести авторов „Слова нации”? В разряд „реакционных расистов” и „национал-большевиков”, как предпочитает называть их Даррелл Хаммер?² Но как тогда быть с известным уже нам определением Дэнлопа, согласно которому именно при-

2 Darrell P.Hammer. Russian Nationalism and the “Yanov Thesis”. – Religion in Communist Land, Winter, 1982, p.313.

верженность к православию отделяет „хороших националистов” от „скверных национал-большевиков”?

„Русские патриоты” далеко не атеисты и не язычники. Они – православные. Более того, православие для них не только высоко почитаемая „традиционная русская Религия” (с большой буквы), но и единственная ветвь христианства, способная спасти мир. Ибо другие его ветви, по их глубокому убеждению, изменив расовому принципу, по существу способствуют „всемирному распаду”: „Сегодня дух зла, замаскировав свои рога под битловской прической, пытается вести свою разлагающую деятельность внутри отдельных ветвей Христианской Церкви иными способами, проповедуя идеологию еврейской диаспоры, эгалитаризм и космополитизм, усугубляя процесс всемирного кровосмешения и деградации” (128).

Достаточно сравнить этот пассаж с „Письмом трех”, опубликованным в „Вече” и подписанным священником и иеродиаконном русской православной церкви, чтобы убедиться в том, из каких кругов вышел „Манифест русских патриотов”.

Не случайно черносотенная – и вполне православная – эмигрантская газета „Наша страна”, впервые опубликовавшая „Слово нации” за границей по-русски, назвала его „началом духовного пробуждения” в России.³ Не может быть сомнения, таким образом, что авторы „Слова нации” – „хорошие” русские националисты, „возрожденцы”, по терминологии Дэнлопа. Парадокс состоит в том, что в то же время они расисты и последователи Гитлера.

Неудивительно, что у полутчиков нет объяснения такому парадоксу: эта теоретическая задача не имеет решения. А „русские патриоты” тем временем продолжают громоздить одно противоречие на другое.

3 „Наша страна”, 18 апр. 1972 г.

КОЕ-ЧТО О „НАЦИОНАЛЬНОМ СВОЕОБРАЗИИ”

„Борьба за национальное своеобразие — часть великой битвы сил жизни и смерти во вселенной” (116). Станным образом, однако, озабочены „русские патриоты” исключительно своеобразием одной-единственной нации — имперской, русской. Они полны скептицизма и яда, как только разговор заходит о национальном своеобразии любого другого народа, входящего в состав империи.

Их беспокоит, что „почему-то искусственно поддерживается существование белорусской нации, хотя сами белорусы себя таковой не ощущают, а белорусский язык представляет собой лишь собрание западно-русских диалектов” (123).

Они искренне обижены тем, что „все так называемые союзные республики имеют свои коммунистические партии, кроме России. Результатом является непропорциональное усиление самой мощной из региональных группировок — украинской” (123).

Два народа вызывают у „русских патриотов” наибольшее раздражение: украинцы и евреи. Казалось бы, то обстоятельство, что эти народы отстаивают свое национальное своеобразие, должно было бы заставить „русских патриотов” видеть в них единомышленников в „великой битве сил жизни и смерти во вселенной”.

Увы, заключения „русских патриотов” опять не следуют из их собственных посылок. Они считают, например, что „целые области Украины правильной было бы отнести к России. Мы уже не говорим о такой вопиющей несправедливости, как передача Украине Крыма, преобладающее русское население которого теперь заставляют учить украинский язык” (124).

Что же касается крымских татар, изгнанных с их исторической родины Сталиным, то их национальное своеобразие настолько не заботит „русских патриотов”, что в их „Манифесте” эта нация вообще не упомянута.

Это едва ли удивительно, если принять во внимание, что даже самостоятельное существование такой мощной нации, как украинцы, не имеет, с их точки зрения, ни малейшего смысла.

„Если бы действительно встал вопрос о самостоятельном бытии Украины, неизбежно потребовался бы пересмотр ее границ. Украина должна была бы уступить [России]: а) Крым; б) Харьковскую, Донецкую, Луганскую и Запорожскую области с преобладающим русским населением; в) Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Днепропетровскую и Сумскую области, с населением в *достаточной степени* (sic!) русифицированным... На что могла бы рассчитывать оставшаяся часть без выхода к морю и без основных промышленных районов, — пусть подумают сами украинцы. Пусть подумают также о претензиях, которые могут предъявить поляки на западные области, население которых настроено полонофильски” (124).

Национальное своеобразие молдавского народа объявляется „смехотворным” (124). „Патриоты” согласны говорить о нем только в связи с „иностранными аппетитами на наши территории” (имеется в виду так называемый „бессарабский вопрос”) (124).

Так же иносказательно упоминают они и о праве России на обуздание взбунтовавшихся народов в ее восточно-европейских владениях (имеется в виду, по-видимому, подавление Пражской весны в 1968 г.). „Те, кто мнит себя понимающим, желали бы претворить это свое ценное качество в узду для государственных деятелей, это они вопят в случае какого-либо, *часто необходимого вмешательства в дела других стран* (курсив мой. — А.Я.) „руки прочь”, уподобляясь жене, которая, услышав на улице крик о помощи, повисает на своем муже и не позволяет ему выйти... Какова же цена такому пониманию? Чем идейный либерал отличается от заурядного обывателя? Смелостью дезертира?” (118).

Формула русских националистов, ставшая классической после того, как В.Михайлов обнародовал ее в книге „Новая Иудея”, гласит: „Еврейская кабала над русским народом — совершившийся факт, который могут отрицать или совершенные кретины, или негодяи, для которых национальная Россия, ее прошлое и судьба русского народа совершенно безразличны”. В полном соответствии с этой традицией „национальной России” „Слово нации” объявляет любую борьбу против империи

„или недомыслием или коварным расчетом кого-то, кому нужно всемирное разложение” (114).

В „Слове нации” не говорится, конечно, о „еврейской кабале над русским народом”. И все-таки, как бы презрительно ни трактовалось в „Манифесте” национальное своеобразие белорусов, украинцев, молдаван или чехов, самые ядовитые строки приберегли они, как и подобает уважающим себя последователям Гитлера, для евреев: „Много шумят об антисемитизме в России. Евреи также претендуют на роль угнетенного русскими меньшинства, а между тем, проводя политику национального кумовства, они чуть ли не монополизировали область науки и культуры. Русская земля еще не утратила способность рождать своих Ломоносовых, но на их пути сегодня стоят очередные немцы, а бедные „привилегированные” русские робко жмутся в сторонке. И упаси Бог задеть!” (125) Это о евреях идет речь в заключении „Манифеста”: „Когда мы говорим „русский народ”, мы имеем в виду действительно русских людей по крови и по духу. Беспорядочной гибридизации должен быть положен конец” (131).

В принципе, согласно „Слову нации”, евреи играют в России ту же роль, что „вкрапленные в американское общество” представители „третьего мира”. Они „водружают ноги на стол, услужливо подставляемый им либералами, и твердо ведут линию на то, чтобы стать господствующим классом”.

НОВЫЕ РУССКИЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

ВСХСОН или „Вече” считали неприличным открыто присоединиться к имперской трактовке вопроса о национальных меньшинствах. Достаточно вспомнить пункт 83 программы ВСХСОНа или критику имперской теории Данилевского в „Вече”. Как бы противоречиво все это у проповедников либерального национализма ни звучало, в их критике все-таки присутствовал протест против бесцеремонного подавления малых наций. „Русские патриоты”, озабоченные „биологическим вырождением” и „всемирным

кровосмешением”, клеймят этот протест „смелостью дезертиров”.

„Манифест” демонстрирует, в каком безнадежном положении оказался либеральный национализм уже в конце 1960-х, как бесперспективны были попытки высоколобых либералов примирить с утонченными политическими схемами дикую шовинистическую тоску „патриотических православных масс” по погромам. Аудитория „русских патриотов” не нуждалась в их схемах. Не „народно-освободительной революции” жаждала она, а крестового похода против отечественного и зарубежного „сионизма и сатанизма”. В „патриотических массах” бушевала тоска по диктатуре, железной рукой пресекающей „беспорядочную гибридизацию”. Вот почему подлинного выразителя своих чаяний могли найти эти массы в „Слове нации”, а не в амбивалентном „Вече” и не в антисоветском ВСХСОНе. Ибо, как свидетельствовала читательская почта того же „Вече”, „патриотические массы” — вполне советские массы. Только поддерживали они советскую диктатуру, а не гнилой советский консерватизм. Они были в оппозиции не к советской *системе*, но к двоедушному брежневскому *режиму*. И в этом смысле, но только в этом, они были революционны.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ ДИКТАТУРЫ

„Революция — переходное состояние — в математике такое состояние обозначается нулем и не имеет ни положительного, ни отрицательного знака... Сами по себе подобные извержения жизненной энергии народа — естественные явления... Сопутствуют они, как правило, периодам наибольшей жизнедеятельности нации. Если в какой-то небольшой части современного мира, принимаемой некоторыми за весь мир, мы не видим таких взрывов, это свидетельствует лишь о том, что она прошла свой кульминационный период и клонится к упадку” (112). Это на Западе „бурные потоки революции... текут в мареммы мещанства”. „Если Россия избегнет такой

судьбы, — а у нас есть все задатки, чтобы ее избежать, — то еще вопрос, чьи жертвы не окупятся” (112).

Только революция „русских патриотов” бесконечно далека от антикоммунистической „народно-освободительной революции” ВСХСОНа. Для нее не нужна „подпольная армия освобождения, которая свергнет диктатуру”. Ибо направлена она не против диктатуры, а *за нее*: „такая задача под силу только диктатуре” (111). „ни о какой конвергенции, ни о какой идейной капитуляции России не может быть и речи” (129). „Поэтому для нас важна... идейная переориентация диктатуры, своего рода идеологическая революция... Мы стремимся к возрождению национального чувства в перемещивающемся мире, к тому, чтобы каждый осознал свою личную ответственность перед нацией и перед расой” (130).

Как видим, „русские патриоты”, точно отражая настроение „патриотических масс”, отвергают вялую брежневскую бутафорию патриотизма, точно так же как отвергли ее одновременно с ними „молодогвардейцы” из „истеблишментарной правой”, говорившие от лица „патриотической молодежи”. Только в отличие от Чалмаева и Лобанова, которым приходилось работать в рамках цензуры, авторы „Слова нации” смогли гораздо более откровенно артикулировать темную черносотенную тоску „патриотических масс” по фашизму.

ИДЕЙНЫЕ ИТОГИ „СЛОВА НАЦИИ”

1. Центр тяжести борьбы Добра и Зла в современном мире перенесен с метафизических высот либерального национализма во вполне земную сферу биологического вырождения человечества. Острые идеологической доктрины направляется на борьбу с инородцами и с „беспорядочной гибридизацией”, угрожающей подорвать положение русских как господствующей в империи нации (и расы).

2. Сохранение империи представлено не только как священная обязанность „русских патриотов”, но и как главное средство спасения цивилизации от „всемирного распада”.

3. Диктатура представлена в качестве единственного институционального устройства, адекватного этой задаче.

4. Главной целью „русских патриотов” провозглашена поэтому „переориентация диктатуры”, национальная и расовая „идеологическая революция”, т.е. фашизация режима.

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН: „ИЗ-ПОД ГЛЫБ”

Я отчетливо осознаю, что, прикасаясь к теме Солженицына — в контексте драмы „русской правой”, — я затрагиваю область тончайшую, интимную и в то же время гигантскую. Прежде всего Солженицын — не Осипов и не Чалмаев. Он — феномен политической реальности Запада. Здесь есть люди, прочитавшие о нем сотни статей и десятки книг. Более того, Солженицына не только знают здесь, у многих связаны с ним личные чувства: его жалели, им восхищались, его любили, от него ждали последней правды о России, в нем разочаровывались, у него учились. У меня нет ни возможности, ни намерения исчерпать здесь „феномен Солженицына” или создать его политический портрет. Это — даже не эскиз к такому портрету. Моя задача бесконечно скромнее: рассмотреть вклад Солженицына и его адептов в формирование идеологии возродившейся „русской правой”.

Но и эта задача невероятно сложна — и страшна — для меня, родившегося и выросшего в России, воспитанного русской культурой, разделившего с нею все доброе и дурное, что дала она миру. Ведь для людей в России (и для меня в том числе) Солженицын был (а для многих еще остается) совестью страны, символом того, на что мы сами не оказались способны. И дело здесь не только в художественном даре или легендарном мужестве, дело еще и в той роли, которую сыграл Солженицын в духовном раскрепощении страны, а значит, и меня самого. И трагедия заключается в том, что этот человек оказался в рядах „новой русской правой”. Я не говорю уже, что сам по себе этот

факт является индикатором громадной мощи, которую имеет правая традиция в русской культуре.

Я спрашиваю лишь: почему?¹ Я хочу, чтобы читатель ясно понял мое отношение к Солженицыну. Оно заключается в этом вопросе: почему человек, который так много для меня сделал, потом предал меня? И не только предал, но и проклял вместе с проклятой им русской интеллигенцией?

Вот почему солженицынские главы этой книги написаны, как спор, как исповедь, как поиск ответа на роковой для меня вопрос. Как критика солженицынской критики. Роль эта тяжела мне. Но и отказаться от нее я не могу, кроме всего прочего, еще и потому, что этой неуступчивости научил меня он сам.

НРАВСТВЕННОСТЬ И ПОЛИТИКА

Солженицын, конечно, остается в русле русской литературной традиции, когда выступает в роли политического пророка. Соответственно, разделяет он и политический инфантилизм этой традиции. И Гоголь, и Достоевский, и Толстой — при всем различии их доктрин — исходили из одного постулата. Все они примеряли к *относительной* политической реальности *абсолютные* критерии морали, с торжеством констатировали несоответствие — даже не замечая, как легка и бесплодна их победа, — и делали вывод, что никакой разницы между авторитаризмом и демократией, с точки зрения заветов Господних и нравственного совершенствования личности, — нет.

Иначе говоря, все они описывали сферу политики в терминах морали.

1 Меня не удовлетворяют наивные объяснения, предлагаемые, например, Д.Боулингом в письме в редакцию американского журнала „Комментари“ (1974, № 12, с.14), что у Солженицына „душа русская, а не западная“, и поэтому он „не может быть понят в западных терминах“. Это объяснение слышал еще в прошлом веке Чаадаев от Языкова и Герцена от Булгарина. Все русские реакционеры всегда обосновывали свою приверженность к авторитаризму своей „загадочной русской душой“, которую Западу не дано постичь в его западных терминах.

Точно так же, как французские просветители считали, что религия — массовое тысячелетнее глобальное мошенничество, насаждаемое кастой профессиональных церковников, так и русские писатели всегда были уверены, что политика есть принципиальный аморализм и обман, насаждаемый кастой профессиональных политиканов. Поэтому конструируемый ими специально русский путь спасения человечества всегда заключался не в установлении контроля общества над политикой, а в *устранении* общества от политики, что, естественно, предполагало согласие на авторитаризм.

И столь же естественным результатом соединения неутолимой страсти к политическому пророчеству с политическим инфантилизмом всегда была утопия. Причем утопия реакционная, пытавшаяся возвести традиционную отсталость русской политической культуры в степень вершины и венца человеческой мысли.

Ну вот вам цитата: „У вас [у вождей СССР] остается неколебимая власть, отдельная сильная замкнутая партия, армия, милиция, промышленность, транспорт, связь, недра, монополия внешней торговли, принудительный курс рубля, — но дайте же народу дышать, думать и развиваться!.. Народ желает для себя одного: свободы жизни, духа и слова. Не вмешиваясь в государственную власть, он желает, чтобы государство не вмешивалось в самостоятельную жизнь его духа..”²

Не правда ли, эта тирада звучит так как будто она написана одной рукой? Между тем, только первая ее часть принадлежит Солженицыну. Вторая была обращена к совсем другим вождям и совсем в другие времена. Сто тридцать лет назад Константин Аксаков рекомендовал вождю православного государства буквально то же самое, что Солженицын рекомендует вождям советским: возьмите себе *всю* власть, а народу дайте *всю* свободу. Народ не будет вмешиваться в политику, — обещают Аксаков и Солженицын, — он желает лишь свободно „дышать, думать и развиваться”. Ибо только устранившись от

² А.Солженицын. Письмо вождям Советского Союза. Париж, Имка-пресс, 1974, с.49; К.Аксаков; цит.по: Теория государства у славянофилов. СПб., 1898, с.41.

политики, — считают и Аксаков и Солженицын, — может народ реализовать свою нравственную сущность. Увы, как свидетельствует история, там, где народ не контролирует правительство, там правительство контролирует народ, не давая ему ни дышать, ни думать, ни развиваться.

Тема обоих писем — одна и та же. Вопросы, которые задают их авторы, совпадают. И ответы совпадают тоже. А Россия все там же, где была столетие назад — во лжи. Приходит ли эта поразительная аналогия в голову Солженицыну, когда он повторяет советы своих учителей, уже продемонстрировавшие свою непригодность?

ИЗ-ПОД ГЛЫБ

В конце 1960-х годов либеральные националисты оказались генералами без армии. Армия, однако, своих генералов не контролирует. И уроком „Вече” так же, как и „Словом нации”, они пренебрегли.

В середине 1970-х годов авторитет Солженицына и мужество его адептов сделали возможной еще одну — и, вероятно, последнюю, — яркую вспышку национал-либеральной мысли. Более того, интеллектуально самиздатовский сборник „Из-под глыб” по сравнению с „Вече” был несомненным шагом вперед либерального национализма. Ему не пришлось конституироваться в „лояльно-оппозиционное издание”, и потому авторы его были свободны как от негласного давления советской цензуры, так и от тяжелой зависимости от „патриотических масс”. У них не было необходимости прибегать к традиционному индизимитивным методам лояльно-оппозиционной русской прессы и говорить с читателем на языке подтекстов и аллюзий.

Солженицын был прав, когда сказал: „Коллективного сборника такого объема, серьезности основных поставленных проблем и решительности их трактовки, в полный разрез с официальной установкой, не было в Советском Союзе за 50 лет”.³

3 „Вестник РХД”, № 112-113, с.226.

Но кроме того, у этого, скажем, „из-под глыбовского” течения национал-либерализма была еще одна, быть может, более важная особенность. Оно претендовало на независимость не только от цензуры (и сверху, и снизу), но и от старых учителей. Ни Данилевский, ни Хомяков не были для него абсолютными авторитетами. Авторы „Из-под глыб” сами себе были Аксаковыми и Бердяевыми. В их лице „русская правая” постсталинской России попыталась встать на собственные ноги, теряя тот оттенок вторичности, который так характерен для ВСХСОНа и „Вече”. Она творила свои метафизические, религиозные, социальные и политические концепции самостоятельно, творила их заново. И тут-то поджидала ее коварная ловушка, которую я назвал бы „эффектом повторяемости” в русской истории. Ибо на примере сопоставления рекомендаций Солженицына и Аксакова, пороха она — при всем своем мужестве — не изобрела. Потому что — самостоятельно и независимо — она пришла к выводам аналогичным, чтоб не сказать идентичным тем, к которым столетием раньше, в совершенно, казалось бы, иных исторических условиях, пришли ее прародители-славянофилы.⁴ Это станет, я надеюсь, очевидно, как только мы обратимся к анализу эволюции политических взглядов главного автора сборника „Из-под глыб”.

ЭВОЛЮЦИЯ ДОКТРИНЫ

В начале семидесятых, когда Солженицын писал свое „Письмо вождям”, он, судя по многим признакам, вовсе не был еще убежден ни в безнадежности западной демократии, ни в том, что авторитаризм — судьба России на веки вечные. С тем Солжени-

4 Как бы ни толковать это поразительное совпадение, для меня оно еще раз — экспериментально — подтверждает мои центральные гипотезы: а) политическая система, утвердившаяся в России в результате первой контрреформы („революции сверху”) Ивана Грозного в середине шестнадцатого века, развивается не поступательно, а спиралеобразно; б) на каждом новом витке исторической спирали однородным течением мысли приходится начинать свое развитие заново, естественно, проходя при этом все этапы, которые прошли аналогичные течения в предыдущем историческом витке.

цыным, казалось, еще возможна была дискуссия, он словно бы только нащупывал свою политическую доктрину. Он и сам говорит в „Письме”, что „готов тотчас и снять [свои практические предложения], если кем-нибудь будет выдвинута не критика остроумная, но путь конструктивный, выход лучший и, главное, вполне реальный, с земными путями”.⁵

Это правда, что в „Письме” есть глава „Запад на коленях”, где говорится о „многостороннем тупике” и даже о „гибельном пути западной цивилизации”. Тем не менее в нем признается: „наиболее вероятно все же, что западная цивилизация не погибнет. Она столь динамична, столь изобретательна, что изживет и этот нависающий кризис”.⁶ Иначе говоря, хотя Запад и живет „вековыми ложными представлениями”, но все-таки он не безнадежен. Да и по поводу авторитарного будущего России сказано в „Письме” сдержанно и даже скорее вопросительно: „Так, может быть, следует признать, что для России этот путь [борьбы с авторитаризмом] был неверен и преждевремен? Может быть, на обозримое будущее, хотим мы этого или не хотим... России все равно сужден авторитарный строй? Может быть, только к нему она сегодня созрела?”⁷ Я бы сказал, что это вполне рассудительная и прагматическая точка зрения, в которой с непривычной западному уху экспрессией утверждаются три, по-моему, вполне бесспорные истины.

1. Демократия несовершенна. Она нуждается в дальнейшем развитии. Она способна к такому развитию.

2. Переход от авторитаризма к демократии требует времени и опыта. Сейчас Россия к нему не готова. Поэтому в обозримом будущем ее ожидает не демократия, но авторитаризм.

3. „Все зависит от того — какой авторитарный строй ожидает нас”.⁸

5 А.Солженицын. Письмо вождям. с.5

6 Там же, с.17, 21.

7 Там же, с.45.

8 Там же.

Этот последний пункт кажется мне наиболее важным. В самом деле, даже воинственная Джин Киркпатрик признает, что авторитарные политические системы существенно различаются между собою⁹ и что, следовательно, возможна типология авторитаризма. Другое дело, что Киркпатрик, так же как Солженицын, сводит эту типологию к плоскому черно-белому противостоянию коммунистического и антикоммунистического авторитаризма. Но здравое зерно в ее рассуждениях, разумеется, есть.

Как свидетельствует, в частности, история России, авторитарная система, утвердившаяся в ней за последнее полувековье, в отличие, скажем, от английского или французского абсолютизма, не содержала в себе потенций перехода к демократии. Напротив, она последовательно — в серии контрреформ — закрывала пути этого перехода и, таким образом, может быть определена как антидемократический авторитаризм. В то же время, как свидетельствует вся европейская история, переход от авторитаризма к демократии возможен — и в теории, и на практике. Следовательно, кроме авторитаризма антидемократического, должен существовать и авторитаризм иного типа, т.е. такой, который, в принципе, не блокирует пути перехода к демократии. Если это так, то действительная проблема, стоящая сегодня перед русским — и мировым — интеллектуальным сообществом, заключается в том, чтобы исследовать возможные пути перехода России от авторитаризма антидемократического к авторитаризму, способному, в свою очередь, перейти к демократии. Для этого нужно, например, очень внимательно присмотреться к тому, что происходило в хрущевской России (и опять начинается в горбачевской), и к тому, что происходит сейчас в Венгрии или в Китае, где становой хребет сталинской экономической системы, т.е. русско-советской модели, постепенно расплавляется в огне конструктивной реформы.

Таким образом, если Солженицын начала 70-х годов действительно искал „выход лучший, реальный, с земными путя-

9 J.Kirkpatrick, Dictatorship and Double Standards, New York, Simon & Shuster, 1984.

ми”, в его распоряжении был конструктивный опыт русской – и советской – реформы, которая, правда, не пыталась вводить демократию, но зато предлагала стратегию движения общества *по направлению к демократии*.

Таков, если спорить с солженицынским „Письмом”, мог бы быть *критерий* для оценки любых оппозиционных стратегий в России, включая и его собственную. Под углом зрения этого критерия было бы уже сравнительно легко, присмотревшись к истории Европы, обнаружить, с чего начинался в ней реальный процесс *ограничения власти* и движения в направлении к демократии. Движущей силой и принципиальным носителем этого ограничения всегда, без единого исключения, был *средний класс*, образующийся в результате фундаментальных социально-экономических преобразований, т.е. именно того, чем занимаются сейчас Кадар в Венгрии и Дэн в Китае. Во всяком случае, без сильного среднего класса перехода к демократии быть не может – таков главный и неоспоримый урок мировой истории. Если бы Солженицын учел этот урок, ему стало бы ясно, что его собственное предложение – начать преобразование авторитаризма, обратившись к мистике „русской души” советских вождей, есть путь наименее „земной” и наименее „реальный”.

Всем этим я хочу лишь показать, что главный вопрос солженицынского „Письма” („какой авторитарный строй ожидает нас”?) был вполне правомерен и что дискуссия с его автором в начале семидесятых могла быть и в самом деле возможна. К сожалению, она не состоялась. И в Солженицыне середины 70-х годов – авторе ответа Сахарову, опубликованному в сборнике „Из-под глыб”,¹⁰ – мы встречаем уже совсем другого человека: не строгого, но доброжелательного критика Запада, размышляющего о „преждевременности” демократии в России и открытого для встречных взглядов, но автора отчетливой и жесткой политической доктрины, обрекающей Россию на авторитарное иго до скончания века. Этот Солженицын больше не

¹⁰ А.Солженицын. На возврате дыхания и сознания. – В сб. Из-под глыб. Париж, Имка-пресс, 1974.

ищет ответа на свои прежние „мучительные вопросы”. Он обрел истину, он возненавидел инакомыслие до такой степени, что опустил до клеветы на своих оппонентов, до откровенной лжи во имя дела, которое считает правым – и в этом смысле больше не отличается от своих оппонентов в Москве.¹¹

КОНЦЕПЦИЯ ПРОСВЕЩЕННОГО АВТОРИТАРИЗМА

Солженицын повторяет славянофильские догмы почти буквально, лишь соблюдая приметы времени, лепя, так сказать, адекватный образ эпохи. Прежде всего он вводит тему внутренней равноценности обеих систем – демократической и антидемократической. И оказывается, что это просто „два страдающих пороками общества”.¹² Пороки у них разные, но приговор один – смерть

Иначе говоря, будущего нет не только у „антидемократического” авторитаризма, его нет и у демократии. Отсюда девальвация свободы – интеллектуальной и политической – как исторической цели нации. „Уж Запад-то захлебнулся от всех видов свобод, в том числе и интеллектуальной. И что же, спасло это его? Вот мы видим его сегодня: на оползнях, в немощи воли, в темноте о будущем, с раздерганной и сниженной

11 Сошлюсь лишь на свой пример. Солженицын сообщает читателю, что мне „ненавистно все русское”, а также, что я был „коммунистическим журналистом в Москве 17 лет подряд, никому не известным”, поскольку „печатался только в „Молодом коммунисте” и мельче”. Семнадцать лет – откуда эта цифра? В моей биографии ничего подобного нет. Совершенно очевидно, что Солженицын ее придумал. Но почему бы не сказать десять или двадцать лет? Надо полагать, потому что неожиданная, некруглая цифра звучит правдоподобней, создавая впечатление, что автор может подтвердить ее документально. Этот старый испытанный прием порожден сталинской террористической системой, где правдоподобный донос мог человека убить.

12 А.Солженицын. На возврате дыхания и сознания, с.20

душой".¹³ Это — что касается свободы интеллектуальной. Что же до политической свободы с ее многопартийной парламентской системой, то и в ней Солженицын теперь усматривает уже только „истукана“, т.е. идола, констатирует только ее „опасные, если не смертельные пороки“, ведущие к тому, что „западные демократии — в политическом кризисе и духовной растерянности“¹⁴ — и приходит к заключению, что „общество, где действуют политические партии, не возвышается в нравственности“.¹⁵

Но это еще не все. Одновременно с уничтожением Запада неудержимо возвышается нравственная ценность авторитаризма. Именно на этой почве возникает и все сильнее звучит традиционно-славянофильский, но заново открытый для себя Солженицыным образ „двух свобод“ — внутренней и внешней. Оказывается, что „свою внутреннюю свободу мы можем твердо осуществлять даже и в среде внешне несвободной“.¹⁶ И больше того, именно при авторитаризме „сопротивление среды награждает наши усилия и большим внешним результатом“.¹⁷ Стало быть, не демократия, но авторитаризм ведет кратчайшим путем к внутренней свободе, провозглашаемой теперь целью „исторического развития нации“. Отсюда уже один логический шаг к неожиданному в устах Солженицына признанию: „Государственная система, существующая у нас, не тем страшна, что она не демократична, авторитарна... в таких условиях человек еще может жить без вреда для своей духовной сущности“.¹⁸ Но если в демократических системах чело-

13 Там же, с.21. Сравните: „Посмотрите на Запад. Народы... увлеклись тщеславными побуждениями... поверили в возможность правительственного совершенства, наделали республик, настроили конституций... и обеднели душою... готовы рухнуть каждую минуту“. Это Иван Аксаков. (См.: Теория государства у славянофилов. Сб.статей. СПб., 1898, с.31.)

14 А.Солженицын. На возврате дыхания..., с.25.

15 Там же, с.22. Курсив мой, — А.Я.

16 Там же, с.25.

17 Там же.

18 Там же, с.27.

век не может „жить без вреда для своей духовной сущности”, а в авторитарных — может, то, каким, спрашивается, системам должно быть отдано предпочтение? Какие системы здоровее для „внутренней свободы” и „нравственного возвышения”?

Вот он, логический путь для оправдания „внешней несвободы”. Вот она, вполне аксаковская концепция просвещенного авторитаризма, при котором, с одной стороны, правительство концентрирует в своих руках всю полноту власти над обществом, а с другой — заботится о его нравственном возвышении.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Как, однако, обосновать эту странную для человека с репутацией великого борца за свободу, капитуляцию перед авторитаризмом? Конечно, как всякий уважающий себя русский писатель, Солженицын имеет по этому поводу своего рода историческую концепцию.

С одной стороны, негодность западной демократии как образца и модели будущей России объясняется секулярностью европейской культуры. „Это главным образом результат исторического, психологического и нравственного кризиса всей той культуры и системы мировоззрения, которая зачалась в эпоху Возрождения и получила высшие формулировки у просветителей XVIII века”.¹⁹

С другой стороны, негодность коммунистического авторитаризма в СССР как образца и модели будущей России объясняется его нерусским происхождением. Оказывается, что он вовсе не результат русской истории. Он лишь результат того, что „темный вихрь передовой идеологии [марксизма] налетел на нас с Запада”.²⁰ „На самом деле... советское развитие — не продолжение русского, но извращение его, совершенно в

19 А.Солженицын. Письмо вождям..., с.11.

20 Там же, с.17.

новом, неестественном направлении, враждебном своему народу".²¹ Вот почему „термины „русский” и „советский”... не только... не равнозначны... но — непримиримо противоположны, полностью исключают друг друга”.²² На самом деле „тысячу лет жила Россия с авторитарным строем — к началу XX века еще весьма сохраняла и физическое и духовное здоровье народа”.²³

Людам, которые дышали русским воздухом и немножко читали русских классиков, такой способ мышления знаком до мелочей. „Кто виноват?” — традиционный русский вопрос. Еще в конце семнадцатого века стрельцы бунтовали потому, что „идут к Москве немцы, последуя брадобритию и табаку, во всеовершенное благочестия ниспровержение”.²⁴ Кто читал М.Н.Каткова, знает, что во всем виноваты поляки. Кто читал Шарапова, знает, что евреи виноваты. От Солженицына мы слышим, что виноват Запад (это, впрочем, мы уже слышали и от Чалмаева и от Антонова).

Но даже если принять этот глубоко унижительный для русского народа способ мышления, изображающий его беспомощным слепцом, готовым следовать любому поводырю, то и тогда остается необъясненным самое главное. Каким это образом „темный вихрь” охватил не Запад, который, как мы уже знаем, с шестнадцатого века живет в непрерывном „историческом, психологическом и нравственном кризисе”, где „пассивная обреченность большинства”, где „слабость правительств и паралич защитных реакций общества”, где „духовная растерянность, переходящая в политическую катастрофу”,²⁵ а, наоборот, Россию, которая никакого смертоносного

21 „Вестник РХД”, № 118, с.170.

22 Там же.

23 А.Солженицын. Письмо вождям..., с.45.

24 Цит.по: А.Янов. Загадка славянофильской критики. — „Вопросы литературы”, 1969, № 5, с.91.

25 „Вестник РХД”, № 117, с.139.

Ренессанса никогда не переживала, в кризисе не была и вообще „к началу XX века еще весьма сохраняла и физическое и нравственное здоровье народа“? Почему ни одна прогнившая демократия в мире не поддалась „темному вихрю“ (кроме тех, что втянуты были в него силою), и только авторитаризм поддался — и в России, и в Китае, и на Кубе, и во Вьетнаме — всюду?

Казалось бы это элементарное соображение должно заставить ищущего истину мыслителя, по крайней мере, задуматься. Но ищет ли Солженицын истину? Или только оправдание своей политической концепции? Если так, то ищет он невозможного. Русская история его концепцию не подтверждает. И это доказали, между прочим, те же самые славянофилы, которых он так страстно защищал и так невнимательно читал. Это они, как мы знаем, называли православную империю „правительственной системой, делающей из подданного раба“, это они называли ее „типом полицейского государства“. Впрочем, критикуя российский „душевредный деспотизм“, они тоже считали его результатом „темного вихря“ с Запада. Только злодеем русской истории был у них, естественно, не Ленин с его коммунизмом, а Петр Первый с его „полицейским государством“, скопированным с европейских образцов. Вот когда, говорит Аксаков, пришел „темный вихрь“ на русскую землю, а до Петра она „весьма сохраняла физическое и нравственное здоровье“. Так кто же прав — Солженицын или его духовный прародитель? На чьей совести „темный вихрь“ — Ленина или Петра?

Однако, если верить Григорию Котошихину, сбежавшему в середине семнадцатого века в Швецию и написавшему там книгу об ужасах *донетровской* России, оба неправы. А если обратиться к письмам Андрея Курбского? К письмам, в которых с потрясающей силой описаны произвол и бесчинства первого, выражаясь современным языком, массового террора в России в середине шестнадцатого века? Или к „Временнику Ивана Тимофеева“? Или к „Истории Российской“ князя Михаила Щербатова, который именно вторую половину шестнадцатого века назвал временем, когда „любовь к отечеству затухла, а

место ее заступили низость, раболепство, старания о своей токмо собственности”²⁶ Можно ли будет после этого говорить, что это тогда „нравственно возвышалась Россия”? А если не тогда, то когда?

Таково уж свойство всех русских консервативных утопий, что, говоря о настоящем, достигают они вершин национальной самокритики, а золотой век нации видят в прошлом — одни до Сталина, другие до Ленина, третьи до Николая, четвертые до Петра, неизменно виня во всех российских бедах кого-то стороннего. Но никогда не винят они авторитарную природу русской политической системы, тот проклятый антидемократический авторитаризм, который не дает стране вырваться из заколдованного круга реформ и контрреформ, громоздя одну волчью диктатуру на другую: Николая на Петра, Ленина на Николая, Сталина на Ленина. Искать в этой трагической истории обоснования просвещенного авторитаризма все равно, что искать философский камень.

РЕЛИГИОЗНОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Все это вовсе не академические рассуждения на темы русской истории. Из этого прямо вытекают актуальные политические стратегии. В самом деле, если СССР действительно не имеет ничего общего с Россией, если он „не продолжение ее, а извращение”, т.е. нечто внешнее для нее, то естественно противопоставить советскому тоталитаризму здоровую национальную традицию просвещенного авторитаризма. Более того, естественно и даже просто необходимо изолироваться от Запада, не дожидаясь нового „темного вихря”. Короче говоря, естественно жить по собственным, отдельным от мира законам, ища своего „особого пути в человечестве”.

С точки зрения обычного здравого смысла, которым руководился в прошлом веке позитивист Данилевский, возвед-

²⁶ М.М.Щербатов. История российская с древнейших времен. т.5, СПб., 1903, с.832.

ший изоляционизм в естественный исторический закон, такого обоснования авторитарно-изоляционистской стратегии вполне достаточно. И журнал „Вече” уже в наше время был им удовлетворен.

Но для Солженицына и как для христианина, и как для политика этого уже мало. В эпоху „православного возрождения” в России он не может позволить себе роскошь взять в учителя позитивиста. Ему надо еще объяснить, как обстоит дело с точки зрения метафизики, с точки зрения христианского сознания, с точки зрения православия. Ибо как иначе привлечь на сторону авторитарно-изоляционистской стратегии растущие слои православной интеллигенции, как иначе заставить работать на эту стратегию само православное возрождение? Короче говоря, для Солженицына — это политический императив. Он должен ответить на вопрос, может ли авторитарно-изоляционистская стратегия получить не только историческую, но и религиозную санкцию? Оправдана ли она с позиций христианства, которое, что ни говори, по существу своему универсально и для которого „несть ни эллина, ни иудея”? Поэтому нас не должно удивлять присутствие в политическом сборнике „Из-под глыб” молодых друзей Солженицына, чьи страстные метафизические трактаты призваны теоретически обосновать авторитарно-изоляционистскую стратегию в наше время, подобно тому, как в прошлом веке это сделал Данилевский.

В блестящем эссе „Нация-личность” В.Борисов рассказывает драматическую историю о крушении мифа „гуманистического сознания”, для которого „свобода человеческой личности и единство мира [были] альфой и омегой”.²⁷ На самом деле для этого, по мнению Борисова, „нет никаких достаточных рациональных оснований”,²⁸ ибо „личность в своем первоначальном значении есть понятие религиозное и даже специфически христианское”.²⁹ Вообще „индивидуум — это раздроб-

27 В.Борисов. Нация-личность. — В сб.: Из-под глыб. Париж, Им-ка-пресс, 1974, с.201.

28 Там же, с.203.

29 Там же, с.208.

ление природы, самозамыкание в частности и ее абсолютизация... это воплощенное отрицание общей меры в человечестве и потому индивидуумы непроницаемы друг для друга. В противоположность индивиду личность... не дробит единой природы, но содержит в себе всю ее полноту".³⁰ Не содержа в себе необходимой „полноты”, презренный индивид, естественно, не может претендовать на то, что он личность. К счастью, с другой стороны, существует нечто, эту полноту содержащее, – а именно: „нация как личность”,³¹ „нация как целое”,³² без которой индивид не может иметь ни самостоятельного значения, ни самостоятельной ценности.

Подтверждается это, в частности, „в событиях дня Пятидесятницы, когда Св.Дух снизошел на апостолов, и они получили дар говорения *на разных языках*".³³ Борисов не утверждает, что все это уже осознано человечеством, пока, к несчастью, еще находящимся в плену у секулярного гуманизма. Нет, это „лишь принципиальная установка христианского сознания”. Однако он полон оптимизма. Поскольку установка эта „подлежит реализации в человеческой истории”. Поскольку „каждый народ должен стремиться к осуществлению полноты своей личности”. Поскольку он твердо убежден, что „нация есть один из уровней в иерархии христианского Космоса, часть неотменимого Божьего замысла о мире”.³⁴

Рискуя профанировать метафизический пафос трактата Борисова, скажем попросту, что смысл его таков: человечество квантуется, так сказать, не отдельными индивидами, как наивно полагало до сих пор гуманистическое сознание, а нациями.

К статье Борисова примыкает эссе Ф.Корсакова „Русские судьбы”, где разговор о „нации-личности” переносится с мета-

30 Там же, с.210.

31 Там же, с.206.

32 Там же, с.207.

33 Там же, с.209.

34 Там же, с.211.

физических высот иерархии Космоса на грешную русскую землю. В страстном, темпераментном, символическом потоке речи, почти стихотворении, выясняет он несовместимость „Бога Авраама, Исаака и Иакова” с „Богом философов и ученых”, ибо „все мудрствования просветительства дали лишь Конвент и гильотину”, ибо „за вздором интеллигентского морализма”, „за современной гуманистической фразеологией” все тот же „черт с рогами и копытами”, все та же „антихристова структура”. От необходимости понимания, от свободы думать самостоятельно — которая есть, по Корсакову, гордыня и, следовательно, первый смертный грех, — прежде всего должен отречься интеллигент, чтобы приобщиться к Истине. (Иначе говоря, он должен перестать быть интеллигентом.) Ибо без этого отречения никогда не сможет он поверить, что „именно православие, только оно одно истинно”, что „все остальные христиане, а также неверующие... находятся во лжи, прелести и в дьявольском наваждении”.³⁵ Далее из статьи Корсакова узнаем мы, что загадка уникальности православия связана с загадкой уникальности русской нации, которая не только уму непостижима, но и коренным образом отличается от „всего остального мира, существующего в совсем иной — разомкнутой структуре”.³⁶ Кроме того, „все бьющие в глаза преимущества той, якобы свободной, разомкнутой системы, бесконечно уничтожают себя”, „тогда как здесь все остается с нами”.³⁷ Короче говоря, искомая Истина „сливается” с Россией.³⁸

При моем безнадежном невежестве в вопросах иерархии Космоса, посмею ли я оспаривать интерпретацию Пятидесятницы, предложенную Борисовым, или измерение мощности дьявольского наваждения, в котором, согласно Корсакову, пребывает девяносто семь процентов человечества? Меня интересует лишь политическая функция изложенных здесь вкратце вполне схоластических произведений. А она, по-моему, очевид-

35 Там же, с.165.

36 Там же, с.171.

37 Там же.

38 Там же, с.176.

на: это — религиозное обоснование изоляционистской стратегии и органической несовместимости интеллигенции с символом веры „новой правей”. Пусть развалится Запад („якобы свободные, разомкнутые системы уничтожают себя”), пусть погибнет интеллигенция со своей гуманистической фразеологией („за нею все тот же черт с рогами и копытами”), Истина останется, ибо она с нами, ибо она в нас. Ибо она — Россия.

ОБРАЗОВАНЩИНА

Я историк, а не богослов. Я не могу судить, убедительней ли звучит для молодой России религиозное обоснование изоляционистской стратегии, нежели проанализированное мною историческое ее обоснование. Я могу лишь констатировать, что группа талантливых молодых людей, рискуя свободой, а быть может, и жизнью, посвятила себя такому обоснованию. Страсть и полемический пафос, с которыми они это делают, свидетельствуют, что внутри сложного и совершенно, насколько я знаю, пока не исследованного феномена, называемого „православным возрождением”, идет ожесточенная борьба. Борьба за *политическую ориентацию* этого культурного феномена, которому, быть может, в значительной степени предстоит формировать будущее России. В более общем виде можно сказать, что борьба идет за политическую ориентацию следующих поколений русской интеллигенции. Какой она будет? Либерально-эйкуменической или авторитарно-изоляционистской? Западнической или татарско-мессианской? Иными словами, — достойным доверия участником мирового политического процесса или вызревающей в изоляции угрозой этому процессу?

И опять, оказывается, зависит это от ответа на основной вопрос, всегда разделявший русскую интеллигенцию: является ли Россия европейской страной, или предстоит ей искать „свой, особый путь в человечестве”? Или, говоря словами Солженицына, — была ли Октябрьская катастрофа 1917-го результатом „темного вихря” с Запада?

В 1970 г. журнал „Вестник русского христианского движения” опубликовал цикл анонимных эссе (все были подписаны псевдонимами) советских авторов, представлявших либерально-эйкуменическое крыло „православного возрождения”. „Большевизм... не варяжское нашествие, — говорилось, между прочим, в статье N.N., — революцию делали не одни евреи. Поэтому коммунистическая власть есть не внешняя сила, но органическое порождение русской жизни, средоточие всей скверны русской души, всего греховного нароста русской истории, который нельзя механически отрезать и бросить”.³⁹

Еще более отважно сформулировал эту точку зрения В.Горский. „Преодоление национал-мессианистского сознания, — писал он, — первоочередная задача России. Россия не сможет избавиться от деспотизма до тех пор, пока не откажется от идеи национального величия. Поэтому не „национальное возрождение”, а борьба за Свободу и духовные ценности должна стать центральной творческой идеей нашего будущего”.⁴⁰

Не может быть сомнения, что Горский затронул здесь самую затаенную болевую точку современной „русской идеи”. На какое-то историческое мгновение все фракции „диссидентской правой” — изоляционистские и мессианистские, и „хорошие”, и „плохие” националисты — объединились в негодующем порыве, забыв про свои разногласия, стремясь стереть с лица земли автора кощунственного „антирусского” призыва к „борьбе за свободу”. И бывший видный член ВСХСОНа Л.Бородин, и В.Осипов, и его „антоновские” оппоненты из „Вече”, и Г.Шиманов, о котором еще будет говориться в этой книге, — и Солженицын. Это был одновременно и щабаш ведьм и плач на реках Вавилонских, и шквал пророчеств.⁴¹

39 N.N. "Metanoia" — „Вестник РХД”, № 97, с.6.

40 В.Горский. Русский мессианизм и новое национальное сознание. — „Вестник РХД”, № 97, с.61.

41 См.отклик Л.Бородина в журн. „Грани”, № 96; отзыв В.Осипова в „Письме в редакцию журнала „Вестник РХД” (№ 106); письма И.Ибрагимова и К.Радугина в том же „Вестнике”; письмо Г.Шиманова (Архив самиздата, № 1132). Чтобы дать читателю представление о методе мышления авторов этих „отпоров”, процитирую лишь немного: „В 13-15 веках Россия, истекая кровью, остановила татаро-монголов. Тог-

А между тем, что, собственно, случилось? Что такого возмутительного в призыве к отказу от мессианства, к борьбе за свободу и духовные ценности? Разве русскую нацию угнетает какая-либо другая нация, а не ее собственные вожди, такие же русские люди, о которых даже Солженицын предполагает, что они „не чужды своему происхождению, отцам, дедам, прадедам и родным просторам“?⁴² Значит, как будто бы очевидно, что препятствие, мешающее истинному возрождению России, лежит *внутри* самой русской нации, а не между ней и другими народами. Более того, разве не очевидно, что этот самый мессианизм, приняв марксистский псевдоним, является одним из краеугольных камней той самой идеологии, той лжи, борьбе с которой Солженицын посвятил свою жизнь? И тем не менее вся „русская правая“, и Солженицын в том числе, восприняли статью Горского как пощечину.

Впрочем, в отличие от других, Солженицын в своей статье „Образованщина“ не скорбел, не плакал и не пророчествовал. Солженицын бил. Вложив в этот удар весь свой авторитет и мировую славу, Солженицын бил теперь не по вождям (с ними он согласен был на диалог), бил по своим. По бывшим диссидентским союзникам, по самиздатовским мыслителям, по интеллигентам, мучительно ищущим выхода из российского тупика (в том числе и по тем, кто самоотверженно выступал в его защиту). Он был беспощаден. Он не считался с тем, что, когда писалась эта статья, он, как точно заметила Юлия Виш-

да цивилизованный мир был спасен от завоевателей, явно вдохновлявшихся темными силами... В 17 веке русские люди сокрушили Самозванца, что делает войны эпохи Смутного времени... предизображением конечной борьбы с Антихристом... Пафосом борьбы с Антихристом вдохновлялся русский народ и в войне 1812 ... На памяти живущего поколения вновь исполнились жертвенные судьбы России... Имеются многочисленные свидетельства, что нашествие фашистов было не только военной, но и мистической интервенцией, сопоставимой с вторжением преемников Чингисхана... Не призывается ли [Россия] снова к тому, чтобы стать щитом против чингисидов XX века (читай: китайцев, — А.Я.), заявивших претензию на средневековые завоевания своих предшественников... Православная Русь есть [и она] исполнит свое религиозное предназначение до конца” („Вестник РХД”, № 106, с.311, 312, 314.)

42 А.Солженицын. „Письмо...”, с.7.

невская, слишком хорошо знал, что его авторитет в „образованщической” среде — огромен, что любая критика его взглядов может быть расценена чуть ли не как сотрудничество с КГБ”.⁴³

Анализируя Программу ВСХСОНа, я говорил о политической нетерпимости ее авторов, толерантных только к „близким по духу”. Но когда был ВСХСОН? На заре туманной юности „русской правой”. Только сейчас, когда „новая правая” набрала силу, — становилось совершенно очевидно, что националистическое сознание *органически* не приемлет политического инакомыслия, что, приди эти люди к власти в России, никакой обещанной Солженицыным „колосьбы мыслей” не будет, ибо никакой оппозиции, в особенности „антирусской”, они не потерпят. И еще одно становилось очевидно: если в корне всех бед русского прошлого — с точки зрения „правой” — лежал „темный вихрь” с Запада, то в корне всех бед русского будущего лежит европейская, антиизоляционистская, антимисссионская ориентация советской интеллигенции. Вот почему на самом деле так дружно и яростно атаковала ее вся „русская правая”.

Пусть в оборот презрительный термин „образованщина”, Солженицын тем самым, по сути, отрицал само существование современной русской интеллигенции, отказывая ей как в человеческом достоинстве, так и в нравственности мирозерцания, отлучая ее от процесса „духовного возрождения” страны.

Я не хочу подробно останавливаться на несправедливости этого приговора или даже на полном отсутствии в нем логики (сравнивая дореволюционную и современную русскую интеллигенцию, Солженицын высказывает свое отвращение к первой за ее „жертвенность”, а к последней — за отсутствие этой самой „жертвенности”). Я хочу обратить внимание читателя на другое, гораздо более зловещее, с моей точки зрения, обстоятельство.

43 Ю.Вишневская. Солженицын и „образованцы”. В кн.: СССР. Демократические альтернативы. Сб.статей и документов. Ахберг, 1976, с.187.

Внимательно читая „Образованщину”, просто невозможно не заметить в ней такие сентенции, как: „потеря в образовании — не главная потеря в жизни”,⁴⁴ и такие рекомендации, как создание новой „жертвенной элиты”, нового ядра нации, „воспитанного не столько в библиотеках, сколько в нравственных испытаниях”.⁴⁵ Причем, оказывается, образовательный ценз и число печатных научных работ тут совершенно ни к чему, ибо мы пойдем к народу рядом с „полуграмотными проповедниками религии”.⁴⁶ Тут уже чувствуется что-то неотразимо чалмаевское, что-то заставляющее предположить, что солженицынская „образованщина” есть лишь прозрачный псевдоним чалмаевского „просвещенного мещанства”. Вспомним, по Чалмаеву, все национальные подвиги в русской истории совершены были „проповедниками религии” в союзе с „вождями” России. И совершены притом *против воли* „просвещенного мещанства”.

О, разумеется, Чалмаев и Солженицын, „национал-большевики” и „возрожденцы” — противники во всем, что касается сегодняшнего дня России. Но посмотрите, как на наших глазах превращаются они в союзников во всем, что касается ее прошлого. И самое главное — во всем, что касается ее будущего.

Чалмаевские „пустынножители”, спасавшие Россию из бездны греха, и солженицынские „полуграмотные проповедники религии” — не близнецы ли они? Чалмаевские „цари” — не положительный ли они пример для солженицынских „вождей”? О сходстве „просвещенного мещанства” и „образованщины” уже говорилось. По какой-то причине и Солженицын, и Чалмаев выделили именно три формообразующих элемента в структуре русского общества. И элементы эти оказались у них одинаковыми.

44 Сб.: Из-под глыб, с.259.

45 Там же, с.251.

46 Там же, с.255.

ИДЕЙНЫЕ ИТОГИ „ИЗ-ПОД ГЛЫБ”

1. Концепция мирового кризиса, „напоминающего переход от средневековья к новому времени”, кризиса, порожденного секуляризацией культуры в эпоху Возрождения и ведущего с неизбежностью либо к исправлению этой ошибки, т.е. созданию новой религиозной цивилизации, либо к гибели человечества.

2. Концепция демократии как исторического извращения, возникшего из великой ошибки Возрождения и ведущего человечество в тупик безверия и анархии.

3. Концепция „двух свобод” – внутренней и внешней, – ведущая к противопоставлению свободы нравственной (как исторической цели нации) свободе интеллектуальной и политической.

4. Концепция просвещенного авторитаризма как альтернативы, с одной стороны, тоталитаризму, а с другой – демократии.

5. Концепция трехэлементности современного мира, сближающая точки зрения авторов сборника „Из-под глыб” и „Вече”, а именно: угрожающий тоталитарный Китай, гибнущий демократический Запад и силающаяся воскреснуть в просвещенном авторитаризме Россия.

6. Концепция „нации-личности” как „неотменимого Божьего замысла о мире”, оправдывающая национальный изоляционизм и стратегию невмешательства в дела человечества.

7. Концепция интеллигенции-„образованщины” как вредоносного секулярного нароста на теле общества, симулирующего роль национальной элиты и тем препятствующего образованию действительной элиты.

8. Концепция новой „жертвенной” элиты, воспитанной „не столько в библиотеках, сколько в нравственных испытаниях”, призванной в диалоге с вождями и на почве национального возрождения обеспечить продвижение России к спасительному „просвещенному авторитаризму”.

ДЬЯВОЛИАДА—1

Читатель имел уже достаточно оснований убедиться, что все доктрины „русской новой правой“, даже самые либеральные, пронизаны недоверием к интеллигенции. Все они подозревают ее в склонности к секулярности и европеизму.

Даже допуская в своих проектах будущей России разнообразие в области культуры, они не желают допустить в них политическое инакомыслие. Они игнорируют решающую проблему политической оппозиции.

Так не может ли быть, что чалмаевское проклятие сытости и образованию, и антоновский призыв к новой космополитической кампании, и откровенная тоска „патриотических“ масс по погромам, и осиповско-солженицынский „сибирский гамбит“, толкующий о деурбанизации и деиндустриализации общества, и проект „идеологической реориентации диктатуры“ авторов „Слова нации“, — не может ли быть, что при всем их очевидном различии — порождены они общей целью? А именно: сконструировать такую экономическую и культурную модель России, в которой не было бы места этой слишком податливой к европеизации элите. Модель, которая предполагала бы полное устранение ее от участия в решении судеб страны и замену ее в качестве национальной элиты некой истинно русской комбинацией из „вождей“ и „полуграмотных проповедников религии“. Тем более, что православие как национальная идеология представляло бы собой в этом случае самый прочный барьер против европейских „еретических“ веяний.

Может быть, таким образом пытаются они раз и навсегда обезопасить Россию от новых „темных вихрей с Запада, от его сатанократических тенденций. Ибо пока эти тенденции имеют внутри России столь мощного социального агента, все попытки герметически изолировать ее, сделать иммунной к западной заразе окажутся бесплодными.

Если это предположение верно, мы обнаружим следующий логический ряд в сознании представителей „русской идеи” в советской системе.

1. С момента своей секуляризации Запад оказался легкой добычей для сатаны.

2. За столетия, протекшие со времен Ренессанса, он прочно попал во власть сатанократии.

3. Наличие православной России, счастливо избегшей „мощных ренессансных объятий” Запада, представляет главное препятствие для тотальной секуляризации и, так сказать, сатанократизации мира.

4. Поэтому Запад регулярно насыляет на Россию „темные вихри”, предназначенные подорвать источник ее внутренней мощи, ее верность православию.

5. Делает он это через секулярных „бесов”, называющих себя интеллигенцией.

Хотя общие очертания проблемы ясны, техническая сторона западных сатанократических манипуляций, ее механизм оставался неисследованным, темным — до появления солженицынского памфлета „Ленин в Цюрихе”. В нем впервые была сделана гигантская попытка обнажить сатанинскую природу последнего, большевистского „темного вихря”, взорвавшего Россию, — с помощью отравленных европеизмом „бесов” русской интеллигенции. Вот почему в историософском смысле „Ленин в Цюрихе” представляет квинтэссенцию современной „русской идеи”. В этом отношении он был самым значительным ее произведением, до появления второго издания „Августа 14”, о котором пойдет речь в следующей главе.

„ЛЕНИН В ЦЮРИХЕ”

В принципе, я избегаю суждений о политических взглядах Солженицына по его литературным произведениям. Однако то, что пишет он в эмиграции, представляется мне скорее серией политических памфлетов, нежели беллетристикой в прямом смысле этого слова. Именно в этом качестве я и рассматриваю „Ленина в Цюрихе”.

Что Ленин рисуется в этой книге полурусским (вернее, на одну четверть — по крови — русским), и притом ненавидящим Россию, — это понятно.¹ Что цель его — по Солженицыну — состояла в том, чтобы „ампутировать Россию кругом” (30), — это понятно тоже. Но менее понятно, на первый взгляд, почему Солженицын сталкивает Ленина с человеком, который не только равен ему — и в своей силе, и в своей нерусскости, и в своей ненависти к России, — но даже, по собственному ленинскому признанию, превосходит его во всех отношениях. Прирожденный боец, Ленин не знал страха — нигде и ни перед кем, „и только перед этим одним не ощущал уверенности. Не знал, устоял ли бы против него, как против врага” (99). „Всех социал-демократов мира знал Ленин или каким ключом отомкнуть или на какую полку поставить” — и только этот один „не отмыкался, не ставился, а дорогу загораживал” (99).

Этот человек — чудовищное „скрещение теоретика, политика и дельца” (114) — единственный в мире, был сильнее Ленина во всем. И в изумительной дальновидности, и в не знающей себе равных политической интуиции, и в умении видеть, чего не видел никто. При желании он мог бы лишить Ленина всего, ради чего Ленин жил, — политического лидерства — как он уже сделал это однажды во время первой русской революции 1905-го. Тогда „тот топал всю дорогу впереди и топал вер-

¹ „И зачем он родился в этой рогажной стране? Из-за того, что четверть крови в тебе русская, из-за этой четвертушки привязала судьба к дрянной российской колымаге! Четвертушкой крови, но ни характером, ни волей, ни склонностями несколько не состоял в родне с этой разляпистой, растяпистой, вечно пьяной страной” (А.Солженицын. Ленин в Цюрихе. Париж, Имка-пресс, 1975, с.87). Далее ссылки на это издание даны в тексте.

но, не сбываясь — и отнял всякую волю идти и всякую инициативу” (102). „В ту революцию Ленин был придавлен [этим человеком] , как боком слона... Он сидел на заседаниях Совета, слушал героев дня — и висла его голова” (105). Ему даже „не с чем выступить с трибуны самому”, ибо „все шло... настолько хорошо” под руководством того, другого, что „вождю большевиков не оставалось места” (105).

Этот человек обладал „бегемотской гениальной головой” (15), каким-то невероятным „сейсмическим чувством недр” (112), „беспощадным нечеловеческим умом” (111), он „25 лет проболтался по Европе Агасфером” (100) и в то же время всегда мог „предсказать раньше всех и дальше всех” (101). Этот человек и теперь, в 1916-м (когда происходит действие в книге Солженицына) видит яснее Ленина, знает больше. Он опять может отнять у него политическое лидерство и тем самым погубить его окончательно. Когда Ленин раздавлен и разочарован, когда он уже ни во что больше не верит, собираясь уехать в Америку, вдруг приходит этот человек и спокойно говорит: „А я — назначаю русскую революцию на 9 января будущего года!” (111) (И ошибся-то всего на месяц.)

Но нет, на этот раз он — „автор... Отец русской революции” (115), он — действительный изобретатель советской власти, который с полным правом говорит у Солженицына: „мои Советы” (129), этот „Бегемот” не только не намерен устранять Ленина, на этот раз он сам приходит к Ленину. Приходит к слабому, поверженному, бессильному сопернику — предлагать сотрудничество.

Почему? Зачем? Вот он самый важный сейчас, решающий для нас вопрос. Не потому ли, что в первую революцию, в 1905-м, этот Агасфер сделал ошибку, поставив на *еврея* Троцкого как на потенциального лидера *русской* революции? Не потому ли, что тогда он потерпел поражение, и Россия пережила 1905-й год? Новую революцию она не должна пережить. Вот почему сейчас нужен русский (пусть и на четвертушку) Ленин. Вот почему в меморандуме германскому правительству он „прямо назвал Ленина... как свою главную опору. Взять Ленина своей правой рукой, как в ту революцию Троцкого, — был верный успех” (121).

Конечно, этот человек — германский агент. Конечно, он получает миллионы от немцев. Конечно, он хочет всего лишь нанять Ленина как исполнителя своего замысла, как гениального русского „беса”, чтобы разрушить Россию. Это понятно. Это очевидно. Но разве это объясняет автоматически его нечеловеческий ум, его сейсмическое чувство недр, его умение предсказать раньше всех и дальше всех, умение — перед которым терялся, ступшеывался, отходил на задний план даже гениальный „бес” Ленин? Так служит ли он германскому генеральному штабу? Или германский генеральный штаб служит ему? Ведь замысел-то принадлежит ему, а не немцам, и играет он свою игру, а не немецкую. Ясно же, что и немцы для него не больше, чем Ленин, — исполнители. Он просто использует их для достижения своей дьявольской цели, как использовал когда-то Троцкого, как намерен сейчас использовать Ленина. Нет, он не „бес”, он — искуситель бесов („он всегда старался действовать из тени, не попадать на фотографии, не давать пищи биографам”) (106), он — сам Мефистофель „бесовства”, он вдохновитель, он — серый кардинал, он — действительный хозяин истории, в руках которого и большевики, и немцы — лишь куклы на ниточках, дергающиеся по его воле. По крайней мере, так рисует его Солженицын. И тут поневоле закрадывается сомнение: да о человеке ли идет речь?

Да, о человеке, который имел имя и существовал реально. Это был Израиль Лазаревич Парвус (настоящая фамилия Гельфанд) — в реальной жизни — социал-демократ, в солженицынской интерпретации — еврей из России, блуждавший по Европе с единственной целью: мобилизовать ее ресурсы для того, чтобы наслать „черный вихрь” на Россию. Войной — так войной, революцией — так революцией, на германские деньги — так на германские, социалистическими идеями — так социалистическими. Какая ему разница? Огромная нечеловеческая цель вдохновляет это существо с нечеловеческим умом. И если у читателя оставались еще какие-то сомнения в том, что это сам сатана (предсказанный Константином Леонтьевым еврей-антихрист, вышедший из недр России), Солженицын рассеивает их следующей замечательной сценой.

ЯВЛЕНИЕ АНТИХРИСТА

Сцена эта происходит в Цюрихе, в маленькой бедной комнатке угнетенного и обессиленного Ленина, когда немецкий еврей Скларц передает ему предложение Парвуса. Предложение, которому предстоит на десятилетия вперед определить судьбу России. На улице сумерки, в лампе нет керосина, но она почему-то продолжает гореть, не светя. В комнате темно, но Ленин каким-то непонятным образом читает. Роскошную шляпу свою Скларц бросил на бедный стол, кожаный баул оставил посередине комнаты. Ленин читает письмо Парвуса — и тут начинают происходить невероятные вещи. „Скосились глаза [Ленина] на скларцев баул — тяжелый, набитый, как он его таскает?...зачем?” (100). Потом „шляпа позади лампы — качнулась, показав атласную подкладку. Да нет, лежала спокойно, как оставил ее Скларц” (106). Потому мелькнула у Ленина странная мысль: „Что за баул? Величиной со свинью” (102). Потом вдруг сама по себе „на бауле ручка перекинулась с одной стороны на другую — хляп” (107). Здесь уже читатель начинает ощущать отчетливый запах серы. Тем более, что „керосина в лампе не было — а горела уже час” (106). (Не язык ли адского пламени?) „Тр-ресь!! — расперло, наконец, баул, — и, освобождая локти и выпрямляя спину, разогнулся, поднялся в рост во всю свою тушу, в синей тройке, с брильянтовыми запонками, — и разминая ноги, ступнул, ступнул поближе. Стоял — натуральный, во плоти... удлиненно-купольная голова, мясисто-бульдожья физиономия с эспаньолкой — и блеклым внимательным взглядом рассматривал Ленина. Дружелюбно” (107).

Явился Сатана. Израиль Лазаревич — возникший из тьмы — стоял перед Лениным собственной персоной и — хотя его тут не было — говорил. И Ленин отвечал ему. „Хотя горлом речь не выходила... И без языка было все взаимопонятно” (108). И от этого загадочного (хотя и традиционного) возникновения из ничего, и от этой речи „без языка”, и от того, что Парвус „дышал болотным дыханием, близко в лицо” — мурашки по коже, не правда ли? Но главное — что говорил Ленину Сатана, как дьявольски обольстительна, как разоружающе убедитель-

на была сатанинская логика. Читатель чувствует, „как током билась в горящие руки, вливалась в жилы, сплескивалась с ленинской кровью и боролась с ней бегемотская кровь Парвуса” (99). А потом вдруг все исчезло, „ни стола, ни Скларца, — а только кровать железная швейцарская, массивная с ними могучими двумя — плыла над миром, беременным революцией, ожидавшим революции от них двоих... неслась по темному кругу” (110). „Навязывал, вкачивал свою бегемотскую кровь” (131) в Ленина Сатана.

А теперь, сотворив крестное знамение, давайте подведем итоги. Для нас, естественно, важна здесь не столько реальная роль Парвуса в русской революции, сколько его нереальная роль — в книге Солженицына. А роль эта, как видим, однозначна: поднять поверженного „беса” на сатанинский подвиг разрушения России.

Образ „сатанократии”, как, наверное, помнит читатель, преследует „новую правую” с самого начала, еще с ВСХСОНа. В „Письме трех” антоновцев в „Вече” „сатанинские происки” уже превратились в повод для союза с властью. Но все это было бледно, бесплотно, написано бескровным политическим пером. У Солженицына этот образ предстал перед нами во плоти. Вот как она, оказывается, выглядит вживе — сатанократия. Вот как, оказывается, покупал русскую интеллигенцию в лице Ленина на германские деньги Антихрист. Вот как он зарождался, „темный вихрь”. Можно ли доверять после этого интеллигенции? Не заслуживает ли она политического уничтожения? Как же не отстранить ее от решения судеб страны? Не изгнать дьявола из больного тела Святой Руси?

В предыдущей главе я говорил о том, как сплелась невольно солженицынская мысль с чалмаевской. Теперь — как сплетается она с антоновской мыслью, как неудержимо гонит его „темный вихрь” борьбы с отечественными „образованцами” в объятия отечественных фашистов.

„АВГУСТ 14”: СОЛЖЕНИЦЫН ПРОТИВ СОЛЖЕНИЦЫНА

Что бросится в глаза всякому, кто попытается охватить одним взглядом политическую эволюцию Солженицына? Непрерывная и драматическая серия отречений от собственных взглядов. Причем в каждом случае процесс отречения осложнялся тем, что любое предыдущее убеждение казалось ему в свое время единственно возможным („истина одна”, — выделяет он курсивом уже в 1982 г.)¹ Можно предположить, что догматическому уму, верующему в единственность истины, отречение от очередного абсолюта должно представляться своего рода крушением мира. Солженицын пережил все эти идеологические метаморфозы. За каждую из них приходилось платить, однако.

ОТРЕЧЕНИЯ

В юности, в конце 1930-х годов, когда Солженицын впервые задумал гигантскую эпопею о русской революции, его истина сводилась к достаточно тривиальному в тогдашней России антицаризму. Отсюда, по-видимому, замысел начать эпопею (которая называется теперь „Красное колесо”) со страшного разгрома русских войск в Восточной Пруссии в августе 1914 г., — замысел, вполне точно отражающий

¹ А.Солженицын. Наши плюралисты. — „Вестник РХД”, № 139, 1983, с.134.

политическое кредо Солженицына тех лет. Роман должен был обнажить безнадежную гнилость православной монархии — ее обреченность. В этом, надо полагать, и виделось тогда Солженицыну высшее оправдание революции — ее неизбежность.

В лагере Солженицын отрекся от антицаризма и стал антисталинистом. Этому первому отречению мы обязаны „Иваном Денисовичем” и „Раковым корпусом”. Оно принесло Солженицыну взлет художественного дарования. К концу 1960-х гг., однако, когда писался „ГУЛаг”, пришло время второго отречения — от антисталинизма. Солженицын стал антиленинистом и русским националистом.

Так же, как левые диссиденты считали его своим в 1960-е годы, экстремистские антикоммунисты стали считать его своим в следующем десятилетии. С точки зрения попутчиков, многие из которых называют себя неолибералами, на этом политическая эволюция Солженицына должна была завершиться. В самом деле, куда двигаться направо дальше неолиберального антикоммунизма? Дальше фашизм.

Неолибералам, однако, предстояло такое же разочарование, какое постигло их предшественников. В исторической эпопее, которую Солженицын пишет сегодня и идеологическим ключом к которой является новая двухтомная редакция „Августа 14”, он совершает свое третье отречение. Согласно нынешней истине Солженицына, сам ленинизм оказывается „почти эпизодом” и „во всяком случае, следствием” либерализма. Источник русской катастрофы он видит теперь не в ленинизме, а в либерализме, а источник грядущей мировой катастрофы, соответственно, не столько в коммунизме, сколько в своих неолиберальных попутчиках.

Если читателю нужны еще доказательства идеологического вырождения „хорошего” национализма, ему достаточно познакомиться с новой редакцией „Августа 14” и сопровождающими ее статьями, интервью и письмами. Впрочем, чтение это может оказаться тяжелым испытанием само по себе. Ибо серия идеологических отречений наказала Солженицына самым страшным, что может случиться с писателем, — художественным бесплодием, утратой чувства меры и пропорции, без которых не может быть писателя.

НОВАЯ ИСТИНА

„Шесть лет не читал я ни сборников их, ни памфлетов, ни журналов, хотя редкая там статья не заострялась также и даже особенно против меня. Я работал в отдалении, не обязанный нигде, ни с кем из них встречаться, знакомиться, разговаривать. Занятый „Узлами“, я эти годы продремал все их нападки и всю их полемику. Уже загалдели все печатное пространство, уже измазали меня в две дюжины мазутных кистей... захлебнулись в собственном яде”.² Так жалуется Солженицын в письме „Наши плюралисты“, адресованном на этот раз не вождям СССР, а русскому народу, и направленном не против „черного вихря” с Запада, околдовавшего этот народ в 1917 г., а против его собственной сегодняшней интеллектуальной элиты.

Самому себе представляется он теперь витязем, в одиночку спасающим Россию. Он открывает глаза миру, столько десятилетий прозябавшему во тьме невежества. Даже академические попутчики, даже неолиберальные антикоммунисты не шли до сих пор дальше вчерашней истины Солженицына, согласно которой кучка конспираторов-большевиков разрушила Россию и коммунистическая Октябрьская революция лежит в основе ее несчастий. Умудренный опытом эмигрантской борьбы с „захлебнувшимися в собственном яде” русскими западниками, Солженицын пошел дальше. Сегодняшняя его истина состоит в том, что, „собственно говоря, революция в России была одна, не пятого года, и не Октябрьская, а Февральская, она и есть решающая революция, которая и *повернула ход нашей истории*, да и всей земли. Октябрьская революция является почти эпизодом и во всяком случае следствием Февраля”.³ Ибо, как разъясняет Солженицын в „Августе 14”, „Россия в обозримое время не могла бы двигаться и даже выжить при сломе ее монархического облика и устоя”.⁴

2 Там же, с.133.

3 Вестник РХД, № 138, с.162.

4 А.Солженицын. Собр.соч., т.12. Париж, 1983, с.188-189. Курсив мой. — А.Я. Далее ссылки на это издание даны в тексте: первая цифра — том, вторая — страница.

Не может быть России без православной монархии – гласит сегодняшняя истина Солженицына (во всяком случае, Россию не самодержавную и не православную он не согласен признать Россией). И каково же ему видеть, что именно свержение царизма стараются увековечить его либеральные западнические критики, именно „февральскую” катастрофу снова развязать в стране: „Вдруг отвалились завтра партийная бюрократия – эти культурные силы тоже выйдут на поверхность – и не о народных нуждах, не о земле, не о вымирании мы услышим их тысячекратный рев... а о правах, о правах... и разгромят наши останки в еще одном Феврале, в еще одном развале”.⁵ Десять лет борьбы в эмиграции – с либералами, противниками коммунизма убедили Солженицына, что вовсе не в коммунизме корень российских бед, но в губительном „тысячекратном реве” о правах человека.

ЗАВЕРШЕНИЕ МЕТАМОРФОЗЫ

В своем докладе „Парадокс Солженицына: на полпути к Леонтьеву”, я имел в виду лишь опасность, которой чревата была политическая эволюция Солженицына с момента, когда он оказался коренником в упряжке возродившейся „русской идеи”. Начав, как Константин Аксаков, с борьбы против политического идолопоклонства, прославившей его в 1960-е гг., он мог – в поисках „истинно русской” альтернативы советскому режиму – соскользнуть к апологии православной монархии, в которой оказался бы неотличим от Константина Леонтьева. Для того чтобы эта метаморфоза совершилась, нужен был кризис – катализатор идеологического вырождения. Я не мог тогда знать, что именно сыграет роль этого рокового катализатора в мировоззрении Солженицына. Я знал только, что уже в 1975 г. он был на полпути к этой метаморфозе. Теперь мы знаем, что случилось: десятилетие эмигрантской борьбы стало этим катализа-

5 А.Солженицын. Наши плюралисты, с.154.

тором. Солженицын действительно превратился в современного Константина Леонтьева. Метаморфоза совершилась.

„Избави Боже, большинству русских дойти до того, до чего, шаг за шагом, дошли уже многие французы, т.е. до привычки служить всякой Франции и всякую Францию любить. На что нам Россия не самодержавная и не православная? На что нам такая Россия? Такой России служить можно разве по нужде и дурному страху”.⁶ Это сказал Константин Леонтьев. Именно потому и предлагал он в свое время „подморозить Россию, чтоб она не гнила”.⁷ Он не простил бы ей либеральную, западническую революцию. Для него она была бы началом конца России. Но разве не это самое слышим мы сейчас от Солженицына?

Даже если бы Россия свободно проголосовала за республику вместо православной монархии (как она, собственно, и сделала при выборах в Учредительное собрание в 1917 г.), Леонтьев отказался бы принять ее выбор. Не Россию он любил, а самодержавие в России. Солженицыну 1980-х гг. точно так же, как Леонтьеву 1880-х, не нужна Россия не самодержавная и не православная. В „Августе 14” он и сам нашел слова, точно характеризующие то направление русской мысли, к которому он теперь принадлежит: „нетерпящая правая крайность, которая знать не желает никакого развития общества, никакого движения мысли, никаких, тем более, уступок, а только всемогущее поклонение царю да каменную неподвижность страны — еще век, еще век, еще век” (12; 305).

6 К.Леонтьев. Соч., т.VI I, СПб., 1913, с.206-207. Разумеется, метаморфоза Солженицына совершилась лишь в идеологическом плане. Как политику и мыслителю Солженицыну до Леонтьева далеко. И поэтому в политическом смысле он скорее всего навсегда останется сектантом „неподвижного аксаковского стиля”. Не Солженицын положил начало черносотенному национализму. Это предстояло сделать другому идеологу.

7 Там же, с.124.

ЖАЛОБА

Так или иначе, сегодняшний Солженицын не сомневается, как не сомневался Леонтьев, что его критики — враги русского народа. Иначе не может он объяснить, почему замалчивают они его роман-эпопею, где, по его мнению, найдено средство отвлечь новую катастрофу России. Этой эпопее безраздельно посвятил он свою жизнь. Ради нее оторвался от мира и, подобно мифическому Атласу, взвалил себе на плечи земную твердь. А критики спорят с ним, как с каким-нибудь заурядным партийным публицистом, судят его по его речам и интервью, делая вид, что гигантского литературного шедевра, где разгаданы все исторические загадки и отвечено на все вопросы, как бы и не существует. „Да ведь вот мой десяток томов, да ведь вот дюжина исторических глав — критикуйте! разносите! раздолье! Тут и целая желанная программа есть для разноса — Шипова (пока поглубже, чем все, предложенное нашими плюралистами), петит ли мелок, глаза не берут? Нет! Спорят со мной, как с партийным публицистом. Накидываются со всеми грубами на какой-нибудь один абзац какого-нибудь интервью”.⁸

По-человечески жалко Солженицына. В самом деле, в добровольном заточении пишет человек годами том за томом гигантский всеспасающий шедевр литературы — и философии, и истории — а толпа соотечественников-„образованцев” игнорирует труд, вместивший в себя и новую „Войну и мир”, и новых „Бесов”, и новых „Отцов и детей”. Мало того, еще и измазали автора „в две дюжины мазутных кистей”. Еще и самой глубокой программой возрождения России пренебрегли, словно и нет ее. Что ж, мы еще поговорим о шиповско-солженицынской программе „сочетания самодержавия и самоуправления”. Тем более что впервые за все эти годы сослался наконец Солженицын на источник своего вдохновения.

Но прежде я бы хотел рассмотреть феномен удивительного равнодушия соотечественников к „Августу 14”. Почему так упорно отказываются они не только принять Солжени-

8 А.Солженицын. Наши плюралисты, с.156.

цына в духовные руководители, но даже и признать роман литературным событием? В чем здесь загадка? Тем более, что речь идет о тех самых людях, которые всего несколько лет назад были преданнейшими и восторженными его читателями, которые видели в нем будущее отечественной словесности.

Объяснение Солженицына мы уже знаем: заговор против России. „Разные уровни развития, разные возрасты, разная самостоятельность мысли, а все — в единую оглушающую дуду: против России! Как сговорились”.⁹ Но ведь это объяснение само нуждается в объяснении. С чего бы, в самом деле, всем этим людям „сговариваться” против своей родины? Зачем отрекаться от новых книг еще недавно столь превозносимого автора „В круге первом” и „Ракового корпуса”? Они и в 1960-е гг. могли с ним не соглашаться. Однако это не мешало им видеть тогда в Солженицыне надежду на воскрешение русской литературы. Почему же избегают они касаться новых его книг, не критикуют, не спорят, даже не вспоминают?

ПРИГОВОР

Редактор авторитетнейшего американского неолиберального журнала „Комментари” Норман Подгорец, очень благожелательный к Солженицыну, очень ценящий его за антикоммунизм, не увидел бы тут никакой загадки. Он читал „Август 14” (в первой редакции), он сравнил его не только с „Одним днем Ивана Денисовича”, но и с „Войной и миром” — и его заключение убийственно: „Война и мир”, один из величайших романов, живет в каждой детали, тогда как „Август 14”, говоря откровенно, мертв от начала до конца. И выдуманные, и исторические персонажи безжизненны. Батальные сцены, тщательно выписанные, оставляют читателя равнодушным. Что до линии повествования, она движется мрачной волей автора, но не внутренней необходимостью, посредством которой

9 Там же, с.135.

разворачивается истинное художественное произведение. Коротко говоря, судя по „Августу 14“, претензии солженицынской эпопеи о революции стоять рядом с „Войной и миром“ полностью проваливаются (fails utterly). Сверх того провал этот знаменует крушение надежды, что Солженицын мог бы спасти и оживить великую традицию русского романа XIX века”.¹⁰ Таков приговор благожелательного американского критика, несколько не „врага русского народа“, ничуть не „ненавидящего все русское“, напротив, полного искреннего сочувствия к русскому народу, угнетенному коммунизмом. Приговор этот означает, что даже политические союзники Солженицына не могут назвать его эпопею литературным событием. Тем, кто читал новую редакцию „Августа 14“, трудно, вероятно, отделаться от впечатления, что перед ними опубликованный черновик. То, что выходит сейчас из-под пера Солженицына, — всего лишь сырая, конструктивно беспомощная и местами косноязычная печатная масса, где полностью отсутствует чувство художественной меры, где ничто не обязательно, ничто не сфокусировано, откуда можно без всякого ущерба для целого исключить одни главы или, если угодно, добавить другие, и которую, увы, мучительно скучно читать.

Не только благожелательный Норман Подгорец, но и благожелательный критик „Континента“, — журнала, контролируемого „русской новой правой“, — Лев Лосев не сумел выжать из себя большего, нежели признание, что „мы видим... столбы, перекрытия, каркасы, блоки, какие можно видеть хоть на строительстве дворца, хоть — склада. Кто знает, что получится: может, — небывалый еще храм, а может, — беспорядочное нагромождение разного рода помещений... Впечатление такое, что прочел как бы ряд отдельных вещей: во-первых, начало большого романа... во-вторых, беллетризованную хронику военных действий в Восточной Пруссии... а затем три повести — повесть о террористе Дмитрие Богрове, житие Петра Столыпина и памфлет, сатирическую повесть о Николае II.

¹⁰ Norman Podhoretz, "The Terrible Question of Alexander Solzhenitsyn" — Commentary, Febr. 1985, p.20.

(Еще – сатирическую же новеллу о Ленине.) Таким образом, мелькавшее в первых критических отзывах сравнение с „Войной и миром” представляется очень поверхностным... Настоящий жанровый прецедент „Красному колесу”... это летописи... Вопрос о том, можно ли считать летописи художественными произведениями, остается, однако, спорным”.¹¹

Американский критик относится к Солженицыну куда беспощаднее, чем его соотечественник. Он не видит художественных достоинств даже и в „Раковом корпусе”: „Солженицын делает все, что положено делать романисту. Он конструирует сюжет, он каталогизирует детали сцены и характера, он придумывает драматические конфликты, он движется к их разрешению. И все ни к чему. Эдмунд Уилсон сказал однажды о Скотте Фицджеральде, что, несмотря на то что все в его романах неправильно, они всегда живут. О романах Солженицына можно сказать прямо противоположное: несмотря на то что все в них правильно, они никогда не живут”.¹²

У большинства „образованцев” язык не повернулся бы сказать такое о „Раковом корпусе”. Они не согласились бы убить таким образом кусок собственной души. Они будут защищать „своего Солженицына”, в ком сосредоточилась для них в 1960-е годы надежда, что великая русская литература, совесть нации, жива. Они отшатнутся от заявления дружелюбного американца, что тем Солженицыным „двигали обычные, вполне конвенциональные литературные амбиции”.¹³ Даже в „Августе 14” будут они искать исчезающие следы прежнего вдохновенного пера, пусть хоть в некоторых батальных сценах, пусть хоть в отдельных характерах, хоть в случайных диалогах...

Им больно за этот талант, так трагически выродившийся

11 Лев Лосев. Великолепное будущее России. – „Континент”, № 42, 1985, с.292-293.

12 N.Podhoretz, op.cit., p.21.

13 Ibid., p.23.

в маниакальный и бесплодный ригоризм. Им стыдно за эту роковую метаморфозу, и горько за свою несбывшуюся надежду. Им кажется, что вина за это ложится и на них. Вот почему не касаются они в своем споре с Солженицыным его романа-эпопеи и в особенности новой редакции „Августа 14“, в которой содержится квинтэссенция сегодняшней истины Солженицына.

Ни в коем случае не намерен я нарушать эту неписаную конвенцию. В предыдущей главе я анализировал „Ленина в Цюрихе“ как политический памфлет. Здесь я буду анализировать „Август 14“ с точки зрения социологии литературы. Попросту говоря, я намерен столкнуть Солженицына-партийного пропагандиста с Солженицыным-литератором, как делал это в начале 1970-х гг. в Москве с лидерами „социалистического реализма“.¹⁴ Опыт свидетельствует, что при таком столкновении самые яростные адепты советских партийных канонов оказывались вдруг самыми беспощадными их критиками. Посмотрим, что расскажет нам о партийном кредо Солженицына текст новой редакции „Августа 14“.

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

Главный вопрос „Августа 14“: кто погубил русскую армию в лесах и болотах Восточной Пруссии? Кто виноват в самой трагической военной катастрофе России, которая определила и ход всей войны, и ее исход, и вылилась в конечном счете в политическую катастрофу 1917 года? Иначе говоря, это вопрос о судьбе России в XX веке.

Те, кто ответственен за бедствия августа 14-го, ответственные и за ту единственную, по-Солженицыну, Февральскую

Те, кто ответственен за бедствия августа 14-го, ответственные и за ту единственную, по-Солженицыну, Февральскую

¹⁴ См., напр., Движение молодого героя. Социологические заметки о художественной прозе 60-х годов. — „Новый мир, 1972, № 7; Рабочая тема. Социологические заметки о литературной критике. — „Литература и современность“, вып. 2, М., 1972; Производственная пьеса и литературный герой 1970-х. — „Вопросы литературы, 1972, № 8.

революцию, повернувшую ход русской истории. Согласно Солженицыну-партийному пропагандисту, ответ на этот вопрос однозначен: либералы, террористы, большевики, евреи, одним словом, „бесы”, вдохновленные декадентским Западом. Другого ответа с точки зрения императива „русской идеи” и быть не может. Ведь в противном случае окажется, как и думал прежний Солженицын, антимонархист 1930-х гг., что виновата в русской катастрофе гнилость православной монархии, ее вопиющая неспособность справиться с историческим упадком империи. Для Солженицына-пропагандиста такое признание было бы равносильно политическому самоубийству. Он знает свой партийный долг и делает все возможное, чтобы исполнить его в труде, в котором, как он думает, вершится суд истории.

С самого начала возникает на сцене в качестве обвиняемого Запад. Французский посол Палеолог пишет царю: „Умоляю Ваше Величество отдать приказ своим войскам немедленно начать наступление. В противном случае французская армия рискует быть раздавленной” (11; 21). Через несколько глав читаем письмо французского министерства иностранных дел своему послу (11; 53), а затем и иронический комментарий автора: „Вместо готовности 29 дней от мобилизации назначили наступать на 15-й день, при неготовых тылах, — такая нервная спешка всех охватила спасти Париж” (11; 89). Еще через несколько глав снова возникает тема „спасения Франции” (11; 108) как причина трудностей, испытываемых русской армией в Пруссии. Таким образом, Запад, как и положено ему по партийному канону, занимает свое законное место на скамье подсудимых.

Само собой разумеется, еще через несколько глав там же окажутся и большевики — в лице Ленина, который „действовал волей влекущей его силы” (11; 208) (что это была за сила, читателю уже известно) и захвачен здесь в самый момент зарождения предательского лозунга превращения империалистической войны в гражданскую (11; 231). Даже если монолог, вложенный в его уста Солженицыным, сомнителен с точки зрения литературного вкуса, он все равно заслуживает воспроизведения: „А-а, попался хищный стервятник с герба! — схваче-

на лапа, не выдернешь! Сам ты выбрал эту войну! Об-карнать теперь тебя — до Киева! до Харькова! До Риги! Вышибить дух великодержавный, чтоб ты подох! Только и способен давить других, ни на что больше! Ампутировать Россию кругом. Польше, Финляндии — отделение! Прибалтийскому краю — отделение! Украине — отделение! Кавказу — отделение! Чтоб ты подох!” (11; 230).

В этой замечательной тираде только одна маленькая неясность: почему, собственно говоря, отделение Польши или Финляндии, или Прибалтийского края, или даже Украины и Кавказа квалифицируется здесь как ампутация *России*, а не русской *империи*? Что именно так ненавидит солженищынский Ленин — Россию или империю? Если, как явствует из текста, империю, то в чем, собственно, не согласен с ним Солженищын? За что воюет он сегодня — за Россию или за империю? „Отчего бы нам с Польшей не жить, как вольный с вольными, как равный с равными? Отчего же всех мы должны забирать к себе в крепостное право? Чем мы лучше их?” Это вовсе не Ленин говорил, а Герцен. Или он тоже, по мнению Солженищына, виновен в намерении ампутировать Россию? Опасно иногда проговаривается Солженищын...

Как бы то ни было, большевики тоже занимают свое законное место на скамье подсудимых — в качестве обвиняемых в августовской катастрофе — даже если ничего, кроме безвкусного монолога, им в вину не вменяется.

Интеллигентов-нигилистов, т.е. „образованцев”, олицетворяет в действующей армии прапорщик Саша Ленартович, который, правда, никакого особенного вклада в августовскую катастрофу не вносит, кроме размышлений о бессмысленности этой войны и попытки сдаться в плен, когда армия уже разбита. Зато обе его тетки показаны Солженищыным пространно и многословно. Впрочем, их вина в катастрофе заключается лишь в попытках убедить племянницу-студентку в том, что монархия — позор для России. Это, конечно, может вызвать негодование у партийных „патриотов”, но прямого отношения к военным действиям не имеет (12; 66-113).

Что касается террористов, то они представлены на исто-

рической скамье подсудимых впечатляющем многообразии: „народоволки, анархисты, эсерки, максималистки” (12, 87) — но опять-таки только в воспоминаниях теток Ленартович, а не на поле боя в Восточной Пруссии.

Сюда же — к обвинению, предъявленному террористам, — входит и рассказанная больше, чем на двухстах страницах, история убийства Мордкой Богровым, чьи „прадед по отцу и дед по матери были виновными откупщиками” (12; 114), премьер-министра Петра Столыпина, который был „сыном генерал-адъютанта, правнуком сенатора” (12; 67). История эта, однако, заслуживает специального разговора, и я еще вернусь к ней в следующей главе. Здесь же лишь отмечу, что поскольку произошли эти события за три года до августа 1914-го, то прямого отношения к катастрофе они тоже как будто бы не имеют.

Наконец, в заключительной сцене романа опять возникает тема виновности Запада. Полковник Воротынцев, alter ego автора произносит перед русским генералитетом яростный монолог — с „той прямою, которая прощается мертвым” (12; 525).

Как Солженицын в „ГУЛаге” говорит с вождями советской империи от имени невинно погибших, так Воротынцев говорит от их имени с вождями русской империи. Но даже и в этом приступе гнева ясно отдает себе отчет Воротынцев, что не в желании спасти Францию коренилась причина катастрофы русской армии, но в умопомрачительной бездарности этих самых вождей, в их полной, совершенной и безнадежной неспособности вести армию, вести войну, вести Россию. „Мы не умеем водить части крупнее полка — вот вывод” (12; 528).

Вот как Солженицын, забывший в пылу негодования обязанности партийного пропагандиста, характеризует людей, которым доверена была в православной монархии судьба армии, фронта, войны, России. Постовский — „блеклый, нерешительный, но старательный генерал-майор, не бывавший сроду ни на одной войне” (11; 98); „это пресс-папье никогда ничего не понимало и понять не могло” (11; 297). Кондратович — „трус известный” (11, 160). Благовещенский — „мешок с дерьмом. Да жидким, протекает” (11; 160). Ключев — „жбан с квашней, а не генерал!” (11; 336); „никогда отроду не бывал на войне”

(11; 289). Артамонов — „врун”; „переодетый в генерала солдат-бегунок... Но почему он был генерал-от-инфантерии? Почему в его неосмотрительной власти оказалось 64 тысячи русских воинов?” (11; 161, 246).

О командующих корпусами действующей армии сказано следующее: „Генералы у нас — дураки и трусы” (11; 363). Жилинский, командующий фронтами — „живой труп”, „гробокопатель” (12; 519). Янушкевич, начальник генерального штаба — „бархатная тряпка” (12; 511), „по каждому его бабьему движению видно, что это — лже-генерал, и как же может состоять начальником штаба Верховного? И нет сил помешать ему погубить хоть и всю воюющую армию всей России” (12; 529-530). Данилов, главный стратег русской армии — „жвачный” (12; 529); „а лоб-то был туп!.. а мысли дохлые!” (12; 520). И, наконец, сам верховный главнокомандующий — „августейший Дылда... конечно, рост, вид, голос... а в голове — своего ничего” (12; 511).

Никто из этих людей не либерал, не еврей, не террорист, одним словом, не „бес”. Поставили их на места, которые они занимают, не тетки Ленартович, не Ленин и даже не Парвус. Главных из этих „дылд”, „жвачных” и „тряпок” назначил лично православный монарх (12; 497). Они в свою очередь на посты командующих фронтами, армиями и корпусами подобрали себе подобных. Что до „живого трупа” и „гробокопателя”, т.е. Жилинского, „он близок был ко двору Марии Федоровны” (11; 92), вдовствующей императрицы, той самой, что была единственной опорой Столыпина.

Как же случилось, что все они — от корпусных до верховного — представляют собой, во всяком случае, в изображении Солженицына, сплошную кунсткамеру, коллекцию монстров — один, так сказать, „мешок с дерьмом”? Кто погубил русскую армию в лесах и болотах Восточной Пруссии в августе 14-го — и с ней Россию? „Бесы” со своим „тысячекратным ревом о правах”? Они, кому следовало быть виноватыми, согласно Солженицыну — партийному пропагандисту и императиву „русской идеи”? Или монстры, созданные и поставленные к рулю той самой православной монархией, которую Солжени-

цын и его товарищи по вере в „русскую идею” предлагают сейчас в качестве политического идеала будущей России?

Солженицын-романист отвечает на этот вопрос без колебаний: виноват царизм. И этот ответ Солженицына-романиста превращает текст „Августа 14” в август 14-го для Солженицына — партийного пропагандиста.

РАЗДВОЕНИЕ ИСТИНЫ

Бездарность военного или политического руководства вовсе не монополия православной монархии. Такое может случиться при любом государственном строе, включая и ненавистный Солженицыну „парламентаризм”. Немыслимо, однако, представить себе главу государства или правительства в демократической системе, который не был бы устранен со своего поста немедленно после того, как его политика привела к военной катастрофе, предопределившей исход войны. При „парламентаризме” существуют легальные процедуры, делающие такое устранение минимально болезненным для страны в ситуации кризиса. Иначе говоря, при „парламентаризме” военная катастрофа вовсе не обязательно должна превратиться в катастрофу национальную. Роковой порок средневековой православной монархии в том и состоит, что безболезненное исправление ошибок государственной политики в ней невозможно. Вот почему она делает национальную катастрофу *неизбежной*.

Солженицын-писатель демонстрирует это в заключительной сцене романа, кончающейся полной и безусловной победой монархических монстров и крахом Воротынцева, питавшего смутную, утопическую, солженицынскую надежду, что православную монархию еще можно спасти в последнюю минуту — от самой себя. Оказалось нельзя.

Солженицын превосходно знает, как знал Константин Аксаков, что православная монархия представляла собою общественное устройство, при котором „всеобщее развращение или ослабление нравственных начал дошли до огромных разме-

ров”. Знает, что развращение это „сделалось уже не личным грехом, а общественным”, что „здесь является безнравственность целого общественного устройства”. Солженицын-романист яростно эту безнравственность обличает: „Чем выше штаб... тем резче, непременно жди там – самолюбов, чиновников, окостенелых... Не одиночки, но целая толпа их, кто понимает армию как удобную, до блеска чищеную и ковром выстланную лестницу, на ступеньках которой выдаются звезды и звездочки” (11; 116). „Ковровая лестница возвышений” устроена при православной монархии так, что „лучше продвигаются по ней не волевые, а послушные, не умные, а исполнительные, кто больше сумеет понравиться высшим” (11; 120), что идет это продвижение „по стажу бездарности и по придворным протекциям” (11; 120).

Самое убийственное для православной монархии, однако, согласно Солженицыну-романисту, это то, что „главный тон им всем – задавал государь” (12; 306). И поэтому, если даже чудом в ситуации экстраординарного национального кризиса выдвинется к рулю православной монархии действительно человек государственного ума, такой, как Петр Столыпин, не оценит его монархия, не убережет, предаст. И останется он в истории как вешатель для левых и „предатель” для правых (12; 305). И будет хоронить „Россия своего лучшего – за сто лет, или за двести – главу правительства – при насмешках, презрении, отворачивании левых, полулевых и правых. От эмигрантов-террористов до благочестивого царя” (12; 305-306).

Для Солженицына-романиста православная монархия – „это омут. Дегтярный. Даже круги не пойдут” (12; 512), что бы ни сделали для ее спасения преданные ей люди. Воротынец „кинулся в операцию, потому что думал – судьба армии и победа решаются в низах, на деле. Но когда на верхах *так чувствуют* – это уже за пределами тактики и стратегии” (12; 513). Действительно, это в области политики, о которой так безапелляционно судит Солженицын – партийный пропагандист, настойчиво, строка за строкой, слово за словом сбиваемый с позиций Солженицыным-романистом.

Вся полемика Солженицына с „нашими плюралистами”

основана на утверждении, что „истина одна” (и потому нет необходимости в плюрализме, потому плюрализм — ложь). Но в „Августе 14” мы убеждаемся, что есть по меньшей мере две истины: одной владеет романист Солженицын, другой Солженицын-пропагандист. Которому из этих двух, беспощадно отрицающих друг друга Солженицыных, должны мы верить? В самом конце „Августа 14” у одного из них неожиданно вырывается: „Вот, вдруг тоскливое ощущение за всех нас — не на месте... Заблудились. Не то делаем” (12; 514).

Именно это и говорят „наши плюралисты” Солженицыну: заблудились вы, Александр Исаевич, не то делаете, не туда зовете страну. Уже столкнула однажды в пропасть Россию православная монархия. Неужто вы хотели бы видеть у руля ее в грозный ядерный век еще одного Николая Второго? Еще один „мешок с дерьмом”?

Солженицын-партиец знает, что „применять свои ценности при оценке чужих суждений есть невежество и насилие”,¹⁵ но только и делает, что „применяет”, повторяя вслед за Леонтьевым: „На что нам Россия не самодержавная и не православная! На что нам такая Россия?”

Право, лучше не закончить мне эту картину противоборства двух Солженицыных, нежели адресовать к обоим заклинание одного из них: „И в последней надежде я все это написал и взываю... господа, товарищи, очнитесь же! Россия — не просто же географическое пространство, колоритный фон для вашего „самовыражения”. Если вы продолжаете изъясняться на русском языке, то народу, создавшему этот язык, несите же что-нибудь доброе, сочувственное, хоть сколько-нибудь любви и попытки понять”.¹⁶

15 „Вестник РХД”, № 139, с.134.

16 Там же, с.154.

ДЬЯВОЛИАДА—2

Я попытался показать эволюцию „русской идеи” на протяжении полутора столетий. Три поколения ее проповедников жили при православной монархии и одно — в советский период. Полагаю, этого достаточно, чтобы судить о том, как поступают они, когда противоречие между доктриной и реальностью становится очевидным (например, что случилось с Солженицыным в „Августе 14”). Один из стереотипов поведения адептов „русской идеи” состоит, как мы видели, в переводе политического спора в плоскость метафизики, в сферу борьбы абсолютного Добра с абсолютным Злом, в область противостояния России Дьяволу. Именно это делали идеологи ВСХСОНа и читатели „Вече”, возрождая к жизни „сатанократию”. Так поступает и редактор „Континента” В.Максимов, — подменяя современную политику метафизикой, и эмигрантский публицист Б.Парамонов, — подменяя политическую доктрину славянофилов „культурфилософией”.

Другой образец состоит в том, чтобы обвинить в русских бедах кого-нибудь нерусского. Для славянофилов второго поколения, например, роль дьявола-искусителя исполняла парламентарная Европа: „Было время, когда русские верхние классы... обольщенные соблазном западной цивилизации... спешили отречься от своей народности... Не имея возможности тотчас *переродиться*, они торопились *перерядиться*. Ложь чужой национальности щеголяла открыто в напудренном парике... Настало другое время... русские люди... верхние классы общества *переродились*... полнейшее духовное лакейство пред

Европою”.¹ Это Иван Аксаков. В третьем славянофильском поколении роль виновника всех российских бед прочно укрепилась за евреями.

Наконец, еще один – и самый замечательный – образец аргументации проповедников „русской идеи” в экстремальной ситуации: объединение евреев и Дьявола в одну риторическую фигуру всемирного Зла. Так поступил, как помнит читатель. Одинзгоев. Так поступил Солженицын в Дьяволиаде -1, где Израиль Парвус счастливо оказался и евреем и сатаной.

УБИЙЦА МОНАРХИИ

Очередная смена идеологических вех в „Августе 14” поставила Солженицына-партийца перед непримиримым противоречием: либералы, которым, согласно императиву „русской идеи”, полагалось быть виновниками катастрофы православной монархии, оказались, согласно Солженицыну-романисту, ни при чем. Вместо доказательства партийного тезиса получился конфуз. „Август 14” в своей первой редакции был беспощадным, не оставляющим никаких лазеек обличением православной монархии. Как примирить это противоречие?

Повинуясь традиционным образцам поведения проповедников „русской идеи” – и не останавливаясь даже перед разрушением художественной целостности романа, – Солженицын вводит в новую редакцию еврейскую тему.

В центре ее оказывается не имеющая никакого отношения к августовской катастрофе история Петра Столыпина, прозрачно символизирующего Россию, и еврея Мордки Богрова, убивающего Россию, повинуясь „трехтысячелетнему, тонкому, уверенному зову”² своей расы. В художественном смыс-

1 И.С.Аксаков. Соч., т.2. М., 1886, с.256.

2 А.Солженицын. Собр.соч., т.12. Париж, 1983, с.146. Далее ссылки даны в тексте, первая цифра – том, вторая – страница.

ле история эта губительна для „Августа 14”, в партийно-политическом — она предназначена его спасти. Ибо никак иначе нельзя доказать, что, несмотря на предсмертный старческий маразм православной монархии, так откровенно продемонстрированный самим Солженицыным, умерла она все-таки не сама по себе, но была сокрушена „бесами”.

Солженицын не оставляет у читателя ни малейшего сомнения в том, что только Столыпин способен был обеспечить православной монархии счастливое будущее, что в нем заключалась единственная надежда России противостоять „бесам”. „В оправданье фамилии, он был действительно *столпом* государства. Он стал центром русской жизни, как ни один из царей. (И вправду, качества его были царские.) Это опять был *Петр над Россией*” (12; 223). Под водительством нового Петра „Россия выздоравливала непоправимо” (12; 226). Что Богров, стреляя в Столыпина, стрелял тем самым в „сердце государства”, (12; 223) сомнений опять-таки быть не может. Он убил „не только премьер-министра, но целую государственную программу”, повернув таким образом „ход истории 170-миллионного народа” (12; 223).

С другой стороны, читатель не должен оставаться в неведении, что ход этой истории был повернут именно евреем. И Солженицын вводит в текст подлинные слова Богрова: „Позвольте вам напомнить, — говорит Богров, — до сих пор живем мы под господством черносотенных вождей. Евреи никогда не забудут Крушеванов, Дубровиных, Пуришкевичей. А где Герценштейн? А где Йоллос? Где тысячи растерзанных евреев [мужчин, женщин и детей с распоротыми животами, с отрезанными носами и ушами] ?” (12; 132).³ Даже критик, вполне сочувствующий Солженицыну, вынужден отметить: „С самого начала имя Богрова в повести окружено почти исключительно еврейскими именами... Нееврейских имен вокруг Богрова почти нет, тогда как в документах их больше половины... Для Солженицына не так важно, что Богров пошляк,

3 В квадратных скобках часть подлинного высказывания Богрова, опущенная Солженицыным.

как то, что он еврей”.⁴ „Я боролся за благо и счастье еврейского народа”, — скажет в день повешения Богров. И Солженицын подтвердит: „Это было — единственное несменяемое из его показаний” (12; 320). „Тут — Богров не комбинировал, не изобретал, он оставался верен до конца своему народу” (12; 287).

НОВАЯ ДИЛЕММА

Итак, 2 сентября 1911 г. в Киевском городском театре еврей Мордка Богров, повинувшись „трехтысячелетнему тонкому, уверенному зову” своего народа, убил православную русскую монархию. „Этими пулями была убита уже — династия” (12; 250). „Ход истории 170-миллионного народа” был прерван в этот день насильственно и бесповоротно. И виновность „бесов” была доказана. Центральное противоречие „Августа 14” как будто бы устранено: второй метод аргументации проповедников „русской идеи” сработал... Или нет?

В самом деле, не слышали ли мы уже от Солженицына, что „повернула ход нашей истории да и всей земли” некая „решающая революция”, а вовсе не выстрел Мордки Богрова? Речь там, помнится, шла о феврале 1917 г., а не о сентябре 1911-го. И „решающий” характер этой Февральской революции как будто бы именно в том и состоял, что либералы со своим „тысячекратным ревом о правах” „разгрохали” православную монархию, свергли трехсотлетнюю династию. Как же в таком случае умудрился убить эту самую династию Богров, повешенный за несколько лет до того? И что на самом деле повернуло „ход нашей истории да и всей земли” — еврейская террористическая акция или либеральная революция?

Как видим, Солженицын опять оказался перед драматической дилеммой. В процессе устранения одного противоречия родилось новое, еще более глубокое. Неужели десять глав,

4 Л.Лосев. Великолепное будущее России. — „Континент”, № 42, 1985, с.314-315.

230 страниц, безжалостно искаленная художественная ткань романа – все впустую? Как решить эту дилемму? Как уравнять перед судом истории либеральную революцию и еврейский террористический акт? Стоит представить себе ее масштабы, чтобы увидеть, что Дьяволиада-2 по сути в ней запрограммирована. Только приписав террористическому акту сверхчеловеческое значение, только возвысив его до статуса абсолютного Зла, замыслов которого не можем мы знать, как не знаем мы замысла Божия, способен автор устранить хронологический разрыв, слив воедино сентябрь 1911 г. и февраль 1917-го, презренного Богрова и ненавистных либералов, – все они, в конце концов, оказываются орудием единого надмирного Зла, поднявшего меч на Россию.

Короче, мало несчастному Богрову, что он еврей, приходится ему, как и Парвусу, принять на себя роль дьявола. Только если дьявольское естество Израиля Парвуса предстало в облике бегемота, то дьявольская сущность Мордки Богрова появится перед читателем в более традиционном обличье – библейского змия.

Дьяволизация Богрова, если можно так выразиться, происходит постепенно, вводится осторожно, поначалу вполне незаметными штрихами. Вот Богрову удается „проползти бесшумно, невидимо, между революцией и полицией” (12; 124). Через несколько страниц собеседник увидит его вдруг „с передлинненными верхними двумя резцами, они выдвигались вперед, когда при разговоре поднималась верхняя губа” (12; 131). Еще через несколько страниц он будет ползти по шесту – „совершенно гладкому, без зубурин, без сучка... ни за что не держась” (12; 138), „всем телом своим тереться и переползать по неправдоподобиям” (12; 141). Страницей дальше сходство со змием растет: Богров „с удлинненной стиснутой головой, постоянно чуть изогнутой набок, с постоянно несомкнутыми губами” (12; 142). Ни жало, ни яд еще не упоминаются, только „узкая голова чуть на сторону” (12; 143), только „завораживает, как пение редкой птицы, вытянувшей шею, и даже врагам своим в такие минуты он кажется милым” (12; 144), хотя – и тут впервые метафора становится опасно откры-

той — „он хотел только впустить между ними каплю расслабляющего яда” (12; 144).

Теперь у читателя сомнений нет: перед ним змий. А Богров все полз по роковому шесту, „вился, вился” (12; 157) со своим „привораживающим взглядом, чуть набок плосковатую голову” (12; 158). И — автор даже посочувствовал ему — „как уже устали все мускулы кольца!” (12; 163). Но все это время „те несколько нужных капель для рокового мига должны были накопиться, насочиться — в мозгу? в зубу? в зубу?” (12; 146). Вот как видит Богрова Столыпин, когда наступил наконец „роковой миг” — ужалить: „шел, как извивался, узкий длинный, во фраке, черный... долголицый молодой еврей” (12; 248). Ужалил, „змеясь черной спиной, убежал” (12; 249). Образ еврея слился с образом змия. Только библейский ли это был змий?

ТРАДИЦИОННЫЙ СИМВОЛ

Едва ли может быть сомнение, что Солженицын прибег к этой новой Дьяволиаде от отчаяния — от невозможности реалистическими художественными средствами примирить безжалостное противоречие между реальностью, отвергающей императив „русской идеи”, с партийным канонам. Но не слишком ли часто, не опасно ли часто приходится ему самому „переползать по неправдоподобиям”? Не слишком ли гладок, „без зазубрины, без сучка”, оказывается тоненький перешеек, отделяющий антилиберализм от черносотенства, а черносотенство от нацизма?

„Аллегорическая змея, — говорит Уолтер Лакер, — играла огромную роль в русской антисемитской литературе и была импортирована в Германию в 1920-е гг.”.⁵ В следующем десятилетии, уже при нацистах, Григорий Бостунич — „недостающее

⁵ Walter Laqueur, *Russia and Germany: A Century of Conflict*. Weidenfeld and Nicolson, 1965, p.123.

звено между черносотенством и нацизмом”⁶ – отыскал в архивах древнюю карту Европы, переплетенную змеей. Согласно его комментариям, змея символизировала именно то, что символизирует она у Солженицына, – только у образованного Бостунича в глобальном масштабе: историю успешных попыток евреев „разгрохать” государства, стоявшие на их пути к мировому господству. Тут и Афины в 429 г. до н.э., и Рим Августа, и Испания при Карле Пятом, и Франция при Людовике Четырнадцатом, и, конечно же, Россия в 1917 г. Именно за это „открытие” Бостунич и был произведен в почетные профессора СС. Параллель с традиционной символикой черносотенства-нацизма настолько очевидна, что даже благожелательный эмигрантский критик Лосев не смог ее не отметить: „В самом образе змеи, смертельно ужалившей сотворяющего крестное знамение славянского рыцаря, антисемит без труда может усмотреть параллель со своей любимой книгой „Протоколами сионских мудрецов”.⁷ Едва ли нужно быть антисемитом, однако, чтобы усмотреть эту прозрачную параллель в новой редакции „Августа 14”...

Что же в самом деле „накапляется” у Солженицына „в мозгу? в зубу? в зубу?”, что делает его неспособным сопротивляться дьявольскому искушению отождествить еврея с дьяволом?

СТОЛЫПИН ПРОТИВ СОЛЖЕНИЦЫНА

Самое печальное во всей этой истории, однако, заключается в том, что и дьявол не спасает „Август 14”. Ибо, как демонстрирует Солженицын-романист, пули Богрова поразили политического мертвеца. К сентябрю 1911 г. Столыпина как государственного деятеля уже не существовало.

6 Ibid., p.101.

7 Л.Лосев. Великолепное будущее России, с.315.

В политической катастрофе Столыпина, точно так же как в августовской военной катастрофе, ни Запад, ни либералы, ни евреи, ни дьявол не были повинны. Если, конечно, не считать либералом или западником Григория Распутина, который, как отмечает Солженицын, „предлагал нижегородскому губернатору пост министра внутренних дел” при живом министре внутренних дел Столыпине. За полгода до богровского выстрела „чуткие придворные носы распознали, что Государь бесповоротно охладел и даже овраждебнел к Столыпину. И в сферах стала складываться вокруг Столыпина атмосфера конченности” (12; 239), „где-то за кулисами и не проявлясь, Государь уже отказался от своего министра-председателя” (12; 232).

В Государственном Совете, где генерал Курлов, которого прочли в преемники Столыпина, имел много сторонников, уже весной 1911 г. „откровенно говорили, что тот доживает последние недели, а то и дни, и его переместят на какую-нибудь почетную бесполезную должность” (12; 262). Более того, „значение министра-председателя было настолько явно для всех утеряно... что для Курлова было почти унижение — выбиться из общего тона и серьезно принимать во внимание своего бывшего шефа” (12; 265). „Курлов смотрел и поражался, как бесповоротно пал в своем значении председатель Совета министров. Он попросил у Курлова место в его железнодорожном вагоне в Чернигов.

— Как, разве ваше превосходительство не имеет места на царском пароходе?

— Меня не пригласили.

Последний знак унижения и немилости! Да, в малые дни предстояло ему потерять пост” (12; 266-267).

Так вправду ли стрелял Богров в „сердце государства”? Правда ли, что убил он „не только премьер-министра, но целую государственную программу”? Правда ли, что выстрел его „повернул ход истории 170-миллионного народа”? Неправда. Ход этой истории был повернут задолго до его выстрела. И Столыпин знал это лучше своего запоздалого апологета. Солженицын утверждает: „Русская жизнь выздоравливала — непоправимо”. Столыпин вносит поправку: „Вот еще несколько лет проживут

на моих запасах, как верблюды живут на накопленном жиру, а после того – все рухнет” (12; 243). И в отличие от Солженицына, не винил он в этом близком, при дверях („еще несколько лет”) крушении ни либералов, ни террористов, ни Запад.

ДВА ПЕТРА

Солженицын пишет о Столыпине так, словно тот был первым русским реформатором, чья смелая программа государственного строительства провалилась. До Столыпина был, однако, Александр Второй, чью программу государственного строительства опрокинула контрреформа другого православного монарха Александра Третьего. А до того был Александр Первый, чьи реформистские попытки сменились сначала политической стагнацией, а затем и „душевредным деспотизмом” еще одного православного монарха Николая Первого. Возникали на русской политической сцене реформистские лидеры и после Столыпина: Керенский, Бухарин, Хрущев. Результаты их попыток несколько, однако, не отличались от тех, которыми кончались попытки императоров и их премьер-министров, то есть либо контрреформой, либо политической стагнацией.

Но вернемся к Столыпину. Для левых он вошел в историю как царский сатрап, подавивший революцию и разогнавший Государственную Думу. Для правых – как „предатель” и „революционер”. Это правда, что его не поняли ни современники, ни потомки. И если бы Солженицын попытался восстановить его истинную роль в русской истории, это была бы благодарная задача. Солженицын, однако, пишет апологию, житие святого Петра. Это оказывает дурную услугу памяти Столыпина. „Как верующему невозможно делать что-либо серьезное, говоря и полагая, что он делает это своей мощью, а не по Божьей милости, так монархисту невозможно браться за большое дело для родины, выйдя из пределов монархопочитания” (12; 188). Таким образом, Солженицын превращает Столыпина в тривиального реставратора православной монархии в то время,

как он был одним из выдающихся ее разрушителей. И монархия это превосходно понимала – потому и убила его.

Сравнивая Столыпина с Петром Первым, одним из главных столпов „душевредного деспотизма“, легализовавшим двойное рабство русского крестьянства – помещикам и общине, Солженицын оскорбляет память Столыпина, смысл деятельности которого состоял в разрушении этого рабства. Они принадлежали не только к различным, но к смертельно враждующим между собою русским политическим традициям. Петр осуществил одну из самых страшных контрреформ в русской истории, приведшую страну, даже по мнению ближайших его сотрудников, „на край конечной гибели“, а Столыпин, – несмотря на подавление революции и разгон Думы, – был реформатором.

Как сказать в нескольких словах о том, что различает этих двух Петров, если началось их роковое противостояние еще в те времена, когда ни императоров, ни премьер-министров, ни тем более секретарей центрального комитета не существовало? Началось оно со Столыпина пятнадцатого века – Великого князя Московского Ивана Третьего, затеявшего первую русскую реформу, и с внука его Ивана Четвертого, который семь десятилетий спустя ответил на вызов деда сокрушительной контрреформой. В самой сжатой форме различие это сводится к тому, что реформаторы пытались разрушить средневековую политическую систему, а контрреформаторы – ее увековечить.

Главным средством разрушения средневековой системы повсюду в Европе служило создание сильного среднего класса. Предотвратить это разрушение можно было только одним способом: препятствуя возникновению этого класса. А поскольку единственным известным европейской истории способом создать сильный средний класс была свободная дифференциация крестьянства, надо было ее насильственно прекратить. Крепостное право, крестьянская община, коллективизация сельского хозяйства – это все сменявшие друг друга в русской истории формы искусственного прекращения крестьянской дифференциации, это – институционализированная контрре-

форма. Это – традиция православной монархии, где, согласно Солженицыну, „осознанно, неосознанно, весь правящий класс дрожал и корыстно держался за свои земли – дворянские, великокняжеские, удельные: только начнись где-нибудь, какое-нибудь движение земельной собственности – ах, как бы не дошло и до нашей” (12; 192).

На протяжении столетий православная монархия упорно держала форт против среднего класса и дифференциации крестьянства. Политический идеал ее строителей заключался в могущественной военной империи, для которой сильный средний класс был только помехой, потенциальным конкурентом, правящего военно-бюрократического слоя. Она была создана для войны, не для процветания общества. Она видела свою цель и славу – в строительстве империи, в подавлении других наций, а не в благоденствии подданных. И поэтому она столетиями цементировала все щели возможной дифференциации крестьянства.

В этом смысле Иосиф Сталин, загнавший крестьян в колхозное рабство, был достойным продолжателем Ивана Четвертого и Петра Первого, которым обязано русское крестьянство своим рабством помещикам и общине.

В этом смысле Хрущев с его реформой, открывавшей дорогу автономии и самостоятельности крестьянских артелей, был продолжателем Александра Второго и Петра Столыпина, разрушавших крепостное право и общину, а с ними – „осознанно, неосознанно” – и средневековую империю.

БЕЗ СТРАТЕГИИ

Трагедия России заключается, однако, в том, что ее реформаторы всегда терпели поражения, а ее контрреформаторы – будь то в православной монархии или в ее советском инобытии – всегда торжествовали победу. И поэтому самая фундаментальная проблема русской истории состоит, по-моему, в том, почему Россия оказалась единственной в Европе страной, где все без исключения реформы, ориен-

тированные на расчищение каналов дифференциации и создание сильного среднего класса, провалились. Повинуясь императиву „русской идеи”, Солженицын даже не замечает этой проблемы. И все-таки, описывая поражение одного из русских лидеров реформы, он невольно проливает свет на механику постоянных провалов русской реформы.

На десятках страниц сообщает Солженицын читателю все детали „государственной программы” Столыпина, его реформаторские планы. Но нигде, ни единым словом не обмолвились ни автор, ни его герой о том, *как* могли быть эти планы реализованы — посредством каких политических коалиций, при помощи каких инструментов, каких маневров, опираясь на какую политическую базу. И невольно возникает вопрос: да была ли вообще у Столыпина какая бы то ни было политическая стратегия? Какая бы то ни было политическая база? Солженицын убеждает: *не было никакой*.

Здесь он невольно, вопреки собственным намерениям затрагивает роковую слабость всех русских реформаторов. У всех у них были „государственные программы”. Ни у кого из них, однако, не было разработанной, реалистичной, серьезной политической стратегии реализации этой программы. Ни один из них — в отличие, скажем, от Бисмарка или Кавура — не знал, *как* ее осуществить. Но даже на фоне этой общей слабости русских реформаторов Столыпин выделяется своей отчаянной политической беспомощностью. Снова и снова повторяет Солженицын, что со Столыпина „мог начаться и начинался коренной период в русской истории” (12; 201), „3 июня было началом великого строительства России... (12; 205). Однако из фактов, которые он приводит, читатель убеждается в обратном. Столыпин полностью зависел от капризов пустого и ничтожного царя, которому совершенно не было дела до его „государственной программы” и который в любую минуту мог „легко отшатнуться и предать своего министра” (12; 189). А царь этот сам, согласно Солженицыну, был во власти „высшего служилого и придворного слоя” (12; 227), людей, о которых Столыпин думал: „Сколько же десятков — или сотен? — таких карьерных шкур и составляли слой власти в России” (12; 213). А „слой

власти”, естественно, отвечал ему тем же. Для него Столыпин был „интриган [который] обольстил, обморочил Государя, и передержался на своем посту – но по всем счетам ему пора было убираться!” (12; 227).

НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА

Уже осенью 1908 г., т.е. за три года до богровского выстрела, солженицынский Столыпин выглядит скорее, как генерал Ярузельский в сегодняшней Польше. Столыпин разогнал Думу. Ярузельский разогнал „Солидарность”. Столыпин был предан анафеме либералами и Западом. Ярузельский – тоже. Столыпин оказался „предателем” и „интриганом” в глазах правых бронтозавров, которых он спас в момент подъема революции. В глазах польских партийных бронтозавров, которых он спас от „Солидарности”, Ярузельский такой же интриган и предатель. Но едва непосредственная опасность миновала, „политика Столыпина стала им всем нетерпима и невозможна... им *всем*... придворной камарилье, которой при конституционном строе ничего не остается делать, как только исчезнуть; оставшим бюрократам, всем неудавшимся правителям, плотно сжившимся в правом крыле Государственного Совета (он был засижен оставшими бездельниками, и в них останавливалось продвижение живого дела, как в старческом организме останавливается кровь); и – той зубровой части дворянства, которая полагала господствовать Россией еще столетия вперед, не поддавшись на вершок” (12; 217).

В политическом отношении вся разница между Ярузельским и Столыпиным в том, что первого держит на плаву Москва, а последнего не держал никто. Вот почему уже с осени 1908 г. Столыпин был политическим мертвецом. Вот откуда возникло у него самого „ощущение почти сплошное – разгрома, и не в одном этом законе, а – во всем пятилетии управления, во всех замыслах жизни” (12; 239).

Перед нами все та же кунсткамера, та же коллекция мон-

стров православной монархии, которая привела русскую армию к августовской катастрофе. Только там были генералы, осуществлявшие военную политику России, а здесь — „придворная камарилья”, „отставные бездельники” и „зубры”, — осуществлявшие государственную политику православной монархии. Это они убили Столыпина — точно так же, как полстолетия спустя их наследники убили Хрущева. Они привели государственный корабль России на рифы контрреформы так же, как военные монстры и „мешки с дерьмом” привели ее к катастрофе августа 14-го.

Выходит, зря насилывал Солженицын свою музу, повинуюсь стопятидесятилетнему тонкому, уверенному зову „русской идеи”, зря втискивал в новую редакцию „Августа 14” сотни страниц, посвященных злокозненным либералам и кровавым террористам, зря осквернил ее еще одной Дьяволиадой, зря воскресил библейского (или нацистского?) змия. Точно так же, как предала православная монархия его героев Воротынцева и Столыпина, „русская идея” предала Солженицына.

ПРОГРАММА ШИПОВА

Пора, однако, обратиться к „государственной программе” будущей России, которую Солженицын позаимствовал, по его словам, у Дмитрия

Шипова и за невнимание к которой так обиделся он на своих оппонентов. „Петит ли мелок, глаза не берут?” — ядовито спрашивал он „образованцев”. Не знаю, как у других, мои глаза „берут” в ней только старую аксаковскую программу „земского государства”, оказавшуюся безнадежным анахронизмом уже в 1880-е годы. Правда, в 1881 г. Иван Аксаков снова вытащил ее из славянофильских сундуков в отчаянной попытке убедить Александра Третьего созвать Земский Собор, „способный посрамить все конституции в мире”.⁸ Он не скрывал

⁸ П.А.Зайончковский. Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880 гг. М., 1984, с.452.

тогда, что „это *последняя ставка*: пропади она — выйдет фиаско, спасения больше нет”.⁹ Дело только в том, что „последняя ставка” провалилась в 1880-е гг. так же, как за два десятилетия до того. Окончательно обанкротилась она в 1904 г., когда „русская идея” пошла другим путем, оставляя далеко на обочине кучку славянофильских сектантов „неподвижного аксаковского стиля”, как говорил о них Леонтьев, „земских меньшевиков”, как называет их Солженицын, представлявших, по его же словам, „крохотное меньшинство”, „меньшинство утлое” (13; 81,83) даже среди самих деятелей русского земства XX века.

Вот эту сектантскую кучку хранителей славянофильских древностей и возглавлял Дмитрий Шипов, и ее-то архаическую программу, трижды за полстолетия отвергнутую православной монархией, и предлагает сейчас Солженицын как средство спасения России в ядерном веке.

Для читателя, познакомившегося с исторической драмой „русской идеи”, в программе Шипова—Солженицына нет решительно ничего нового. Ядро ее в утверждении, что государство не есть потенциальный враг общества, из чего традиционно исходили западные мыслители и отцы-основатели американской конституции, а, напротив, его потенциальный сотрудник. „Русские искони думали, — пишет Солженицын, — не о борьбе с властью, но о совокупной с ней деятельности для устроения жизни по-божески” (13; 84).

В программе, разумеется, воскрешается славянофильский миф, десятилетия назад опровергнутый классиками русской историографии: „Так же думали и цари Древней Руси, не отделявшие себя от народа... Прежние государи искали творить не свою волю, но выражать соборную совесть народа — и еще не утеряно восстановить дух того строя” (13; 84). „И такой строй — выше конституционного, ибо предполагает не борьбу между Государем и обществом, не драку между партиями, но согласные поиски добра” (13; 84). Поэтому „должно возродить в новой форме Земские Соборы, установить государст-

9 Л.Г.Захарова. Земская контрреформа 1890 гг. М., 1968, с.462.

венно-земский строй” (13; 84-85), иначе говоря, самодержавие в сочетании с местным самоуправлением. „Без взаимного доверия [между государством и обществом] нельзя ожидать прочного успеха в устройении государства... Да это и была программа Шипова и его меньшинства!” (13; 86).

Неважно, что никогда такого „государственно-земского строя” в России не существовало. Неважно, что ни Аксаков, ни Шипов, ни Солженицын *никогда* не могли привести *ни одного примера* в подтверждение славянофильского мифа. Неважно, что программа сочетания самодержавия и самоуправления, которую на словах признавали все славянофилы, у большинства представителей их третьего поколения отлично уживалась тем не менее с самым диким шовинизмом и черносотенством, с необузданными имперскими амбициями. Неважно, наконец, что сам этот лозунг — „сочетание самодержавия и самоуправления — историческая дорога наша” — был одним из краеугольных камней имперской утопии выродившегося славянофильства XX века. Важно, что у Солженицына есть программа, на которую „образованцам” нечего ответить. Можно ли, однако, упрекать их за отказ серьезно обсуждать такие обветшавшие пустяки?

Но допустим даже, что это — превосходная программа. Все равно остается старый вопрос: почему ни Александр Второй, ни Александр Третий, ни Николай Второй ее не приняли? Почему убила ее та самая православная монархия, которую воспевают теперь, после очередного политического отречения, Солженицын? И какие есть у нас основания ожидать, что, скажем, Александр Четвертый или Николай Третий окажется не фашистским фюрером новой России, а благолепным древнерусским государем, заимствованным из славянофильской мифологии?

Увы, так же, как „Август 14” оказался художественной катастрофой Солженицына, программа Шипова оказывается его катастрофой политической.

КОГДА СПЯЩИЙ ПРОСНУЛСЯ. ФАШИЗМ: ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Читательская почта „Вече” так же, как и „Слово наши”, достаточно ясно продемонстрировали пропасть, разверзшуюся между национал-либеральными интеллектуалами и „православно-патриотическими” массами задолго до нового издания „Августа 14”. Есть основания полагать, что некоторые лидеры либерального национализма, и в частности Солженицын, были обеспокоены этим растущим разрывом и пытались сократить его, идя, так сказать, навстречу пожеланиям масс.

В одном из читательских писем, например, — задолго до публикации „Архипелага ГУЛага” — Солженицына упрекнули: „В обильных лагерных отступлениях у вас не найдешь упоминания, что Натан Френкель был начальником ГУЛага, Берман — начальником строительства Беломор-канала, Коган — начальником строительства дороги Котлас—Воркута и т.п.”.¹ И Солженицын должным образом вводит все эти имена — и даже фотографии — в текст „Архипелага”.

Автор „Критических заметок” о „Вече” протестовал против отсутствия Григория Распутина в „Августе 14”.² И Распутин появляется на страницах второго издания.

1 Цит. по: Приложение № 1. — В статье: М. Агурский. Неонацистская опасность в Советском Союзе. — „Новый журнал”, № 118, 1975, с. 205.

2 Там же, с. 220.

Читатель жаловался в 1971 г.: „Я не знаю точно, кто вы – русский или еврей?.. Может быть, вы русский человек, на которого давит окружение, жена-еврейка... Тогда я прошу об одном – подумайте о своем народе. Поймите, что возврата к буржуазно-еврейской республике нет, что советы – это русская форма народоправства, которая еще обретет силу”.³ И к советам будет высказана должная симпатия в „Письме вождям”, и крик отчаяния „подумайте о своем народе” будет в это письмо инкорпорирован, и „буржуазно-еврейская” республика февраля 1917-го будет подобающим образом проклята в „Наших плюралистах”. А уж что касается арийского происхождения Солженицына, оно будет столь красноречиво продемонстрировано в обеих его „дьяволиадах”, что даже у самого скептического патриота не может остаться ни малейших расовых претензий.

При всем том, однако, ни Солженицын, ни его товарищи по либеральному национализму, ни тем более западные его попутчики не оказались в состоянии перескочить пропасть, отделяющую их от „православно-патриотического” читателя. Не могут они, в конце концов, последовать совету „христианского националиста” иеродиакона Варсонофия и приступить к „изысканию способов практического сближения” с коммунистическим государством. Не могут они начать проповедовать „переориентацию” коммунистической диктатуры с тем, чтобы она положила конец „беспорядочной гибридации” и „исполнила свой долг перед нацией и расой”. Их православию, в отличие от антоновского, претит воссоединение с ленинизмом. И так же, как не смог сделать этого Осипов, не в состоянии они посвятить себя пропаганде „процентной нормы” для евреев и уподобиться физику-теоретику Тяпкину, разоблачая Эйнштейна как псевдоученого. Не желают они реабилитировать Сталина даже на том основании, что „он любил беседовать с патриархом”. Другими словами, не в силах они переступить через свое отвращение к „душевредному коммунизму”, так же, как не мог в свое время Иван Аксаков разделить имперско-черносотенные восторги Сергея Шарпова.

3 Там же, с.218.

Старая славянофильская драма повторяется снова — на подмостках XX века. Как и славянофилы, эти люди первыми заговорили о православном возрождении. Как и славянофилы, приложили они много стараний к тому, чтобы разбудить православно-патриотического патриархального мужика их утопий. И так же, как славянофилы, разбудили они вместо этого чудовище, которого не ожидали и с которым оказались не в состоянии говорить на одном языке. Разбуженный православно-патриотический читатель потребовал от них не только примирения с ненавистным им „душевредным коммунизмом” — во имя спасения России — но и доказательства их собственной арийской полноценности.

ПЕРЕХОД

Таким образом, „Слово нации” и „Критические заметки русского человека” показали, что национал-ли-

берализм обречен превратиться в изолированную сектантскую группу хранителей музейных славянофильских древностей, в новых Шиповых, обветшавшие программы которых никого не заинтересовали в начале XX века и уж тем более не интересуют их собственного забежавшего далеко вперед читателя. Они еще могут создавать, чтобы угодить ему, гигантские иносказательные образы Еврея-Сатаны-Разрушителя России или издавать журнал „Континент”, где позволяют себе слегка пофлиртовать и с фашизмом, объявив его „движением эпохи” и „знаком времени”.⁴ Но признать, что „мировому господству [евреев] препятствует только социалистическая система”⁵ или издавать журнал „Смерть сионистским захватчикам!” они не могут. Оказалось, что у современного либерального национализма, как и у классического славянофильства, есть пределы, которых не преидеши.

4 Б.Парамонов. Парадоксы и комплексы Александра Янова. — „Континент”, № 20, 1979, с.257.

5 М.Агурский. Неонацистская опасность... с.226.

Чтобы перепрыгнуть пропасть, отделяющую их от физика-теоретика Тяпкина, нужна своего рода интеллектуальная революция, нужно крушение всех старых „идолов и идеалов” и совершенно иное видение истории. Нужен был, другими словами, переход к черносотенному национализму. Вот почему в 1970-е „русская новая правая” отчаянно нуждалась в новом Сергее Шарапове, в человеке, вышедшем из православно-патриотической массы, разделяющем ее основные верования и в то же время способном организовать ее темную ненависть к инородцам в интеллектуальную альтернативу национал-либерализму. Требовался „инструментальный лидер”, как говорят социологи, способный примирить интеллект „русской идеи” с ее почвой, покончить с противоречиями между ними, решительно отбросив в сторону либеральные иллюзии обанкротившихся славянофилов „неподвижного аксаковского стиля”.

Первой попытке создать идеологию черносотенного национализма, первому кандидату на роль Сергея Шарапова в „русской новой правой” посвящена следующая глава. Здесь я попытаюсь лишь показать, какой головоломной сложности задача стояла перед таким кандидатом. Я надеюсь, что мой читатель не устал еще от „патриотической” почты „русской новой правой”. Обратимся на минуту к ней снова.

„НАГРОМОЖДЕНИЕ ЛЖИ”

У Солженицына-романиста среди причин развала православной монархии находим и „придворную камарилью”, и „отставных бездельников” из Государственного совета, и „зубровую часть дворянства”, и символического „бегемота” Парвуса, и символического змия Богрова, и даже „тысячелетний тонкий, уверенный зов” еврейского народа. Другими словами, в мышлении Солженицына преобладает смесь причин социологических и демонических. Но православно-патриотическому читателю надоела символика, он объелся метафизическими иносказаниями, а

уж социология ему и вовсе ни к чему. Человек он сугубо практический: ему нужны имена и адреса явочных квартир конспираторов, ему нужно то самое, чего добивался он от Солженицына перед выходом „Архипелага ГУЛАга” – фотографии действительных виновников крушения православной монархии – евреев-заговорщиков. „Но у вас нет ни слова об истинных причинах поражения и развала. Нет и следа гнусной деятельности банды евреев-капиталистов, которым принадлежала почти вся пресса и большая часть промышленной России. Нет Распутина, выставленного и используемого для разложения страны кликой Винавера и Арона Самуиловича Симановича, нет предательства, нет Митьки Рубинштейна и других международных банкиров-сионистов, стремившихся сокрушить Россию во что бы то ни стало, нет наускивания друг на друга русского и немецкого народов, на крови которых лондонские, парижские и венские Ротшильды, русские [евреи] Поляковы и Гинцберги выпекали свое золото”.⁶

В картине мира, представляющейся единственно адекватной разбуженному православно-патриотическому сознанию, евреи не только развалили русскую православную монархию, но и развязали мировую войну. По сути читатель требует от Солженицына, если тот хочет быть его духовным вождем, как раз того, чего сам Солженицын требует от советских вождей – „жить не по лжи”. Поскольку он, так же как Солженицын, убежден, что „истина одна”, и он эту истину знает, автор письма просто не может понять, почему человек, разбудивший его мысль, лицемерит. Почему не гремит на весь свет его мощный, набатный голос, не оставляя ни в одной честной душе сомнений, что в евреях – все зло мира? Да православный ли он на самом деле? „Может быть, прозелит... Прозелиты обычно более жестоки, чем коренные иудеи”.⁷ А может, он просто боится? „Меня уверяют, что вы смелый человек. Легко быть смелым, когда печатаешься в сионистских органах, когда при малейшем ущемлении о тебе начинают вопить всякие „Свободные

6 Там же, с.206.

7 Там же, с.207.

Европы”. И вы прекрасно знаете, что при руководстве этих станций есть специальные сионистские советы. А ну, попробуйте выступить против сионистов! Хватит ли у вас смелости? Вам покровительствуют и у нас в стране... С этим письмом я подвергаюсь большей опасности, чем вы. Его-то ни одно радио не передаст”.⁸

Да, Солженицын сам внушил этому читателю „русскую идею”, сам добивался его прозрения. Но когда этот читатель прозрел, среди многих других вещей, которые увидел он впервые, было и зрелище учителя, не смеющего сделать последний решительный шаг к „истине”. И он усомнился в учителе – и в человеческих его качествах, и даже в его православии – потом разочаровался в нем. И в конце концов отрекся от него: „Ваше православие – тоже поза и фальшь. Щегольство знанием поговорок, обычаев, праздников, а не вера ведет ваше кощунственное перо по бумаге. Христа, и того вы называете евреем, хотя даже я, человек... не сведущий в богословии, понимаю, что Богу национальность ни к чему”.⁹

Так же, как Солженицын, автор письма крепко стоит на почве православия, и он не испытывает к Солженицыну ни малейшей личной неприязни („Не дай Бог, я не желаю вам зла”),¹⁰ но все в Солженицыне ему подозрительно. Вот например, появляется в „Августе 14” положительный еврей-инженер Илья Исаакович Архангородский, который, оказывается, тоже мечтает о „созидании России”. Что может это означать для читателя, разбуженного Солженицыным? Одно: „нагромождение лжи”.¹¹ Ибо „откуда взяться у Ильи Исааковича мыслям о созидании России, если иудейская религия... учит его, что нееврей хуже собак, что еврея вменяется в обязанность обманывать нееврея... что он принадлежит к избранному народу, предназначение которого – покорить все другие народы, заставить

8 Там же, с.216.

9 Там же, с.207.

10 Там же, с.216.

11 Там же, с.207.

их работать на себя... Да и приходилось ему платить „шекель” — налог золотом (как платят во всем мире и сейчас), чтобы были средства у организации, борющейся за утверждение мирового господства евреев”,¹² ибо евреи „всегда ненавидят русских, всегда думают о себе, к этому их приучили с детства”.¹³

Но все это, так сказать, литературная критика, разногласия по поводу „Августа 14”. Настоящий конфликт „патриотического читателя” с Солженицыным, антикоммунистом и проповедником православной монархии, возникает, понятно, на почве реальной политики.

ЛОЖНЫЙ ВЫБОР

„Патриотический” читатель вовсе не очарован коммунизмом. У него к коммунизму скорее утилитарное отношение. Для него он просто — меньшее зло. „Расшатать [коммунистическую власть] легко! Ну а потом-то что? Ведь если скинуть большевиков, к власти придут сионисты и только сионисты, у них деньги и агентура плюс блестящая организованность — у нас ничего, кроме большевистской партии, которая пусть плохо-бедно, но защищает нас”.¹⁴ С другой стороны, как явствует, между прочим, из „Августа 14”, при православной монархии русские окажутся беззащитны против сионистов. Так же, как оказались беззащитны их отцы и деды против еврейской банды Рубинштейнов, Винаверов и Симановичей. Православная монархия позволила им не только захватить в свои руки русскую прессу и промышленность, но и втравить Россию в мировую войну — и тем самым совершила политическое самоубийство.

Так какую же форму политической организации России должен предпочесть „патриотический” читатель? Беспомощную православную монархию, позволившую евреям сесть себе на

12 Там же.

13 Там же, с.215.

14 Там же, с.223.

шею? „Еврейско-буржуазную республику”, при которой дело шло к буквальному порабощению России сионистами („именно так и стоял вопрос – сделать Россию колонией Израиля”)?¹⁵ Или советскую власть – где „большевистская партия плохо-бедно, но все-таки защищает” Россию от всех этих напастей?

Трудно отрицать, что у „патриотического” читателя есть своя логика. Согласно этой логике, *выбор Солженицына ложен*.

Как и все национал-либералы, Солженицын сделал грубую ошибку в своей проповеди „православного возрождения”. Он предположил, подобно французским просветителям, что слово его падет на *tabula rasa*, на девственную, готовую принять любое семя почву. На самом деле обращался он к людям, воспитанным в сети советского политпросвещения и глубоко усвоившим первоначальные истины вульгарного марксизма. Именно в связи с идеями „православного возрождения” впервые в жизни почувствовали эти люди необходимость самостоятельно применить свое „политическое просвещение” к анализу будущего страны. В результате они пришли к тому же, к чему десятилетием раньше пришел Антонов: „патриотические” истины наслоились на первоначальную политпросвещенческую основу и образовалась зловещая взрывчатая смесь, где соображения о собственности на средства производства переплелись с идеями христианского национализма и „Протоколов сионских мудрецов”.

„Советская власть, пришедшая на смену самодержавию, сделала главное – лишила сионистов в нашей стране права частной собственности на орудия и средства производства. Может быть, эта фраза набила кое-кому оскомину, но если бы не это, 2000 год для детей Израиля уже давно бы наступил и все проблемы русского народа уже давно лежали бы на дне топков сионистских крематориев”,¹⁶ – утверждает один читатель. Другой подхватывает: „Все, что в нашей сети политпро-

15 Там же, с.210.

16 Там же, с.227.

свещения называется капитализмом, империализмом, эксплуатацией, угнетением, — все это относится к богатым евреям”.¹⁷

РЕДУКЦИЯ „МИРОВОГО ЗЛА”

Что произошло в истории „русской идеи”, когда славянофилам удалось наконец в 1880-е гг. разбудить „патриотическое” сознание в массах? Неожиданно рухнул дуализм „мирового зла”, служивший идеологическим фундаментом либерального национализма. Он боролся, как мы помним, на два фронта: против отечественного „душевредного деспотизма” и западного парламентаризма. Но как только „русская идея” вышла за рамки интеллектуальной борьбы, превратившись, говоря словами Маркса, в материальную силу, дуалистическая структура „мирового зла” оказалась неработоспособной. Баланс между двумя ее „дьяволами” нарушился. Ненависть к „душевредному деспотизму” перешла в конструктивную критику и в попытки наладить сотрудничество с этим бывшим „дьяволом” в борьбе против другого, представлявшегося теперь единственной реальной угрозой самому существованию мира. Можно сказать, что в процессе превращения идеологии интеллектуального кружка в массовое идейное движение в „русской идее” произошла редукция „мирового зла”. Оно воплотилось в еврействе. Движение превратилось в фашизм.

То же самое происходило на наших глазах с современной „русской идеей”. Интеллектуалы национал-либерализма, продолжавшие настаивать на дуализме „мирового зла”, отстали от времени. Для них „душевредный коммунизм” (современная метаморфоза славянофильского душевредного деспотизма) по-прежнему „дьявол”. И этим они, как в свое время славянофилы, отталкивают „патриотические” массы, в сознании которых уже произошла редукция „мирового зла”.

17 Там же, с.209.

Конец второго христианского тысячелетия представляется этим массам роковой датой, когда евреи пойдут на штурм последнего бастиона национальной независимости на земле — т.е. России. Они не хотят стать рабами евреев — и тут их пути с национал-либералами расходятся. Они оказываются по разные стороны баррикады: „Не исключено, что завтра снова польется русская кровь в жертву Иегове... Хотите ли вы быть рабом, Солженицын? Я — нет! Лучше умру с оружием в руках”.¹⁸

Такова была пропасть между национал-либеральными учителями и разбуженным „православно-патриотическим” читателем, мост через которую предстояло перебросить Геннадию Шиманову.

18 Там же, с.218, 216.

МОСТ ЧЕРЕЗ ПРОПАСТЬ: НАЧАЛО ЧЕРНОСОТЕННОГО НАЦИОНАЛИЗМА

„УЛЬТРА”

Я не был лично знаком в Москве с Шимановым. Я только слышал тогда о нем и его единомышленниках — „шимановцах” или „ультра”, как их называли мои знакомые из Русского клуба¹ и редколлегии „Вече”, — и читал некоторые его сочинения. Судя по этим достаточно скудным сведениям, Шиманов — один из множества современных русских интеллигентов, оставивших мечту о жизненном успехе и сознательно ушедших на самое „дно” материального существования для того, чтобы обрести на этом „дне” свободу. Свободу думать, писать и проповедовать. Шиманов работает лифтером. В этом качестве „в подвале, где сыро и душно, рядом с мусоропроводом”,² он почти неуязвим для власти. Это дало ему

1 Официально „Русский клуб” назывался „Общество охраны памятников старины” и был вполне легальным учреждением. В действительности, однако, это было „партийное” заведение, где регулярно собирались диссиденты — сторонники „русской идеи” и их истеблишментарные товарищи — обмениваться взглядами и выработать стратегии. Страсти кипели в „Русском клубе” в 1960-е годы, и удельный вес русофильских фракций определялся именно там.

2 Г. Шиманов, Идеальное государство. Цит. по документам, хранящимся в: Keston College Archives, p.2. Далее ссылки на произведения Шиманова даются по этому архиву.

возможность обдумать и написать десятки статей, собранных в две самиздатских книги „Письма о России” и „Против течения”.

Но Шиманов не только политический писатель. Он еще и лидер группы „ультра”. Впрочем, до 1974 г. (т.е. до изгнания Солженицына, раскола „Вече” и ареста Осипова) шимановские „ультра” – несмотря на их неизменную активность в Русском клубе – были в нем как бы на втором плане, составляя нечто вроде теневого кабинета. По тем временам как для ВСХСОНовского крыла диссидентской „правой”, так и для сторонников „Вече” (в начале семидесятых преобладавших в Русском клубе наряду, впрочем, с такими яркими представителями истеблишментарных русистов, как П.Палиевский, В.Кожин или А.Ланщиков) – взгляды „ультра” были еще слишком экстремистскими. Чувствовалось, что они даже вызывали у высоколобых национал-либералов некоторую брезгливость.

Тем более был я удивлен, встретив на страницах „Московского сборника” (самиздатского журнала, который пытался после разгрома „Вече” заменить его в качестве органа диссидентской „правой”) программную статью Шиманова „Москва – Третий Рим”. Редактором „Московского сборника” был Леонид Бородин, один из видных участников ВСХСОНа. Он предпослал „Третьему Риму” несколько строк, из которых следовало, что „точка зрения Г.Шиманова на некоторые вопросы нации и религии *сегодня весьма популярна* в среде национально настроенной русской интеллигенции”.³ Остается предположить, что взгляды Шиманова уже в середине 70-х годов действительно представляли в среде националистически настроенных диссидентов силу, не считаться с которой было невозможно.

Это очень любопытно, ибо нет сомнения, что в ВСХСОНе в свое время человека с такими взглядами, как у Шиманова, на порог не пустили бы. В сборнике „Из-под глыб” его, конечно, тоже не потерпели бы. И в „Вече” ходу его программным декларациям не было: во всяком случае, Осипов 29 апреля 1973 г.

3 „Московский сборник”, № 1, с.68. Курсив мой, – А.Я.

написал ему жесткое письмо, в котором, отмежевавшись от линии „революционистского” подполья (читай: ВСХСОНа), он столь же резко и решительно отмежевался и от взглядов Шиманова.⁴ Иначе говоря, в начале семидесятых ни одна из фракций либерального национализма Шиманова своим не признавала. Для того чтобы он вышел на идейную авансцену диссидентской „правой”, чтобы Л.Бородин почтительно засвидетельствовал широкую популярность его взглядов, ветры в среде „национально настроенной интеллигенции” должны были радикально изменить направление. Время для открытого выступления черносотенного национализма настало.⁵

ИСТОКИ ГРЯДУЩЕЙ КАТАСТРОФЫ

Само существование Шиманова как политического писателя есть выражение духовного кризиса, пережитого Россией. Поэтому я начну,

пожалуй, с того, как сам Шиманов описывает этот кризис.

„И очевидный крах коммунистической утопии, который нельзя бесконечно замалчивать и из которого надо как-то с достоинством выходить; и ничтожество западных путей, не-

4 Наша „линия „правее” линии „революционистского” подполья, но „левее” той робкой позиции всепримлемости, на которой стоите Вы... думаю, что *сверхслушание*, так же как и бунт, не принесут России ничего доброго”. – „Вольное слово”, вып.17-18, с.19.

5 Примерно такой же была в прошлом веке писательская судьба К.Леонтьева. Его первая, впоследствии знаменитая, работа „Византизм и славянство” была последовательно отвергнута всеми органами националистической прессы и опубликована в заштатном журнале „Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских” в 1875 г., но и после этого оставалась незамеченной целое десятилетие, пока в конце 1885 г. не вышел первый том сочинений Леонтьева „Восток, Россия и славянство”, который стал сенсацией. Значит, по-видимому, дело не в простой хронологии, не в том, кто после кого жил и писал. В конце концов, и в прошлом веке такие антиподы, как Иван Аксаков, Шаралов, Данилевский и Леонтьев тоже были современниками. Весь набор националистических концепций может одновременно кипеть в котле правых идей. Речь идет о той последовательности, которая – в силу изменения исторических обстоятельств – заставляет одни доктрины, еще недавно фигурировавшие на авансцене идейной борьбы, отходить на задний план, уступая место другим, еще недавно находившимся в тени.

способных привлечь к себе никаких симпатий; и надвигающийся индустриально-экологический кризис, принуждающий к судорожным поискам дороги к иной цивилизации; и военная опасность со стороны Китая... и внутренние процессы буржуазизации и духовно-нравственной деградации, которым надо не на словах, а всерьез противостоять... и вот все это... должно толкать Советскую власть сначала к частичным и половинчатым переменам, а затем и к решительным – перед лицом государственной катастрофы”⁶

Если попытаться строже сформулировать мотивы этой надвигающейся катастрофы, получим следующие три ее источника.

1. Мобилизационный по своей природе режим, динамизм которого основывался на движении к ясной и высокой цели, утратил цель и вследствие этого иммобилизовался. Движение превратилось в топтание на месте, а затем в „гниение”. Нация дезориентирована и поэтому деградирует, духовно умирает. Общественная и трудовая дисциплина катастрофически падают, подрывая самые основы жизненной силы нации.⁷

2. Колоссальные жертвы, принесенные народом на пути к надмирной, заменившей народу Бога цели, оказались бессмысленными. „Бог умер”. Этот страшный вывод, который инстинктивно отбрасывается советскими людьми, о котором они боятся думать, как о собственной смерти, на нем бесстрашно основывает свою доктрину Шиманов.

3. Именно в этой ситуации всеобщей растерянности и „гниения” Россия оказалась в самой тяжелой за всю свою историю ситуации: меж Сциллой и Харибдой, Китаем и Западом, равно опасными и беспощадными. В ее сегодняшнем положении нация не может противостоять этой смертельной угрозе.

6 Г.Шиманов. Как понимать нашу историю, с.6.

7 „Русская нация все более исчезает духовно и физически... Вырождается и душа русского человека: в современной духовной и идейной пустоте, как бы лишенная воздуха, она блекнет и увядает. Усыхает и нравственность... Полнейшая дезориентация в жизни... семейный развал, душевная неустроенность, пьянство, разврат, безысходность”. Г.Шиманов. Против течения, с.62.

„РУССКИХ ПРЕЗИРАЮТ ВСЕ”

Я сознательно воспроизвожу логику мысли Шиманова и стараюсь рассуждать в его терминах. Шиманов считает, что пора „спасать русскую нацию”.⁸ Пора всем русским, независимо от их положения, объединиться в духовном и интеллектуальном усилении и вернуть своему народу его мощь и славу. Шиманов глубоко страдает от того, что, по его словам, „русских презирают все”.⁹ Оппоненты с полным правом могли бы назвать это чувство Шиманова „комплексом национальной неполноценности”. Поэтому для Шиманова спасти Россию означает не просто вернуть своей стране величие и процветание, но и превратить ее в центр духовной истории человечества, сделать ее лидером мира. А это значит доказать, что все другие народы – хуже, что ни один из них не достоин первенства. Доказать, что судьба России – это не только ее судьба, ибо она несет в себе разрешение глобального кризиса, переживаемого человечеством, и потому имеет значение всеобщее, универсальное. Короче говоря, „спасти Россию” означает для Шиманова сразу, одним ударом избавиться от всех трех вышеперечисленных источников надвигающейся катастрофы и тем самым вернуть нации утраченную цель; вернуть смысл принесенным жертвам; подготовить ее к противостоянию Китаю и Европе. Но как это сделать? Парадоксальность шимановского ответа заслуживает специального обсуждения.

КОНЦЕПЦИЯ ИСТОРИИ

Шиманов исходит из того, что христианство как универсальное средство спасения мира „не удалось”. Что, выйдя в мир из катакомб, оно соблазнилось блеском материальной культуры и променяло свою всемирную миссию на чечевичную похлебку мирской

8 Там же.

9 Там же, с.18.

власти. Соблазненный католицизм породил „язву протестантства“, протестантство в свою очередь породило „эру буржуазности“ с ее „культом наживы и чистогана“, что должно было в конечном счете привести к великому и греховному бунту социализма.

Итак, „испорченное“ европейское христианство — теза. Социализм — антитеза. Спасти мир может лишь синтез — бессмертный Гегель в интерпретации популярных учебников диалектического материализма пока что торжествует.

Но откуда ждать синтеза? И тут оказывается, что был один народ на земле, который Бог уберег от соблазнов католицизма и язвы буржуазности. Уберег страшным, но благодатным способом — наслав на него татар и тем самым отрезав его от „мощных ренессансных объятий“ Европы. Так, единственная на свете, — Россия оказалась не только обладательницей „истинной веры“, но и чудом сохранила ее среди всемирного торжества буржуазности.

Мы можем увидеть здесь, кстати, и методологический принцип исторической доктрины Шиманова: когда Бог хочет сохранить свой избранный народ, он насылает на него чуму, национальное несчастье. Так Шиманову посчастливилось открыть *modus operandi* самого Провидения. И он бесстрашно использует свое открытие. Шиманов признает, что и Петровская реформа, и Октябрьская революция, и ГУЛаг были великими бедствиями народными. Он лишь призывает увидеть за их кровью и грязью, за их кажущейся бессмыслицей Великую Тайну и Божественный Промысел. Нет, не напрасны неисчислимые жертвы народа русского, они оправданы, они лишь ступени на пути к великой цели и цена за его историческое предназначение. Выше голову, русские! — говорит Шиманов, — вы на верном пути к истинной цели. Само крушение коммунистической утопии только расчистило перспективу. И ее крах означает на самом деле зарю обновленного христианства — православие. Соедините исконную русскую веру с внутренней имманентно-религиозной сущностью коммунизма и вместо фальшивого идола вы увидите перед собой Бога. Он вел вас тернистыми тропами. Но он вывел вас на истинный путь. Остался

один только шаг. „Я скажу, что теперь, после опыта тысячи лет, загнавшего человечество в невыносимый тупик, разве не ясно, что только подлинное, возрожденное христианство может быть выходом из тупика? что необходима иная, новая, не язычески-буржуазная, но аскетическая и духовная цивилизация?“¹⁰ Откуда же и ждать этого благовеста, как не из единственной сберегшей истинную веру страны, которую Господь сохранил на земле, хлеща бичами татарского ига, Петровской реформы, Октябрьской революции, ГУЛага и КГБ?

Опасно, мне кажется, недооценивать актуальные политические потенции предложенного Шимановым истолкования истории, в котором даже ГУЛаг, как бы кощунственно это ни звучало, получил свое оправдание. Ибо не в том ли была причина фатальной изоляции советского диссидентства, непрерывно и с огромной убедительностью разоблачавшего бесплодность и бесцельность принесенных тремя поколениями жертв, что народ не хотел слышать этих разоблачений? Случайно ли наталкивались они на глухую стену социально-психологических стереотипов, быть может, воздвигнутую в глубинах общественного сознания именно в целях национального самосохранения? Это непреодолимое инстинктивное стремление массового сознания обелить черное, вернуть бессмыслице смысл, позор нации обратиться в ее грядущую славу и становится мощным инструментом Шиманова. Можно сказать, что Шиманов пытается использовать ГУЛаг, как Гитлер использовал Версаль.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Самая оригинальная часть доктрины Шиманова — его интерпретация советской власти. Шиманов первым среди „правых“ понял, что негативная, обличительная функция диссидентства изжила себя, что жизнеспособна отныне только концепция позитивная. Концепция, заключающаяся не столько в обличении советской власти,

10 Г.Шиманов. Как понимать нашу историю, с.5.

сколько в использовании ее имманентно-религиозной природы для достижения общенациональных целей. Именно на этом основано его понимание советской власти как политической организации, способной, с одной стороны, противостоять искушению „гнилой западной демократии”, а с другой — мобилизовать народ на новый исторический подвиг.

„Ныне советская власть уже не может всерьез стремиться к призраку коммунизма... но в то же время она не может отказаться от грандиозности своих задач, ибо иначе надо будет держать ответ за напрасные жертвы, которым поистине нет числа. Но в чем тогда советская власть сможет найти свое оправдание? Только в сознании того, что она была бессознательно в прошлом, а ныне вполне сознательно является инструментом Божиим для построения нового христианского мира. Иного оправдания у нее нет, а это является... подлинным и великим оправданием. Приняв его, наше государство откроет в себе поистине неисчерпаемый источник Правды, духовной энергии и силы, какого не было в истории еще никогда... Ветхий языческий мир ныне уже окончательно изжил себя... Чтобы вместе с ним не погибнуть, надо построить иную цивилизацию — но разве способно на это разрушенное в своих основах западное общество? Только советская власть, приняв православие... способна начать *великое преобразование мира*”.¹¹

И не хозяйственные реформы, и не гражданские права для этого нужны. Не советской власти нужно приспособиться для этого к народу, а народу — приспособиться к советской власти, понять и принять ее в свое сердце как нашу родную власть, „которая от Бога”. Ибо, только приняв и растворив ее в себе, может народ сделать ее подлинно народной.

В этих аргументах впервые улавливаются очертания моста через пропасть, отделившую в 70-е годы, если так можно выразиться, интеллект „русской идеи” от ее почвы. В самом деле, во всех последовательных метаморфозах современного либерального национализма, прослеженных во второй части этой книги, — от ВСХСОНовской революционной теократии 1960-х

¹¹ Там же, с.6.

до солженицынской апологии православной монархии в 1980-е, — коммунизм неизменно фигурировал как явление для России инородное, по самой сути своей противоположное русской исторической традиции. Шиманов первый в постсталинскую эпоху встраивает коммунизм в русскую традицию¹² и тем самым его легитимизирует.

Коммунизм, конечно, по-прежнему остается злом, но злом не только несопоставимо меньшим по сравнению с тем, которое угрожает извне, но и нашим, русским, домашним, так сказать, злом — с которым всегда можно договориться, которое нельзя просто устранить из жизни России, как надеялись национал-либеральные сектанты, но которое следует изжить — в процессе совместной работы, в общем духовном и интеллектуальном усилении нации.

Шиманов-теоретик приходит именно к тому, к чему — пусть стихийно и инстинктивно — пришел „православно-патриотический” читатель: к редукции мирового зла. Он идеологически оправдывает интуитивное стремление человека православной массы примириться с властью перед лицом общенациональной угрозы. Он успокаивает и утешает этого человека, которого Солженицын разбудил и бросил в пустыне, объявив живущим по лжи. Он отпускает православным грех коллаборационизма с атеистическим режимом. В противовес национал-либеральным учителям, неспособным отказаться от сектантского антикоммунизма, он провозглашает: „Протестовать против нашего режима означает идти против Бога”.¹³ Он убеждает „патриотов”, что только так, сотрудничая, а не протестуя, могут они сделать режим истинно национальным. Не только слово „Бог” пишет Шиманов с большой буквы, но и словосочетание „Советская Власть”. Как видим, он прекрасно понимает, что найти путь к „патриотическому” читателю можно,

12 Здесь Шиманов, конечно, тоже идет по стопам Николая Бердяева. Однако, в отличие от идеологов ВСХСОНа, он следует не „Новому средневековью”, но другой работе — „Истоки и смысл русского коммунизма”, единогласно проклятой всеми националистическими течениями.

13 Г.Шиманов. Против течения, с.23.

только безжалостно отбросив сектантские иллюзии и утопии, которыми грешили его предшественники.

ВСХСОН, как помнит читатель, ориентировался на „народно-освободительную революцию”, на вооруженное „свержение коммунистической олигархии”. „Вече” предложил вместо революции *отделиться* от коммунизма географически, создав вторую, православную Россию в Сибири. Солженицын попытался реализовать план „Вече”, апеллируя к „русской душе” советских вождей, уговаривая их отказаться от „чуждой”, „западной” идеологии. (Осознав невозможность переубедить вождей словом, он апеллировал в конце семидесятых к „русской душе” советских военных, которые могли бы воздействовать на вождей силой, т.е. в известном смысле вернулся к идеям ВСХСОНа).¹⁴ При всем различии этих подходов у них есть общая предпосылка: подлинное возрождение России может начаться лишь без коммунистов. Вздор, отвечает Шиманов в согласии с „патриотической” массой: возрождение России уже происходит — и коммунизм вовсе этому не препятствует, напротив, он ему способствует. Прежде всего тем, что охраняет Россию от язвы обуржуазивания, создавая своего рода защитную оболочку, в которой только и возможно возрождение. „Ибо Советская Власть уже, начиная с 1917, совершила громаднейший поворот и продолжает ощутимо меняться на глазах, умеющих что-либо видеть”.¹⁵ Во-вторых, именно коммунизм своей имманентной религиозностью поддерживает в массах тот пламень веры, без которого никакое возрождение невозможно. Вот почему русский народ стремится не к ликвидации, но к преодолению коммунизма. Вот почему он чужд обветшалым национал-либеральным утопиям, уводящим его в сторону от настоящего дела — от преобразования власти во имя преобразования мира.

Для национал-либералов Запад — хоть и ненадежный („гнилой”), но все-таки единственный союзник, который „пло-

14 А.Солженицын. Интервью, данное корреспонденту Би-би-си И.Сапиенсу. — „Вестник РХД”, № 127, 1979, с.295.

15 Г.Шиманов. Против течения, с.90.

хо-бедно, но защищает” от коммунистов (другими словами, национал-либералы относятся к Западу так же, как „патриотический” читатель относится к коммунизму – утилитарно). Для Шиманова Запад – чума, источник „языческо-буржуазной” заразы, подлежащий ликвидации, если человечество хочет выжить. Конечно, Шиманову, так же как Солженицыну, ненавистна „образованщина”, еврейские или еврействующие интеллигенты, которых он называет „цивилизованными дикарями”. Но ненавидит он их по тем же причинам, по которым ненавидят их „молодогвардейцы”, – за то, что они „питаются отбросами западной цивилизации”. Конечно, диссидентская программа Андрея Сахарова кажется ему „жидо-масонской”. Но насколько не щадит он и национал-либералов, которые, по его мнению, только перерядились в патриотов, а на самом деле подпевают жидо-масонам. Он смеется над ними.

„При чтении „Письма” может показаться, что Солженицын уже вырос из демократии, переступил от нее к автократии (т.е. к самодержавию, по-русски)”. Но, иронически добавляет Шиманов: „это лишь при невнимательном чтении. В действительности он сделал шаг всего лишь одной ногой, а другой остался... на старом месте”.¹⁶ Солженицын призывает вождей отказать от государственной идеологии. Вздор, отвечает Шиманов, ибо „идеократическому государству отказать от идеологии... значит попросту покончить с собой. Марксистская идеология... является основой нашего Государства... надо заботиться не о том, чтобы марксизм был механически отброшен, а о том, чтобы он был трансформирован самой жизнью и... изжит”.¹⁷

Дело тут не только в том, что Шиманов рассчитывает использовать религиозные элементы марксизма в проектируемой им идеологии будущей России, которая должна стать органическим „соединением Нила Сорского и Ленина”, смесью православия с ленинизмом. Дело еще и в том, что будущая Рос-

16 Г.Шиманов. Как понимать нашу историю, с.8.

17 Там же, с.9.

сия должна *остаться идеократической*, т.е. страной, где господствует одна идеология, исключаяющая какое-либо инакомыслие.¹⁸ Вот почему он яростно атакует солженицынскую тираду о „свободной колосьбе мыслей” в будущей России. Никакой свободы Шиманов не потерпит. Да и не нужна она никому в России, кроме кучки жидовствующих космополитов. „Пора отказаться от нелепого предрассудка, будто тепличная атмосфера „свободы мнений” и „свободы творчества” является наилучшей для вызревания истины и большого искусства”.¹⁹

На первый взгляд, шимановская доктрина парадоксальна: перед нами диссидент, открыто проповедующий тоталитарное подавление инакомыслия, ненавидящий саму сущность диссидентства. Ничего парадоксального здесь, однако, нет, ибо это лишь логическое следствие шимановской концепции государства. Вот Шиманов заявляет: „В России было слишком много страданий, и разрешиться им в комическом и жалком демократическом пшике Бог не позволит. Западной демократии у нас не должно быть”.²⁰ Более точно позицию эту выразил когда-то только Леонтьев, заявив, что „русская нация специально не создана для свободы”.²¹

Но почему, спрашивается? Здесь сердце проблемы. Ответив на этот вопрос, мы сможем объяснить в Шиманове все. Даже апологию политического доноса, которую он стыдливо пытается оправдать длинной цитатой из Достоевского.²² Даже призывы, которые кажутся его оппонентам чудовищными

18 Если допустить, что в ситуации серьезного кризиса, вызванного, скажем, крушением горбачевской реформы, власть в России возьмут военные, трудно отрицать, что им будет намного легче договориться с Шимановым, чем с Солженицыным.

19 Г.Шиманов. Как понимать нашу историю, с.8.

20 Г.Шиманов. Против течения, с.24.

21 К.Леонтьев. Письма к Фуделю. – „Русское обозрение”, 1885, № 1, с.264.

22 Г.Шиманов. Против течения, с.97-98.

(точно так же, как чудовищными казались аналогичные призывы оппонентам Леонтьева), „утвердить „верноподданническую атмосферу” по отношению к режиму „как единственно возможную для православно-русских патриотов”.²³

Шиманов спрашивает: „Разве можно назвать полноценной властью демократические режимы, которые *эмансипировались от решения нравственных задач* до чисто фискальных и полицейских функций?”²⁴ Иначе говоря, „полноценным” для Шиманова является лишь государство, ответственное за решение нравственных задач, определяющее цели нации и ведущее ее к этим целям. Почему? Да потому, что оно и должно служить „орудием преобразования мира”, т.е. нового крестового похода. И поэтому оно должно мобилизовать и подчинить себе не только все действия, но и все помыслы своих подданных, а следовательно, должно быть способно к тотальному контролю над ними. Способна ли к этому демократия? „Как относятся к власти западные демократы? Да кому не лень приближается к ней... начинает трясти ее за грудки... доказывая свою правоту... так что бедная власть... уже и не знает, кого ей слушать и кому подчиняться... деморализованная... [она] отказывается по существу от власти... вместо того, чтобы *с твердостью определять должное и не должное*”.²⁵

Иначе говоря, государство, которое „не абсолютно”, „не самодержавно”, которое не располагает „развитой нервной системой в лице партии, охватывающей весь общественный организм до каждой его чуть ли не мельчайшей клеточки”,²⁶ государство, властвование которого не тотально, по Шиманову – не государство.

Вот и ответ на наш вопрос. Демократия потому зло, что она в принципе не тоталитарна, что она не способна контролировать „весь общественный организм до мельчайшей клеточки”.

23 Там же, с.101.

24 Г.Шиманов. Идеальное государство, с.6. Курсив мой, – А.Я.

25 „Московский сборник”, № 1, с.26.

26 Г.Шиманов. Идеальное государство, с.14.

ки". Советская власть потому добро, что она содержит в себе потенцию тоталитаризма, что она способна обеспечить такой контроль.²⁷ Такова действительная цена, которую обязан, по Шиманову, заплатить за свою избранность русский народ: он должен осознать, что его судьба, его крест, его тайна — быть рабом тоталитарного государства.

Итак, перед нами тоталитарно-националистическая доктрина, основанная на глубочайшем недоверии к человеческой личности, которая хотя и предполагается созданной по образу и подобию Божию, тем не менее лишена элементарного человеческого права выбора, обречена быть лишь орудием в руках всемогущего и всеблагого Государства. Оно-то и занимает место Бога в тоталитарно-националистической доктрине. Занимает закономерно, ибо выступает единственным реальным воплощением языческого идола нации, вытеснившего в сознании Шиманова и его единомышленников Бога истинного. Ведь он и сам признается: „Россия есть предмет веры”.²⁸

РОССИЯ: НАЦИЯ ИЛИ ИМПЕРИЯ?

Но главный парадокс шимановской доктрины еще впереди. С одной стороны, утверждается в ней, что нации не должны „без нужды общаться с инородцами”, что „национальные организмы должны быть сомкнутыми и непроницаемыми друг для друга”.²⁹ С другой, — однако, Шиманов ополчается на, казалось бы, логично вытекающее из этого постулата предложение разрешить советским народам выходить из состава СССР. Как примирить это непримиримое противоречие между изоляционизмом и империализмом?

27 И здесь трудно не заметить необычайное удобство доктрины Шиманова для идейного оправдания реставрации диктатуры.

28 Г.Шиманов. Против течения, с.20.

29 Там же, с.16.

Шиманов делает это, конечно, с помощью все того же Провидения, для которого, естественно, не существует никаких парадоксов. „Советский Союз это не механический конгломерат разнородных наций... а мистический организм, состоящий из наций, дополняющих взаимно друг друга и составляющих во главе с русским народом *малое человечество* — начало и духовный детонатор для человечества большого”.³⁰ Иначе говоря, СССР лишь лаборатория избранного народа для проведения практических опытов предстоящей „православизации мира”. В этом смысле русский народ — исключение. Ему, если перевести мистические озарения Шиманова на язык практической политики, позволено *иметь империю*. Закрытую, „непрозрачную”, изолированную от других наций — покуда они не пожелают разговаривать с ней на ее языке, на языке „Третьего рейха”, виноват, „Третьего Рима”, говоря словами Шиманова.

Так пытается он преобразовать утопическую риторику национал-либерализма в проект имперско-изоляционистской империи.

СТРАТЕГИЯ И ПОЛИТИКА

Анализируя сочинения Шиманова, читатель ощутит какую-то странную двойственность, словно бы перед ним не один, а два писателя, поминутно перебивающих друг друга. Мистические речитативы сменяются холодными канцеляризмами, огненная проповедь „Третьего Рима” перемежается слогом заурядного делопроизводителя, яростная анафема западной демократии сбивается на язык вульгарной пропагандистской брани. Тут есть какая-то загадка, нечто вызывающее к осторожной интерпретации и анализу. Покажу это на примере.

30 Г.Шиманов. Как понимать нашу историю, с.9.

Вот Шиманов говорит: „...Россия... буквально выстрадала новую теократию... ведь это же совершенно очевидно, что необходима иная, чем ныне, — патриархальная структура общества... и новое... мистическое отношение к земле... [эта] задача не по плечу... западной демократии... но кому же тогда она по плечу? Я думаю... что наилучшим инструментом может оказаться та сила, которая с самого начала ополчилась на Бога, власть богоборческая, решившая... целый мир перевернуть по-своему, — вот она-то и может послужить для славы Божией лучше всего. Я, конечно, имею в виду Советскую Власть с ее, по существу, самодержавным строем, с ее максималистским прицелом и настолько противоречивую по своей природе и по своей идеологии, что способную благодаря этому обстоятельству меняться под влиянием правды жизни от минуса к плюсу и только выигрывать от подобной метаморфозы”.³¹

Этот Шиманов обращается к русской интеллигенции эпохи „православного возрождения”, к интеллигенции, глубоко разочарованной в социализме и не верящей в чудотворные потенции обещаемой Шимановым „трансформации”. Перед нами искренний защитник советской власти. Он говорит высоким проповедническим слогом, он пророчествует, и речь его полна пафоса и огня.

А вот другой Шиманов, обсуждающий „Проект основ законодательства СССР о народном образовании” и пытающийся убедить вождей в том, что клика „советских жрецов” (марксистов-антирелигиозников) составила его так, что „объективное содержание настоящего проекта... принесет огромный вред Советскому государству и уронит в глазах прогрессивной мировой общественности авторитет коммунистической нравственности. [Поэтому проект должен быть отвергнут], да не компрометируется наша Советская власть обвинением в насилии... над свободой совести — и кого же?.. не эксплуататоров, не помещиков и капиталистов, а простых советских трудящихся людей... Разве не признаком слабости [марксистов] является отмена известного ленинского положения о свободе как

31 Г.Шиманов. Против течения, с.89.

религиозной, так и антирелигиозной пропаганды?.. Здесь я думаю, уместно будет вспомнить то тяжелое время, когда наше общество перед лицом наступающего во всеоружии немецко-фашистского врага... отказалось от обессиливавших его самораздираний и победило врага морально-политическим единством всего нашего советского народа. Это морально-политическое единство... оказалось выше всех идеологических перегородок и явило собою несомненную, проверенную самой жизнью ценность, поступаться которой нам было бы преступно с государственной точки зрения. Морально-политическое единство всего советского народа нам надо крепить, а не разваливать посредством разжигания внутренних конфликтов в обществе, потому что на крутых поворотах истории нашему государству еще не раз придется столкнуться с опасностями нисколько не меньшими, чем опасность прошедшей Великой Отечественной войны. Перед лицом совершенно реальной и возрастающей китайской шовинистической угрозы... нам нужно укреплять все здоровые силы общества, способные в трудную минуту прийти на помощь своему государству".³²

Больше нет Шиманова — проповедника и пророка. Есть партийный пропагандист, словно бы заимствовавший из передовицы „Правды” набившие оскомину пассажи об „известном ленинском положении”, о „коммунистической нравственности” и „морально-политическом единстве советского народа”. Этот Шиманов — с помощью привычных канцелярско-прагматическому мышлению вождей штампованных пропагандистских блоков — осторожно пытается внушить им свою тактическую концепцию „трансформации”. Он убеждает советскую власть в *надежности* ее православных подданных, в том, что они, а не советские жрецы, и есть „здоровые силы”, готовые прийти ей на помощь. При одном лишь малом условии: если она вернется к „известному ленинскому положению”, вспомнит о сталинском „морально-политическом единстве”, согласится на „мирное сосуществование” с верующими православными советскими гражданами.

32 Там же, с.76, 83.

Но интересует нас здесь не столько способность Шиманова к литературному „раздвоению личности”, сколько то, что на этапе черносотенного национализма „русская правая” *обретает свою политику.*

Она уже не только не призывает к свержению советской власти, как ВСХСОН, она уже не ограничивается глобальными стратегемами или историческими параллелями, как „Вече” и авторы сборника „Из-под глыб”, она начинает говорить с советской властью *на ее языке.* Начинает демонстрировать конкретные преимущества, которые власть может получить от союза с нею — против советских жрецов. Она уже обвиняет этих жрецов в *антисоветизме.* Она обвиняет их в том, что они подрывают авторитет СССР „в глазах прогрессивной мировой общественности”, в том, что они „разжигают внутренние конфликты” в самой России. Она ставит перед „вождями” практические вопросы: подсчитайте, что выигрываете и что проигрываете вы, опираясь на профессиональных марксистских идеологов. Она пытается *конкурировать* с этими жрецами режима на почве практической политики, доказывая, что вождям выгоднее опереться на нее, а не на ее конкурентов. Она обращается к их глубоко запрятанным подсознательным страхам и невинно спрашивает их: что вам важнее на самом деле — потрепанная марксистская догма или реальная власть? Если власть, то — в минуту кризиса! — опора на „здоровые” православно-националистические массы, как свидетельствует опыт истории, бесконечно надежней, чем союз с импотентной идеологической кликой. Итак, в отличие от ВСХСОНа и „Вече”, в отличие от Солженицына и Чалмаева, Шиманов торгуется. Он рекламирует свой товар, он шельмует своих конкурентов.

Таковы стратегия и политика Шиманова. Все зависит от того, к кому он обращается. Зависит, так сказать, от потребителя. Православной интеллигенции он продает *стратегию* „трансформации”. Поэтому здесь нужны высокая патетика и страстная проповедь. Вождям он продает *политику* „трансформации” и гарантии их властвования. Поэтому здесь нужны деловая проза и вульгарная реклама.

Иначе говоря, шимановцы только казались „ультра” сво-

им бывшим союзникам. На самом деле они не воители, они — практики, предлагающие вождям более гибкую и эффективную политику, более глубокую социальную базу, более широкое операционное поле для политического маневрирования — на случай кризиса. Между прочим, Шиманов не предлагает ничего большего, нежели Берлингуэр предложил итальянским коммунистам. Ничего большего, чем русский вариант „исторического компромисса”. Если это возможно для итальянской коммунистической партии, если это не угрожает ее, так сказать, целомудрию, то почему это, собственно, невозможно для советской коммунистической партии?

ПОЛИТИКА ЧЕРНОСОТЕННОГО НАЦИОНАЛИЗМА

Итак, Шиманов — политический бизнесмен. По крайней мере, он хочет и умеет им быть. В его лице „русская новая правая” впервые обрела не только идеолога, нашего общего язык с разбуженной „православно-патриотической массой”, но и потенциального политического лидера — и, соответственно, потенцию превращения из сектантской антикоммунистической доктрины в политическое течение. Не этого ли добивались „патриотические” читатели в письмах „Вече” и Солженицыну? Только оба адресата не оказались способны предложить им ничего, кроме переселения в Сибирь или пропахшей нафталином православной монархии. А Шиманов открывает им возможность осмысленной борьбы за постепенное легальное преобразование советского государства, за его реновацию, за его превращение в живое и мощное орудие борьбы против „сионистско-империалистической” глобальной атаки, назначенной на 2000-й год.

Вот почему в руках у Шиманова оказывается политический капитал, которого начисто лишены были Осипов и Солженицын. В отличие от этих генералов без армии, Шиманов говорит с вождями от имени своей политической клиентуры. Он знает, чего хотят „патриотические” массы, он не позирует перед

ними и не читает им нотаций. Он — простой человек, лифтер, патриот — один из них. И он действительно представляет их. Поэтому ему нет необходимости в инфантильных апелляциях к русской душе вождей, он апеллирует к их интересам.

В глазах „патриотического” читателя и Осипов и Солженицын были скомпрометированы поддержкой „сионистского” Запада. Их интервьюировали „сионистские” журналисты, их печатали в „сионистских” издательствах, о них говорили по „сионистскому” радио. Шиманов чист в этом отношении — он представляет русских „патриотов” в их ничем не замутненной ненависти к Западу. Он опирается на один из секторов советского общественного мнения, силу которого „вожди” при желании могут легко проверить посредством элементарного социологического опроса.

Конечно, „Вече” первым обнаружил этот политический капитал. Но Шиманов был первым, кто обнаружил, как пустить его в дело, первым, кто заявил претензию на роль политического посредника между „вождями” и „православно-патриотической” массой.

Сейчас, во время реформистской эйфории, связанной с приходом Горбачева и сменой поколений в советском истеблишменте, феномен Шиманова может показаться несущественным.

Но если взглянуть на русскую историю в ретроспективе последнего полутысячелетия — и в перспективе 2000 года, — т.е. под углом зрения Шиманова и „патриотического” читателя, истинное значение этого феномена может предстать совсем в другом свете. Ибо в действительности Шиманов — и покуда только он — обещает исцеление самого уязвимого, самого больного места империи: ее стремительно формирующегося комплекса неполноценности.

Русский коммунизм на самом деле перестает быть реальной альтернативой своему главному вековому оппоненту — Западу: в глазах мира он все больше превращается в оскандалившуюся утопию. Даже коммунистические партии — и на Западе (итальянская) и на Востоке (китайская), и в самой Восточной Европе (венгерская) — последовательно отбрасы-

вают все, что было специфически русского в коммунистической практике и доктрине. В социалистических странах они заимствуют у Запада смешанную (государственно-рыночную) экономику и плюралистическую (марксистско-либеральную) идеологию.

Конечно, Россия может пойти в реформистском порыве вслед венграм или китайцам, или итальянцам. Но тогда она перестанет быть лидером. Тогда превратится она в ведомого, в подражателя. Иными словами, променяет свою уникальность, свое духовное первородство на чечевичную похлебку западного материального благополучия.

Для адептов „русской идеи”, как и для „православно-патриотических” масс это означало бы национальное унижение катастрофических масштабов, идейную и политическую капитуляцию России перед „американизацией духа”, говоря языком авторов „Молодой гвардии”; перед „еврейским стремлением к мировому владычеству”, — говоря языком читателей „Вече”.

Есть ли у России возможность вернуть себе духовное первородство? Существует ли, другими словами, реальная альтернатива унижительной демобилизации советской системы, ее капитуляции перед Западом?

Если есть, то предлагает ее только Шиманов — в „Новой русской аскетической и духовной цивилизации”, которой „рынок” и материальное благосостояние ни к чему и которой поэтому нет необходимости идти вслед китайцам или венграм. В этом и состоит феномен Шиманова, не замеченный западной советологией. Попробней я остановлюсь на нем в заключительной главе.

Историко-политическая концепция черносотенного национализма кажется вторичной только на первый взгляд. Это правда, что Шиманов заимствовал теократию из программы ВСХСОНа, что он взял имперский изоляционизм от „Вече”, „соединение Нила Сорского с Лениным” — от Антонова, ненависть к „образованщине” и уничтожающую критику демократии — от Солженицына, звериный антисемитизм — непосредственно от „православно-патриотического” читателя.

Однако — и в этом принципиальная новизна его концепции — он беспощадно отбросил все утопические, сектантские элементы национал-либерализма. Он отсекает от ВСХСОНовской теократии ее авантюристический, заговорщический привкус, от вечевского изоляционизма — „сибирский гамбит“, от Солженицына — ретроспективную утопию, от авторов „Из-под глыб“ — мистический антикоммунизм. И главное — он внес в „русскую идею“ то, чего так страстно добивалась ее политическая клиентура: утверждение „верноподданнической атмосферы“ в отношении советского государства как „единственно возможной для православно-русских патриотов“.

В прошлом веке так выглядела политика русского национализма, когда треснула и свалилась с нее скорлупа высокопарной риторики. И сегодня, точно так же как в начале столетия, из яйца современной „русской идеи“ вместо двуглавого орла православной монархии вылупилась уродливая рептилия русского фашизма.

ИДЕЙНЫЕ ИТОГИ „УЛЬТРА“

1. Концепция России как избранного народа, сохраненного Богом благодаря жесточайшим испытаниям, ниспосланным на него в ходе его истории. Сами испытания превращаются, таким образом, в свидетельство его избранности.

2. Концепция религиозной природы коммунизма, в которой самый размах его богоборческой деятельности превращается в свидетельство его богоизбранности.

3. Концепция советской власти как бессознательного орудия Господня, призванного спасти Россию и в конечном счете — посредством „православизации“ — весь мир. Признание принципа советской власти „русским“ по духу, что сближает Шиманова с „молодогвардейством“ и создает объективную основу для идейного союза истеблищментарной и диссидентской правоты.

4. Концепция „государственной катастрофы”, грозящей России, если советские вожди и „патриотические” массы не сумеют найти общий язык и начать работать вместе.

5. Выработка тактических приемов соединения „православия с ленинизмом”, эксплуатация и реинтерпретация лозунгов советской пропаганды.

6. Уже не латентный, как в случае ВСХСОНа, не сдержанный, как в случае „Вече”, и не символический, как в случае Солженицына, а откровенный антисемитизм, связанный с обличением „жидо-масонства” (идентифицируемого с либеральным диссидентством) как агента сил мирового хаоса и антипода „православизации мира”.

7. Попытка ввести в политический диалог с советской властью образ „2000 года”, т.е. надвигающейся финальной конфронтации России и Запада.

8. Концепция русского фашизма как альтернативной стратегии России в преддверии 2000 года.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ГОТОВ ЛИ ЗАПАД К 2000-му ГОДУ?

18

„РУССКАЯ ИДЕЯ”
ВЫХОДИТ НА УЛИЦУ
ФАШИЗМ: ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

В прошлом веке история тащилась на волах. Два поколения понадобились „русской правой”, чтобы пройти путь от протеста против деспотизма до его апологии. Лишь в третьем поколении оказалась она готовой к принятию фашизма. Конечно, уже в 1870-е внимательный наблюдатель мог бы предсказать с известной степенью уверенности, что идеологическая доктрина, проповедующая духовное возвращение в средневековье, скорее всего к концу века вернется в средневековье и политически, т.е. придет к „Протоколам сионских мудрецов”, а в начале следующего столетия ее сторонники выйдут на улицу в попытке повернуть колесо истории силой. По сути перед глазами такого наблюдателя разворачивался бы своего рода исто-

полуфабричным способом брелоки со свастикой. В прошлом году москвичи уже стали свидетелями попытки фашистской демонстрации у памятника Пушкину 20 апреля – в день рождения Адольфа Гитлера. В нынешнем году за несколько дней до этой даты директоров и секретарей партийных организаций средних школ собирали специально для инструктажа на случай возможных выступлений „фашиствующих элементов из числа несознательных групп молодежи”... И действительно, 20 апреля в ряде городов были зафиксированы выступления фашиствующей молодежи. Формы этих выступлений были различными: в одних городах, микрорайонах, во дворах и на улицах фашисты проходили строем, выкрикивая „Хайль Гитлер!” и „Зиг Хайль!”; в других – одетые в свою униформу, с повязками на рукавах, врываются в молодежные кафе и дискотеки, скандируя те же лозунги; в третьих – это были ночные демонстрации. Во многих случаях фашисты затевали драки, иногда избивали ветеранов войны, носящих орденские планки. Пускались в ход не только кулаки, но и кастеты. Участники этой акции – главным образом студенческая и рабочая молодежь, старшеклассники, учащиеся профессионально-технических училищ”.²

Это могло бы показаться преувеличением, слухами – если бы Евгений Евтушенко впервые не предал гласности феномен русского фашизма в сентябрьской книжке „Нового мира” за 1985 г., где, описав в стихах те же факты, что и самиздатский автор, заключил свое описание горестным вопросом:

Как случиться могло, чтобы эти, как мы говорим, единицы
уродились в стране двадцати миллионов и больше – теней?
Что позволило им, а верней, помогло появиться,
что позволило им ухватиться за свастику в ней?³

2 Фашизм в СССР: спонтанный протест или инспирированное движение? (Анонимная статья, присланная из Москвы.) – „Страна и мир”, 1984, № 1-2, с.51.

3 „Новый мир”, 1985, № 9.

РУССКИЕ ФАШИСТЫ В ЭМИГРАЦИИ

Тот же вопрос задает эмигрантский наблюдатель, описывая возникновение в Нью-Йорке фашистского издательства „Русский клич”, поставившего себе целью переводить на русский язык и публиковать „редкие книги, которые физически уничтожены как в СССР, так и на Западе”.⁴ За короткий срок (с 1982 г., т.е. с того самого года, когда состоялась первая фашистская демонстрация в Москве) „Русский клич” издал 87 таких книг, включая, разумеется, „Мою борьбу” Гитлера, речи Альфреда Розенберга, „Протоколы сионских мудрецов”, Программу Союза русского народа и цитированную мной в первой части этой книги брошюру В.Михайлова „Новая Иудея”. Издатель, некто Николай Тетенев, объясняет, что „ценность этих книг заключается в разоблачении истинных врагов нашего народа, а также является пособием для формирования духовного и национального самосознания”⁵ и просит тех, „кто любит наш многострадальный народ”, посылать в Россию „с туристами, моряками и даже обычной почтой книги, которые дают ясное представление, что произошло с Россией и в какое болото разврата и вырождения катится западный мир”.⁶

В дополнение тот же издатель выпускает журнал „Русское самосознание”, где преподносит читателям следующие сентенции: „Семиты погубили нашу родину, и только антисемитизм спасет ее. Отвращение к жидам заложено в нас самим Господом-Богом. Антисемитизм — это святое чувство, тот, кто заглушает его в себе, не только грешит, но и губит как себя, так и свою страну”.⁷ Как и московские фашисты, Тетенев не оставляет ни малейшего сомнения в том, на чьей стороне его симпатии в конфронтации фашизма и Запада. „Что касается Гитлера, то именно он поднял Германию из голода, из разру-

4 Я.Костин. Красное и коричневое. — „Зеркало”, 1985, № 3, с.2.

5 Там же.

6 Там же, с.7.

7 Там же, с.8.

хи, ликвидировал безработицу, обеспечил своему народу высокий уровень жизни, а хищникам-евреям указал на дверь”, тогда как „Запад с правами человека уже сейчас с помощью наркотиков, сексуальных извращений, рекламы и поп-музыки превратил свой народ в безвольную массу потребителей, годную в историческом плане разве что для удобрений”.⁸

„РУСИТЫ” - Как объяснить одновременное и открытое (в отличие от сочинений Шиманова и даже самиздатской „патриотической” почты „Вече”) выступление на сцену русского фашизма — и в Москве, и в эмиграции (где он, как и в Москве, выглядит неслыханно со времен 1930-х гг.)? У Евтушенко, конечно, нет ответа на этот вопрос. Ему делает честь уже то, что он его поставил.

Американский журналист Дэвид Шиплер, живший в Москве с 1975-го по 1979 г., хорошо понял силу выродившейся „русской идеи” (которую он называет „руситством”) и четко иллюстрирует ее беседой с одним немолодым советским писателем. „Националистическое движение, — сказал ему этот писатель, — единственное массовое движение в стране. Эти люди верят, что государство, церковь и нация — одно, и это очень опасный миф”. Когда разговор коснулся конкретно „руситства”, добавляет Шиплер, писатель просил не называть его имени: он больше боялся „руситов”, нежели КГБ или партии. „Нами управляют сытые волки, — сказал он, — а эти люди — волки голодные”.⁹

Однако, на мой взгляд, Шиплер объясняет этот феномен слишком абстрактно: „Потенциальная сила „руситства”, наиболее известным апостолом которого является Солженицын, лежит в совпадении самых мощных импульсов политической иерархии и народа. Разделяя преданность советского комму-

8 Там же, с.10.

9 David K. Shipler. Russia. Penguin Books, 1983, p.327.

низма к политическому единодушию, оно также нащупывает глубочайшие русские истоки подчинения власти и обнаруживает такое физиологическое отвращение к плюрализму, что некоторые либеральные диссиденты боятся, что „руситы” у власти были бы даже страшнее коммунистов”.¹⁰ Как большинство американских интеллектуалов, сталкивавшихся с русским национализмом, Дэвид Шиплер апеллирует к фундаментальным стереотипам политической культуры. Но ведь стереотипы эти вековые, статичные. Они не могут объяснить динамику „русской идеи”: почему она исчезла из обихода после двадцатых годов, почему возродилась во второй половине шестидесятых, почему, наконец, Шиманов, с которым много беседовал Шиплер, так презирает Солженицына, представленного Шиплером в качестве „апостола руситства”. Тем более не объясняют они, почему „русская идея” „вышла на улицу” и почему так трагически напряженно ее адепты ожидают двухтысячного года.

Объяснение самиздатского автора звучит, конечно, гораздо менее абстрактно. Он ссылается на то, что „сегодня в среде партийных, государственных и комсомольских деятелей часто распространяются отпечатанные на множительных аппаратах всевозможные „размышления”, „обращения”, „мемуары” — неофициальные по форме, но откровенно апологетические и одновременно угрожающие по содержанию. Чрезвычайно модным становится восхищаться твердостью лидеров Третьего рейха — Гитлера, а еще больше Гиммлера и Бормана... Книжки о Третьем рейхе становятся самыми популярными, особенно среди молодых функционеров”. Говорит автор и об общей „фашизации функционеров аппарата власти” и заключает, что „зарождающееся и набирающее силу фашистское, праворадикальное движение среди различных слоев советской молодежи, при том, что оно содержит элементы спонтанного протеста, оказывается на руку определенным группам политического руководства в СССР и, если прямо и не инспирируется ими, то скрыто поддерживается в расчете на возможное исполь-

10 Ibid.

зование этого движения для достижения определенных стратегических целей”¹¹

Но если фашистское движение *не* инспирируется „определенными политическими кругами”, то кем оно инспирируется? И почему „фашизация молодых функционеров” происходит именно сейчас и не происходила раньше? И почему именно „фашизация”?

Все эти вопросы остаются без ответа не в последнюю очередь потому, что ведущие американские советологи попросту их игнорируют, в лучшем случае трактуя их как экзотическое чудачество, *lunatic fringe*. Русскому фашизму нет места в конвенциональных советологических схемах. Консервативному направлению, с трудом различающему нацистский и советский „тоталитаризм”, вся эта суета с фашизмом в Москве должна представляться совершенно несущественной: какая в конце концов разница? Либералы, со своей стороны, уходят от некомфортабельных фактов, компрометирующих „функционеров власти” в Москве, „особенно молодых”, которым положено — по их сценарию — либерализоваться, а вовсе не фашизироваться. Так или иначе, никто из этих экспертов не хочет видеть в русском фашизме проблему, требующую объяснения. Одни, как мы уже знаем, смещивают „русскую идею” с патриотизмом, другие — с шовинизмом. В результате все удовлетворены. Проблема, однако, от этого не исчезает и по-прежнему требует объяснения.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ

Именно здесь теоретический анализ вырождения дореволюционной „русской идеи” обретает реальную практическую ценность. На самом деле объяснить фашистские демонстрации на улицах Москвы в начале 1980-х годов невозможно, если не вспомнить, что, во-первых, они там уже однажды были, во-вторых, какие обстоя-

11 Фашизм в СССР..., с.54.

тельства этому сопутствовали, в-третьих, какими идеями они тогда вдохновлялись и о чем именно их появление свидетельствовало.

Фашисты впервые вышли на московские улицы в 1905 г., вдохновлялись они лозунгами выродившейся „русской идеи”. Их бесчинства сигнализировали, что Петербургская Россия вступила в зону своего очередного „режимного” кризиса и что ее судьбоносный „системный” кризис был при дверях.

Неудачная русско-японская война вызвала резкую поляризацию политических сил в стране. Глубокий раскол православной монархии, казавшийся незаметным под цензурным прессом в эпоху стагнации, внезапно открылся миру. В верхах русского истеблишмента образовалась реформистская коалиция, инициировавшая Столыпинские реформы, т.е. отчаянную попытку спасти систему посредством *режимного изменения* и предотвратить контрреформу, которую предвещали как революционный терроризм слева, так и черносотенный терроризм справа. С другой стороны, „патриотические массы” устремились на улицы сокрушать жидо-масонский заговор против России. Этим людям нужны были не реформы, а погромы. Реформистская Россия стояла лицом к лицу со своим извечным экстремистским „революционно-реакционным” антагонистом. К 1908 г. реформаторы выиграли первый раунд этой роковой конфронтации.

Что видим мы в Москве в начале 1980-х? Развал затянувшегося на два десятилетия режима политической стагнации, раскол советского истеблишмента; образование в его верхах новой реформистской коалиции, инициировавшей горбачевские реформы, т.е. отчаянную попытку спасти систему посредством *режимного изменения*; „патриотические массы” на московских улицах, празднующие день рождения Гитлера. Снова встала реформистская Россия лицом к лицу со своим экстремистским антагонистом. К 1985 г. реформаторы выиграли первый раунд этой конфронтации.

Разумеется, „режимный” кризис 1905-1907 гг. не сводился к фашистским демонстрациям и столыпинским реформам. На поверхности фигурировали совсем другие события: царский

манифест, созыв Государственной Думы, либеральные партии и Советы. Не сводится к горбачевским реформам и фашистским демонстрациям и „режимный” кризис 1980-х. Конкретные детали каждой исторической ситуации уникальны. Речь здесь, однако, о *модели* политического изменения в России, а не об особенностях ее отдельных кризисов.

Что следует из предложенной здесь исторической параллели? К началу 1980-х годов брежневская политическая стагнация достигла пропорций „режимного” кризиса, сравнимого с тем, который принес России поражение в русско-японской войне. В ситуации упадка империи и приближающегося „системного” кризиса это обстоятельство не могло не привести к аналогичному сочетанию фашистских манифестаций и реформистской коалиции в верхах русского истеблишмента. Однако, если в „режимном” кризисе 1905 г. реформистской России противостояли как левозкстремистская, так и правозкстремистская альтернативы, то в „режимном” кризисе 1980-х единственной потенциальной политической силой, опирающейся на четкую идеологическую альтернативу и поэтому способной выиграть от коллапса реформы, является правый экстремизм. Успех или провал „русской идеи” в двухтысячном году полностью зависит, таким образом, от успеха или провала горбачевских реформ. Так же, как перспективы большевиков после 1905 г. полностью зависели от успеха или провала столыпинских реформ.

ПРОГРАММА ЕМЕЛЬЯНОВА

В наиболее разработанном виде тактическая программа фашистской „трансформации” России к 2000 году была предложена Николаем Емельяновым в записке, представленной в ЦК КПСС 10 января 1977 г., т.е. задолго до „выхода „русской идеи” на улицу”.

С точки зрения Емельянова, „совершенно очевидно, что борьба с высокоразветвленной и высокоорганизованной се-

тью сионизма и масонства... может вестись успешно только на уровне *еще более высокой организации*, которая под силу только нашей стране, всем странам социалистической системы, совместно со многими развивающимися странами. Конкретными мероприятиями в этом плане могли бы быть:

А. На международном уровне

Создание широкого *всемирного антиссионистского и антимасонского фронта*, по типу антифашистских фронтов 1930-40-х, потому что угроза мирового господства сионизма, намеченного им на 2000 год, грозит всем гоям земли, независимо от расы, религиозной и партийной принадлежности (проект Устава этого фронта подан год назад в международный отдел ЦК КПСС).

Если учесть, что это будет фронт против 80% всего мирового капитала, то *конечная победа фронта будет окончательной победой над всей системой капитализма в мировом масштабе*.

Время не ждет: пока сионистско-масонский поезд движется к своему 2000 году по расписанию, остановить его может только *всемирный фронт*, только он и сможет пустить его под откос мировой истории. В противном случае *всех гоев* ждет неминуемый геноцид.

Б. На внутрисоюзном уровне

Создание специализированного научного института (условно: Института изучения сионизма и масонства *при ЦК КПСС*), подбор кадров в который предусматривал бы недопущение к работе лиц, которые могут являться потенциальными носителями идей сионизма и масонства (читай: евреев, — А.Я.). Если в ФРГ, например, капиталистическое правительство не допускает к широчайшему полю деятельности лиц, состоявших в демократических организациях (читай: коммунистов, — А.Я.), то почему страна первой в мире *диктатуры* пролетариата должна отказывать себе в аналогичных мерах против лиц, могущих быть носителями антисоциалистических идей? Ведь на то она и *диктатура*... В случае несоблюдения этого пункта, создание Института нецелесооб-

разно (развернутое предложение об этом представлено в Президиум XXV съезда КПСС)...

Введение раздела „научного антисюионизма и антимасонства” в программы общественного образования всех средних школ... а также в учебные программы телевидения.

Издание стабильных учебников по этому предмету для вузов...

Включение этого предмета в обязательную программу всех уровней системы политического образования, а также в обязательную программу политической подготовки всех кадров Вооруженных сил СССР — от солдата до маршала.

Включение в уголовные законодательства всех союзных республик статей, предусматривающих суровые наказания за принадлежность к сионистским и масонским организациям... утайка принадлежности к сионизму и масонству должна рассматриваться как проникновение в наше социалистическое общество вражеского агента, со всеми вытекающими отсюда уголовными последствиями.

Объявление в законодательном порядке (в указе Верховного Совета СССР) сионизма и масонства вне закона.

Беспощадная борьба со всеми видами *организованной* масоно-сионистской деятельности типа „Сахаровского комитета”, „Комитета по наблюдению за выполнением Хельсинской декларации в отношении прав человека”, „Солженицынского фонда помощи политическим заключенным СССР”, „Советского отделения Международной амнистии”, разного рода „международных семинаров по вопросам еврейской культуры” и других самозванных органов и суровое уголовное наказание всех их участников”.¹²

Как видим, для Емельянова время рефлексии (или, как говорил когда-то Скобелев, „штатских теорий”) миновало. Пришло время засучить рукава и готовиться к двухтысячному году. И рассылает он поэтому не идеологические трактаты, как Осипов, и не демонологические изыскания, как Солжени-

12 „Русское самосознание”, 1984, № 4, с.11-12.

цын, но совершенно конкретную, разбитую на пункты программу действий, изложенную на ортодоксальном канцелярите, на котором изъясняется средний „фашиствующий функционер” эпохи политической стагнации. Поэтому никакого упоминания о „православизации России и мира” в ней не содержится и вообще лукавое шимановское разделение „православно-патриотической трансформации” на *стратегию* (убеждение „русской новой правой” в необходимости союза с режимом) и *политику* (убеждение режима в необходимости союза с „русской новой правой”) ему чуждо. Его интерес сфокусирован *исключительно на тактике*. Отсюда полное отсутствие в нем апелляции к православию.

Трудно, однако, не заметить глубокую внутреннюю связь емельяновского документа с яростными диатрибами „Письма трех” в „Вече” против „организованных сил широкого сионизма и сатанизма”, ведущих „коварную борьбу против нашего государства извне и изнутри”. Невозможно не заметить, что на самом деле емельяновская программа представляет не более чем развернутое и детализированное предложение „Слова нации” об „идеологической переориентации диктатуры”.

Солженицын не сумел сформулировать точный идеологический ответ „патриотическому” читателю „Вече” и автору „Критических заметок русского человека”. Шиманов сумел это сделать, но конкретной программы подготовки к двухтысячному году не предложил. Эту зияющую брешь в амуниции „русской новой правой” мог заполнить только человек, который сам многие годы был „фашиствующим функционером”. Таким человеком и оказался Емельянов.

Тут и выяснилось, что у фашиствующего функционера Емельянова, „молодогвардейца” Чалмаева, нобелевского лауреата Солженицына и лифтера Шиманова враги – общие, как бы они их ни называли, – просвещенными ли мещанами, жидо-масонами или „образованщиной” (с той, естественно, разницей, что сторонники Солженицына уже сами включены Емельяновым в эту дьявольскую компанию). Оказалось, другими словами, что фашистская программа Емельянова

прочно встроена в „православно-патриотический” храм „русской новой правой”.¹³

ФУНКЦИЯ „РУССКОЙ ИДЕИ”

Нам остается лишь кратко определить роль и функцию „русской идеи” в авторитарной системе.

Идеология имперского национализма („русская идея”) возникает в ситуации, когда система, достигнув очередного пика, начинает неудержимо скользить к упадку (это читатель может видеть, взглянув на *табл. 3* приложений). Так произошло в прошлом веке и повторилось в нашем. Иначе говоря, возникновение и возрождение „русской идеи” связано с прогрессивным истощением ресурсов системы — духовных, политических, социальных и экономических — с утратой ею мобилизационного характера и симпатий масс, с отчуждением от нее интеллигенции. Эти ресурсы истощались медленнее в прошлом веке, что и обусловило, по-видимому, медлительность ее метаморфозы в теневую идеологию контрреформы, способную вернуть системе — в ситуации „системного” кризиса — ее мобилизационный характер, симпатии „патриотических” масс и экстремистской части интеллигенции.

Раз возникнув, однако, „русская идея” развивается, подчиняясь своей собственной логике, постепенно превращаясь из орудия борьбы со злом внутренним и внешним в инструмент мобилизации против „внешнего врага”, способствуя возрождению гарнизонной ментальности в „патриотических” массах. Собственно, зерно этой эволюции содержится в ней изначально — в поиске третьего, специально „русского” пути между демократией и „душевредным деспотизмом”. Это мы видели у ранних славянофилов в прошлом веке и у Солженицына се-

¹³ Тут вряд ли имеет существенное значение, что Н.Емельянов оказался, как и следовало ожидать, маньяком, и был в 1981 г. заключен в тюрьму за убийство собственной жены. Фанатики, как известно, могут быть идеологическими лидерами, но редко бывают уравновешенными людьми.

годня. Затем следует имперская мечта покончить с „дьяволом” раз и навсегда посредством „православизации” мира, которую мы видели у Шарапова в 1900-х годах и у Шиманова в 1970-х. И, наконец, вырисовывается гигантский образ Сатаны, планирующего захват мира, которому может противостоять только Россия, обладающая монополией на политическую праведность. Так приближалась „русская идея” к своему естественному завершению, одинаково очевидному у Одинзгоева в начале 1920-х и у Емельянова в конце 1970-х: Слово нации неизменно оказывалось Словом о фашизме.

РОКОВОЙ ВОПРОС

Брежневские стратеги со Старой площади не поняли, судя по их реакции, смысла возрождения „русской идеи”. Для них, как, увы, и для американских советологов, она вовсе не была знаменем упадка системы и ее неудержимого скольжения к „системному” кризису. Для них, как для западных попутчиков „русской идеи”, она была лишь разновидностью диссидентства, борющегося против режима. Поэтому не анализировать ее сигналы следовало, но прекратить их. Соответственно, решение проблемы было предоставлено политической полиции. Полиция могла выследить и арестовать ВСХСОНовцев, сослать Осипова, выслать Солженицына, заткнуть рот Чалмаеву, но изменить брежневскую стратегию, в которой был корень проблемы, она, естественно, не могла.

Стратегия эта была чревата политической стагнацией, социальным гниением и культурным параличом. И дееспособна она могла быть только в условиях, когда ресурсы страны пусть медленно, но растут, а проблема режима заключается лишь в распределении их между двумя главными страхами системы — населением с его растущей потребностью „сытости” и военно-промышленным комплексом с его растущей потребностью „мощи”. Стратегия эта, однако, отказала, как только ресурсы системы начали прогрессивно истощаться, и перед режимом возник роковой вопрос: чем жертвовать „сытостью” или

„мощью“? Только в поиске ответа на этот роковой вопрос в конце 1970-х, когда экономический упадок и социальное гниение достигли скандальных размеров, обнаружили советские политики, что любой ответ потребует *изменения режима* — и, соответственно, идеологического оправдания этого изменения.

Снова, как в начале века, оказалась Россия на перепутье. Разрушив стеновой хребет сталинистской экономики, предпочтя интересы „сытости“ интересам „мощи“, система может перейти в режим реформы. Судя по речам Горбачева, именно этот переход и обещает он России. Это еще раз доказывает, что реформистская Россия без боя не сдастся. При всем том ни одна русская реформа на протяжении последнего полутысячелетия не оказалась необратимой. Даже самые успешные из них, как мы знаем, либо растворились в политической стагнации, как реформа Хрущева, либо были обращены вспять свирепой контрреформой, как попытка Столыпина. Какие же у нас основания ожидать от Горбачева осуществления того, на чем сломали себе шею все без исключения его предшественники? Для этого ему понадобилась бы многосторонняя интеллектуальная и политическая поддержка международного сообщества, которой пока что на горизонте не видно.

Конечно, чудо всегда возможно. Но полагаться на чудеса в политике, по меньшей мере, наивно. Что если горбачевскую реформу ожидает судьба столыпинской? Сможет ли тогда система, если она хочет выжить, оправдать свой отказ от „сытости“ каким-либо другим способом, кроме насаждения „духовной и аскетической“ ментальности во имя смертельной борьбы со всемирным „жидо-масонством“, готовящимся к штурму России в 2000 году? Насколько мы можем судить, исходя из исторического опыта, в случае крушения реформы система должна будет обратиться к „русской идее“ — просто потому, что больше ей будет не к чему обратиться. Она должна будет принять стратегию Шиманова и тактику Емельянова.

КОМУ ВЕРИТЬ?

Разумеется, западным экспертам по России такой исход дела представляется невероятным. Кто такие, спросят они, все эти „православно-патриотические” писатели и читатели? Какое у них влияние в Кремле? С кем связаны они на Старой площади? Чего стоят их „критические заметки” вместе с демонологией Солженицына, стратегией Шиманова и тактикой Емельянова? Кто пойдет за ними на страшный риск „православизации” империи и мира? Разве сами цитированные выше писания их не свидетельствуют, что они, мягко говоря, люди эмоционально неустойчивые и полуобразованные, не пользующиеся вдобавок никаким точно документированным влиянием в официальных кругах? Какова вероятность, другими словами, что такие люди могут изменить ход истории, когда заслуживающие доверия источники (советские собеседники экспертов из важных околоскромлевских кругов) заверяют их, что все в порядке в датском королевстве?

Нет сомнения, эксперты оперируют самым современным и прецизионным аналитическим аппаратом. У них в руках статистика, многочисленные интервью с советскими эмигрантами, точные методики исследования и коллекция цитат из речей советских лидеров. Шиманову и его единомышленникам нечего этому противопоставить, кроме собственных наблюдений, чувств и предощущений. И все же — в отличие от аккуратных и рациональных экспертов — земля под ногами именно у них. В самом воздухе родины ощущают они приближение грозы — фундаментального кризиса системы, способного превратить в реальность (как в 1917-м) даже самые фантастические идеи, пробудить силы, неподвластные статистическому учету и рациональному анализу. Шиманов и его единомышленники живут в ожидании своего собственного 1917-го. Они уверены, что наступит он в двухтысячном году. Кому же верить — западным экспертам или пророкам „русской идеи”?

С точки зрения опыта русской истории, я сказал бы так: никто не пойдет за Шимановым или Емельяновым, если Горбачеву удастся предотвратить „системный” кризис. Но что, если ему это не удастся? Ведь даже самые либеральные советологи

не решаются отрицать его возможность в 1990-е годы.¹⁴ А уж что касается консервативных, то они просто рекомендуют подталкивать советскую систему к этому кризису, не подозревая, что работают при этом на Шиманова и его стратегию фашистской „трансформации” России.

Один из самых поразительных выводов из истории нашего века содержится в книге английского ученого Нормана Кона: „Существует подземный мир, где патологические фантазии вынашиваются плутами, полуобразованными фанатиками — для невежественных и суеверных. Бывают времена, когда этот подземный мир возникает из глубин и внезапно зачаровывает, пленяет и обволакивает массы обычно здоровых и ответственных людей. И случается, что этот подземный мир становится политической силой и меняет ход истории”.¹⁵

Это — результаты наблюдения над Германией 1920-х годов. Аналогичная ситуация сложилась в 1970-е годы в Иране, полностью подтверждая наблюдения Кона. В отличие от пророчеств Шиманова, наблюдения Кона нельзя списать со счетов как фантазию. И все-таки мы это делаем. Почему?

14 „Если консерваторы или реакционеры одержат победу в 1980-е гг. или если неумелые реформы кончатся ничем... весьма вероятно, что 1990-е гг. принесут кризис легитимности и намного более острые дилеммы для режима; его основные структуры и ценности будут взяты под сомнение и атакованы, как никогда прежде”. (Timothy J. Colton. *The Dilemma of Reform in the Soviet Union*. — Council on Foreign Relations, 1984, pp.78-79.)

15 Norman R.C. Cohn. *Warrant for Genocide*, Harper and Row, New York, 1966, pp.17-18.

СОВЕТОЛОГИЯ НА РАСПУТЬЕ

В любой науке, имеющей дело с динамическими объектами, исторический подход — стандартная стратегия исследования. Немыслимо вообразить, скажем, геолога, изучающего динамику образования земной коры, или психолога, анализирующего недуг пациента, добровольно отказавшиеся от рассмотрения прошлого своего объекта во всей полноте, возможной при современном состоянии науки. Советология, хотя она и причисляет себя к социальным наукам, — единственное известное мне исключение из этого универсального правила. Более того, как гневно заметил Ричард Пайпс, она „агрессивно щеголяет своим невежеством в русской истории”.¹ Советология словно бы очертила вокруг себя „меловой круг”, в котором оказались исключительно события, произошедшие в России после 1917 года. Советологи, верящие в магическую силу смены поколений в советском истеблишменте, странным образом не замечают, что смена поколений в самой советологии не только не произвела никакого изменения в восприятии России западной публикой, но даже в их собственных представлениях.

Это правда, что младшее, ревизионистское поколение советологов взбунтовалось в 1960-е годы против своих учителей. Оно низвергло старые кумиры, но сохранило их главные табу и стереотипы. Бунтовщики не вышли за пределы „мелового круга”. Тут мы встречаемся с первым парадоксом западного

1 Martin F. Herz, ed. *Decline of the West? Ethics and Public Policy Center*, Georgetown University, 1978, p.62.

спора о России: советологический бунт, спровоцированный хрущевской реформой, повторил ее судьбу — он растворился в интеллектуальной стагнации.

Дело осложняется тем, что даже редчайшие советологи, которые осмелились перешагнуть „меловую черту”, как тот же, например, Ричард Пайпс или Джордж Кеннан, пошли в своих исследованиях не вперед, а назад, попытавшись механически перенести традиционные исторические парадигмы, модные в прошлом веке, в современную политическую реальность.² Поэтому они тоже оказались в „меловом кругу”, только в другом, очерченном столетие назад классической русской историографией. Таков второй парадокс современного спора о России.

Третий его парадокс, пожалуй, самый забавный, заключается в том, что муза истории Клио не простила пренебрежения обоим конфронтирующим лагерям. Она не дала им выйти за пределы прошлого. В результате сейчас, в эпоху нового „режимного” кризиса русской политической системы 1980-х, и консерваторы, и либералы прилежно повторяют заблуждения и ошибки тех, кто спорил о судьбах России в эпоху другого „режимного” ее кризиса в начале века.

В самом деле, разве не повторяют западные консерваторы аргументы старых русских экстремистов (в первую очередь большевиков), когда призывают углубить любыми средствами „режимный” кризис системы, довести его до накала „системного” — и таким образом навсегда похоронить коммунизм? И разве не повторяют либеральные советологи старых русских либералов, отрицая самую возможность такого „системного” кризиса, чреватого исторической катастрофой? Разве не уверены они сейчас, что советская система сама по себе каким-то образом преодолет свой „режимный” кризис, даже если они пальцем о палец не ударят, чтобы поддержать горбачевскую реформу? Вот чем оборачивается советологическое бегство от истории. 2000-й год, похоже, застигнет Запад врасплох, точно так же как застиг его врасплох 1917-й.

² Подробнее об этом см.: A. Yanov. Flight from Theory. — Slavic Review, Fall 1983.

ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ

Возможно ли предотвратить новую контрреформу, тактику и стратегию которой уже два десятилетия, как мы видели, упорно готовит к 2000 году „русская новая правая“? Нет сомнения, что такая контрреформа оказалась бы исторической катастрофой для России. Но ведь в отличие от всех прошлых ее исторических катастроф, в ядерном веке она может обернуться и мировой катастрофой. Вот почему проблема ее предотвращения представляется мне центральной в истории человечества конца XX века. Мне кажется, что, в принципе, предотвратить новую русскую контрреформу возможно — при условии переориентации западной стратегии в отношении России. Понятно, что такая переориентация может быть только результатом реформы западной советологии и преодоления тех парадоксов западного спора о России, о которых я только что говорил.

Прежде всего зададим себе несколько простых вопросов. В самом ли деле русская история пронизана катастрофами, резко и неожиданно менявшими курс нации — порою до неузнаваемости? Это факт. Это очевидно из школьного учебника истории. Из него же очевидно, что „революция снизу“ Владимира Ленина была ничуть не менее неожиданной и не менее катастрофичной для России, нежели „революция сверху“ Ивана Грозного, Петра Первого или Иосифа Сталина. Каждая из них сопровождалась массовым террором и всеми ужасами гарнизонного деспотизма и обходилась стране в миллионы невинных жертв (что, впрочем, не помешало русским историкам, а иногда, увы, и западным видеть в них могучую поступь прогресса). Кроме того, все они деформировали политическую культуру России. Это они обусловили тот страшный факт, что — единственная из европейских стран — Россия так и не сумела ни освободиться от империи, ни отделить церковь от государства, ни примириться с принципом разделения властей, на котором основаны современные политические системы. Короче говоря, неожиданные исторические катастрофы, как бы парадоксально это ни звучало, — вполне ординарный и постоянно действующий фактор русской политической динамики. Это он блоки-

ровал выход России из средневековья – вплоть до конца второго христианского тысячелетия.

Как же соотносится этот факт русского прошлого с русским будущим? Разве не жизненно важно точно выяснить, при каких условиях входит русская политическая система в зоны своих „системных” кризисов, чреватых историческими катастрофами? И как сопрягаются они с ее „режимными” кризисами? Другими словами, не следует ли советологии – прежде, чем отвергнуть сигналы „русской идеи” о 2000 годе, – исследовать феномен русской политической динамики во всей его парадоксальной сложности?

Старые русские либералы не интересовались этими вопросами, пока не наступил для них срок платить по векселям. Их „2000 годом” оказался 1917-й. Так не следует ли извлечь урок из их ошибки? Не пришло ли хотя бы в 1980-е годы время перешагнуть „меловую черту”? Не пришел ли час для реформы советологии, способной подготовить Запад к 2000 году?

А теперь вопрос для консерваторов: известен ли им хотя бы один-единственный случай в русской истории, когда „системный” кризис России („революция”) привел бы к ее освобождению от „душевердного деспотизма”, а не к его усилению? Иначе говоря, был ли случай, когда Запад выиграл от исторической катастрофы России? Большевики начала века, обуреваемые слепой жадной сокращения царизма, не интересовались этими вопросами. Точно так же, как не интересуются ими сейчас западные консерваторы, жаждущие крушения коммунизма. Мы знаем результаты большевистского экстремизма даже без школьного учебника. Но может быть, большевистская „революция” была исключением в русской истории? Может быть, в каком-нибудь другом случае „системный” кризис действительно освободил Россию? Почему бы консерваторам, забыв на минуту свою „столетнюю войну” с либералами, спокойно не полистать учебники? Тогда, возможно, увидели бы они, что антикоммунистическая „революция” в России способна принести только тот же конечный результат, что и коммунистическая – заряженный экспансионистскими амбициями гар-

низонный деспотизм. Хотят ли они оказаться лицом к лицу с воинственной и динамичной фашистской супердержавой?

Я не так наивен, чтобы надеяться, что люди, вложившие весь свой политический капитал в разоблачение либералов, профессиональные идеологи антикоммунизма вдруг — пусть и перед лицом неоспоримых исторических фактов — дружно примутся вместе с либералами противодействовать уже два десятилетия активно действующей как в Москве, так и в эмиграции „русской новой правой”. В действительности большинство советологов представляют собою не более, чем зеркальное отражение советских профессиональных идеологов антиимпериализма. И все же всегда находятся люди, даже среди советских жрецов, для которых факты важнее чистоты партийных риз. Мой призыв, следовательно, обращен к таким людям и среди советологов, будь они консерваторами или либералами: не пришло ли время серьезно подумать о „русской идее” и 2000 годе?

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ФЕНОМЕН

Отсутствие сильного среднего класса обусловило уязвимость России к страшным „системным” кризисам, в особенности в эпохи ее исторического упадка, сделало ее неспособной эффективно сопротивляться экстремистским штурмам.

Это правда, что русские реформаторы инстинктивно угадывали эту слабость системы и на протяжении полутысячелетия, начиная с Ивана Третьего и кончая Хрущевым, пытались преодолеть ее, содействуя так или иначе формированию и усилению среднего класса. При всем том, однако, их политическое видение было, как правило, искажено идеологическими aberrациями: у Столыпина, например, его искренним убеждением в непревзойденных достоинствах православной монархии, у Хрущева — его верой в преимущества коммунизма. Другими словами, политическое мышление русских реформаторов оставалось в своей основе средневековым. Они не могли поэтому сделать возвышение среднего класса фокусом

своей политической программы. И соответственно, не сумели выработать четкие и точные стратегии этого возвышения. У них не было ни опыта, ни школы современной политики: один в прошлом был саратовским губернатором в царской империи, другой — сталинским проконсулом на Украине. И самое главное, ослепленные своими идеологическими предрассудками, они полагали, что средневековую систему можно оздоровить, сохранив при этом незатронутыми ее основания.

По всем этим причинам — несмотря на изощренный политический инстинкт, энергию и динамику, которые внесли они в ржавую, затхлую атмосферу 1900-х и 1950-х годов — выработка точной стратегии возвышения среднего класса оказалась за пределами их возможностей (точно так же, как она и сейчас за пределами возможностей Горбачева). Более того, как свидетельствуют факты истории реформ, предшествующих Столыпину, похоже, что такая стратегия вообще не может быть выработана внутри русской политической системы — с ее глубоко укорененной традицией цензуры и самоцензуры и с ее атмосферой взаимного страха и ненависти, столь характерной для русского истеблишмента. Не потому ли вся русская история — одна драматическая цепь потерпевших поражений и обращенных вспять реформ? Не потому ли, оказавшись в заколдованном кругу отчаянных реформистских попыток и брутальных контрреформ, Россия не способна вырваться из него собственными силами?

В самом деле, достаточно бросить взгляд не на то, что *разделяло* старых русских либералов и большевиков, а на то, что их *объединяло* (как объединяет и сейчас, несмотря на все их различия, либеральных советологов и консерваторов), и мы тотчас обнаружим наивную, противоречащую всем историческим фактам веру, что „больной человек Европы” может каким-то образом исцелить себя сам — будь то посредством реформы или посредством революции. Я бы назвал эту веру метапарадигмой, в рамках которой находились в последнее столетие все течения русской политической мысли в самой России и за ее пределами.

К сожалению, все они — и либералы, и консерваторы, и

экстремисты — мечтали о невозможном: пациент не мог излечиться собственными усилиями.

На первый взгляд, это обстоятельство обрекает на поражение любую попытку реформации России. Во всяком случае, оно диктует жестокое отрезвление от наивной веры, одинаково консервативной и либеральной, в то, что сегодняшняя конфронтация ядерных супердержав имеет какое-то простое и ясное решение, будь то революционное или реформистское. Оно обязывает нас начать поиск принципиально новых, сложных и окольных путей решения задачи политической модернизации России. Оно заставляет нас в особенности обратить внимание на то, что *изменилось* в мировой ситуации в конце тысячелетия по сравнению с ситуациями всех предшествующих русских реформ, будь то в 1900-е или в 1950-е годы.

С моей точки зрения, главное, что отличает конец этого тысячелетия, состоит в беспрецедентной концентрации знания о России, накопленного на Западе за последние полвека и воплотившегося в тоже беспрецедентном феномене западной советологии. Конечно, до сих пор это был в основном мертвый капитал, используемый главным образом в академических дискуссиях и социально-экономических и политических анализах. Но ведь, в принципе, интеллектуальный капитал этот может быть пущен в дело, активизирован, превращен, как говорил Маркс, в материальную силу, например, он может быть использован для выработки точной стратегии возвышения среднего класса России, т.е. для ее политической модернизации. (Что имеется в виду под „средним классом” в советских условиях, показано на *табл.5.*) Тем более что, как бы парадоксально это ни звучало, объем знаний о России, которым располагает сегодня советология, превышает во многих случаях то, что знают о своей собственной системе советские политики, экономисты и социологи.

В конце концов, совершенно очевидно, что такая стратегия может быть выработана только людьми, прошедшими, в отличие от русских реформаторов, школу современной политики, сочетающими в себе превосходное знание современной России и западную культуру мышления, людьми, выросшими

без политической цензуры и имеющими не замутненный средневековыми идеологическими аберрациями опыт работы над политическими стратегиями.

Короче, я говорю о том, что стратегия возвышения русского среднего класса может быть выработана только вне системы. Более того, я бы сказал, именно в выработке такой стратегии и могла бы состоять реальная политическая функция западной советологии. В этом смысле советология (если бы она оказалась способной преодолеть партийную вражду и интеллектуальную стагнацию) — потенциальный антипод „русской идеи“, способный расстроить ее план 2000 года.

ЧЕГО МЫ ХОТИМ ОТ РОССИИ?

Само собой разумеется, назначение такой стратегии состояло бы не в том, чтобы *навязать* ее реформистским лидерам России, но лишь в том, чтобы *адекватно реагировать на их* политические ходы, в том, чтобы поддержать их собственное инстинктивное стремление к возвышению среднего класса, в том, если угодно, чтобы направить их реформистскую энергию в правильные, не искаженные идеологическими предрассудками русла. Как это сделать практически, — другой вопрос, и я еще к нему вернусь. Сейчас речь идет лишь о принципиальной переориентации западной советологии, которая в свою очередь могла бы послужить предпосылкой и базой для переориентации всей стратегии Запада в отношении России.

Конечно, прежде всего это предполагает отказ от расхожих стандартных формул и терминов, которыми до сих пор пользуется западная стратегия в отношении России, будь то „тоталитарная диктатура“ или „олигархия“, или „номенклатура“, или „советский режим“, или „советская элита“. Разумеется, все эти отжившие, недифференцированные формулы были порождены интеллектуальной стагнацией в советологии и ее бегством от истории, о которых говорилось выше. Но коренятся они в полувековой конфронтации супердержав — и

только для продолжения такой конфронтации и пригодны. Для делового подхода к России, имеющего целью прекращение конфронтации, они не годятся. Прежде всего потому, что лишают нас фундаментального, формообразующего элемента всякой деловой стратегии: ясного представления о ее цели. О том, чего мы, собственно, хотим от России.

Мы ожидаем от нее цивилизованного поведения в мировой и внутренней политике. Но ведь поведение политической системы есть лишь функция ее природы. Наивно упрекать волка за то, что он ест овец, а не траву. Однако столь же наивно упрекать средневековую политическую систему в том, что она пренебрегает нормами поведения современного цивилизованного мира. Еще более наивно произносить громовые речи, разоблачая ее „тоталитарную” природу и в то же время ожидать от нее „нетоталитарного” поведения. Так же, как в случае с волком, элементарный здравый смысл требует выбора: если мы действительно имеем дело с „тоталитарным волком”, тогда все переговоры о том, чтобы он перешел на вегетарианскую диету, бессмысленны. Именно это и утверждают консерваторы. Если же мы все-таки ведем такие переговоры, надеясь на их успех, из этого должно логически следовать, что люди, с которыми мы садимся за стол переговоров, не являются „тоталитарными волками”. Одно из двух. Тот факт, что западная стратегия исходит одновременно из обеих предпосылок, свидетельствует, что стратегия эта — не деловая.

Для того чтобы средневековая система действовала в рамках современной цивилизации, она должна выйти из средневековья, „присоединиться к человечеству”, как мечтал еще полтора столетия назад Петр Чаадаев. Другими словами, она должна быть политически модернизирована. Следовательно, единственной целью деловой стратегии Запада, отвечающей требованиям элементарного здравого смысла, может быть только содействие политической модернизации России, в основе которой, как мы уже говорили, лежит возвышение ее среднего класса.

Являются ли адекватными средствами для достижения этой цели военная конфронтация, экономическое давление,

подрывная пропаганда, угроза „звездных войн“, хотя бы и в комбинации с переговорами о контроле над вооружениями? Может ли все это вести к возвышению советского среднего класса?

Достаточно поставить этот вопрос, чтобы стало очевидно, что, лишив себя деловой цели стратегии в отношении России, мы не располагаем и средствами для прекращения конфронтации. Хуже того, мы даже не обсуждаем их в нашем споре о России. Мы даже не знаем, в каких терминах их обсуждать.

МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО

Начнем с того, что никакого „советского режима“, тоталитарного или нет, не существует. На протяжении столетий русская политическая система квантовалась, если можно так выразиться, политическими режимами, каждый из которых был не продолжением, а отрицанием предшествующего. Разве не была сталинская „революция сверху“ „деленинизацией“ советской системы? Разве не был хрущевский режим „десталинизацией“, а брежневский — „дехрущевизацией“? Разве не начал Горбачев с „дебрежневизации“? Если взглянуть на *табл. 4*, то станет очевидно, что так оно было и в предшествующем историческом цикле России. Так оно всегда было в России. Именно поэтому понятие „режимного изменения“ (regime-change) и является по сути ключевым в русском политическом процессе. А нам термин „советский режим“ служит одинаково для описания как военного коммунизма, так и нэпа, как сталинской диктатуры, так и хрущевской либерализации, как брежневского гниения, так и горбачевского перехода к режиму реформы. Я сейчас говорю лишь о тех „режимных изменениях“, о которых мы знаем не из учебников — они часть нашей жизни. Даже собственный опыт не осмыслили мы как теоретический факт.

Не осмыслили мы теоретически и то обстоятельство, что каждое „режимное изменение“ неизбежно отражается и во

внешнеполитических целях системы. Русские диктаториальные режимы, например, всегда вынашивали грандиозные экспансионистские замыслы. Режим Сталина, проглотивший, не поперхнувшись, Восточную Европу с населением в сто одиннадцать миллионов человек, вовсе не был в этом смысле исключением. Режимы Ивана Грозного, Петра Первого, Павла Первого, Николая Первого ничуть не уступали ему в грандиозности экспансионистских замыслов. А вот режимы политической стагнации, как брежневский, всегда в русской истории были мелкоэкспансионистскими, судорожно хватая, что плохо лежало, никогда, однако, не позволяя себе гигантских замыслов диктаториальной экспансии.

Действительное „окно” в модернизацию представляли собой лишь режимы реформ, занятые радикальной внутренней перестройкой системы и – как следствие этого, – отказывавшиеся, как правило, и от территориальной экспансии, и, насколько это было для них возможно, от конфронтации – с собственным народом и с внешним миром. Хрущевская либерализация, отказ его режима от территориальной экспансии и от участия в гонке стратегических вооружений (не говоря уже о последовательном сокращении конвенциональных армий) был лишь наиболее яркой демонстрацией того, что русские режимы реформ на самом деле являются „окнами” в модернизацию. Вместо территориальной экспансии такой режим стремится, как правило, к экспансии политического влияния. Поэтому, надо полагать, горбачевское правление в 1980-е, если ему суждено превратиться в режим реформы, неизбежно приведет к аналогичному взрыву экспансии политического влияния – и к отказу от территориальной экспансии. (К сожалению, принципиальное различие между естественной для супердержавы борьбой за влияние и территориальной экспансией не было осмыслено теоретически ни в начале 1960-х, когда режим реформы отчаянно нуждался в поддержке Запада, чтобы выжить, ни в середине 1980-х.)

Как бы то ни было, термин „советский режим”, которым безмятежно оперируют западные советологи всех убеждений, в деловом подходе к России просто не функционален. Как не

функционален и термин „советская идеология” (о чем — ниже). И тем более термин „советская элита”. Хотя бы потому, что в действительности мы имеем дело с широким спектром советских элит, одни из которых являются агентами политической модернизации — и в этом смысле потенциальными союзниками Запада — а другие, как „русская новая правая” и военно-промышленный комплекс, — агентами контрреформы и непримиримыми врагами Запада (в табл.5 читатель найдет диаграмму политической структуры СССР, как я ее себе представляю).

К сожалению, ни одно из конфронтующих в западном споре о России течений нуждается в радикальной ревизии своих терминов и инструментов политического анализа пока не почувствовало. Это я и попытаюсь сейчас показать.

НА НИЧЕЙНОЙ ЗЕМЛЕ

К счастью, в 1980-е появились на свет две замечательные книги, точно суммирующие позиции современных западных „большевиков” и либералов в споре о России. Я имею в виду работу Ричарда Пайпса „Выжить недостаточно”, которой, по-видимому, суждено превратиться в своего рода консервативную советологическую библию,³ и работу Тимоти Колтона „Дилемма реформы в Советском Союзе”, несомненно представляющую зн-

³ Чтобы в этом не оставалось сомнения, достаточно процитировать несколько отзывов на последнюю книгу Пайпса, напечатанных на ее обложке. „Я полностью согласен с главным аргументом Пайпса” (министр обороны К.Вайнбергер); „Это очень важная книга. Она заслуживает всеобщего внимания” (М.Кампелман, глава американской делегации на переговорах по ядерным и космическим вооружениям); „Прозрения Пайпса фундаментально важны” (Роберт Макфарлан, бывший советник президента по национальной безопасности); „Беспримерная эрудиция профессора Пайпса освещает самые важные политические проблемы нашего времени” (Джин Киркпатрик, бывший посол США в ООН).

циклопедию советологического либерализма.⁴ Достаточно сопоставить эти работы, чтобы увидеть, в какой степени Запад готов к 2000 году.

Принципиальные установки обеих книг настолько же противоположны, разумеется, как если бы они были написаны, скажем, Лениным и Милюковым. Пайпс, собственно, и не скрывает, что его оценка ситуации в России близка ленинской. Он даже употребляет для ее описания ленинские термины. „Если бы Ленин был жив сегодня, он скорее всего заключил бы, что условия в его стране и ее империи отвечают критериям, которые он установил для „революционных ситуаций”. Безусловно, советский блок сейчас в тисках намного более серьезного экономического и политического кризиса, нежели Россия или Германия испытывали столетие назад”.⁵

Именно эту большевистскую „революционную ситуацию”, которая лежит в основе всех политических построений и рекомендаций Пайпса, и отрицает, как и следовало ожидать, Колтон. „Кое-кто на Западе, — пишет он, — полагает, что СССР сегодня является обществом в кризисе, что он пришел к поворотному пункту, где на кону стоит само существование советской власти. Этот тезис ложен. Он недооценивает ресурсы правителей и переоценивает их проблемы”.⁶

Отсюда вытекают все остальные противоречия обоих авторов. Как Ленин в оценке кризиса царизма, так и Пайпс в оценке кризиса советской системы исходит, разумеется, из

4 T.Colton. The Dilemma of Reform in the Soviet Union. Council on Foreign Relations. New York, 1984. Вот некоторые отзывы о работе Колтона, которые украшают обложку его книги: „Изоощренный подход к фундаментальным проблемам изменения в советской системе... Предсказания Колтона замечательно точны” (“Problems of Communism”); „Краткий, ясный, превосходно задуманный и правдоподобный анализ направления, которое советская внутренняя и внешняя политика может принять с новым поколением руководителей” (“Interbational Affairs”); „Книга производит большое впечатление” (“International Journal”).

5 R.Pipes. Can the Soviet Union Reform?. — Foreign Affairs, Fall 1984, p.51.

6 T.Colton. The Dilemma..., p.26.

стандартного большевистского кредо, которое лучше всего выражено русской поговоркой „горбатого могила исправит”. „Тоталитарные режимы, – пишет Пайпс, – по определению, неспособны к эволюции изнутри и непроницаемы для изменения извне”.⁷

В книге Колтона термин „тоталитаризм” не встречается ни разу. Впрочем, и отношение Пайпса к железной „тоталитарной” формуле, царившей в советологии на протяжении десятилетий, вовсе не так однозначно, как может показаться. Уже в следующем абзаце он сам пробивает в ней брешь своим ложным, по мнению Колтона, тезисом, что „кризис коммунизма” требует от советской элиты (которую Пайпс называет „номенклатурой”) „действий решающего характера”,⁸ способных изменить неизменную, „по определению”, систему.

Поскольку Колтона не заботит ни проблема „тоталитаризма”, ни проблема „кризиса коммунизма”, он этого противоречия счастливо избегает.

У Колтона нет сомнения, что постсталинская советская система принципиально отличается от того, чем она была при Сталине. Пайпс никак не может решить, что именно он по этому поводу думает. С одной стороны, утверждает он, что „номенклатура” „до такой степени страшится мысли о *любом* изменении сталинистской системы, в которой коренятся вся ее власть и привилегии, что она избирает все более и более слабых генеральных секретарей”.⁹ С другой – считает, что „*возвращение к сталинизму*”¹⁰ является одной из альтернатив сегодняшнего советского режима, хотя и „нереалистической”.¹¹ Далее Пайпс утверждает, что „наследники Сталина сохранили политическую и экономическую систему сталинизма, даже если

7 R.Pipes, op.cit., p.49.

8 Ibid.

9 Ibid., p.50. Курсив мой. – А.Я.

10 Ibid., p.53. Курсив мой. – А.Я.

11 Ibid., p.54.

они и превратили в ничто ее создателя".¹² И в то же время он думает, что „сегодняшний кризис коммунизма” вызван именно отказом „номенклатуры” от сталинизма, ее „прозябанием на своего рода ничейной земле между принуждением и свободой, что делает ее неспособной воспользоваться плодами как того, так и другого”.¹³

Такое нагромождение противоречий неизбежно для автора, который и разделяет и отвергает „тоталитарную” формулу: ему тесно в рамках стандартного консервативного кредо и в то же время страшно покидать эти рамки. Подобно советской „номенклатуре”, он оказывается на своего рода ничейной земле между консерватизмом и либерализмом, что „делает его неспособным воспользоваться плодами как того, так и другого”.

У Колтона, естественно, нет этой заботы. И, соответственно, нет необходимости отождествлять сегодняшний советский режим со сталинизмом и одновременно отвергать это тождество.

Главное несогласие обоих авторов, однако, в их политических рекомендациях. Пайпс, ссылаясь на Энгельса, рекомендует давить на Советский Союз всеми возможными средствами. „Лучший совет Западу — это делать все возможное, чтобы помочь местным силам, старающимся изменить СССР и его клиентов, [и] отказывать советскому блоку в различных формах экономической помощи, что может содействовать интенсификации громадного давления, оказываемого на их трещащую по швам экономику. Это будет толкать их в направлении общей либерализации и примирения с Западом”.¹⁴

Иначе говоря, Пайпс предлагает добиваться реформы революционными средствами, рекомендованными Лениным и Энгельсом. Авторитеты, на которые он ссылается, однако, были, в отличие от него, вполне логичны и последовательны:

12 Ibid., p.59.

13 R.Pipes. Survival..., p.205.

14 R.Pipes. Can the Soviet Union..., p.61.

менее всего нужна была им „общая либерализация” царизма. Рекомендую, как и Пайпс, „давление”, способное довести „режимный” кризис системы до накала революционного, т.е. „системного”, они имели в виду разрушение царизма, а вовсе не его реформирование. И они были правы: „системный” кризис действительно разрушил царизм. Только на обломках его возникло в результате этого кризиса нечто, по мнению самого Пайпса, похуже царизма. В этом и заключается главное противоречие „библии” американских „большевиков”. Они не знают, что предпочесть в своих пожеланиях России: то ли реформу, то ли революцию.

Как бы то ни было, Колтону все эти проблемы чужды, ибо он, как мы видели, отрицает какой бы то ни было кризис советской системы в принципе. И, соответственно, все противоречивые рекомендации Пайпса и его единомышленников представляются ему безответственной болтовней: „Пустые разговоры о дестабилизации советской системы в лучшем случае могут лишь отвлечь от практических задач внешней политики, а в худшем представляют собой бегство от разума, приглашающее Москву к столь же несдержанному ответу. Экономические бойкоты, гонка вооружений, пропагандистские наступления, вмешательство в пользу тех или других групп [в СССР] и т.п. может предотвратить определенные советские внешнеполитические акции или наказать СССР. Но они не могут повлиять на среду, в которой такие решения принимаются, в направлении, желательном для Запада”.¹⁵

Более того, отражая общую тенденцию либеральной советологии, Колтон принципиально против каких бы то ни было попыток повлиять на развитие событий в России. Сочувственно цитируя знаменитую дилемму Джорджа Кеннана („мы должны выбрать между интересами демократизации России и интересами мира; перед лицом такого выбора может быть только один ответ”), Колтон решительно заявляет: „Главный западный ресурс влияния на советское общество — не зерно, не синтетические материалы и не газовые турбины, но медленно дей-

15 Т.Colton, *The Dilemma...*, p.99.

ствующий магнит западной культуры". Конечно, он понимает, что „изменение взглядов и ценностей требует поколений”.¹⁶

„Медленно действующий магнит западной культуры” существовал, как мы знаем, и на протяжении предыдущих столетий русской истории. Однако он почему-то не повлиял на функционирование русской политической системы в „направлении, желательном Западу”. Иначе Колтону не пришлось бы выражать столь смутные надежды в конце XX столетия. Где же у нас гарантия, что этот „магнит” сумеет совершить в будущих поколениях то, что не удалось ему в предыдущих? На чем, собственно, может основываться такая надежда? Да и не следует ли спросить себя, есть ли в распоряжении человечества эти требуемые поколения в ядерном веке? Как быть с фашистскими демонстрациями у памятника Пушкину в начале 1980-х? Как быть с собственным предсказанием Колтона, что в случае провала горбачевской реформы советскому режиму предстоит беспрецедентный кризис уже в 1990-е?¹⁷

При всех обычных для Пайпса противоречиях,¹⁸ в его голосе, по крайней мере, звучит неподдельная тревога. В меру своих сил он пытается перевести замшелую консервативную советологию на новый уровень сложности, адаптировать ее к условиям конца столетия. Колтон, к сожалению, только повторяет старую либеральную мудрость. Разумеется, тот факт, что Пайпс пользуется безнадежно устаревшей терминологией, вроде „тоталитаризм” или „номенклатура”, или „гранд дизайн” советской внешней политики, может представляться непрофессиональным. Но ведь и Колтон употребляет один и тот же термин „советский режим”, говоря как о сталинизме, так и о де-сталинизации. Главное, однако, в том, что от его великолепно документированной и элегантно монографии веет, в отличие от работы Пайпса, таким академическим равнодушием, что даже предсказание беспрецедентного кризиса в 1990-е годы ка-

16 Ibid.

17 Ibid., p.79.

18 См., например: A.Yanov. The Origins of Autocracy. Ch 3, pp.111-119.

жется в его устах обмолвкой. Увы, он тоже оказывается на ничейной земле, только в другом, куда более печальном смысле.

**„ПОЛУЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ
УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ”** Ничего, казалось бы не может быть общего между Пайпсом и Колтоном в их споре о России.

Кроме одного обстоятельства: оба подхода одинаково отрицают *обратимость* того политического изменения, которое произошло в России после Сталина, отрицают, иначе говоря, возможность контрреформы. И что самое парадоксальное – отрицают они ее по одним и тем же мотивам.

При всех своих колебаниях относительно „тоталитарной” формулы и сталинизма Пайпс решительно утверждает: „Сталинизм не может быть реставрирован по многим причинам, наиболее весомая из которых – невозможность управлять сегодняшней сложной индустрией и военным истеблишментом при помощи грубой силы и в изоляции от остального мира”.¹⁹ И Колтон полностью согласен с ним – в этом единственном пункте. „Экономическое и социальное содержание примитивной сталинистской модели говорит против ресталинизации... В Советском Союзе почти полная грамотность, достаточно устоявшиеся порядки и нравы, и он гораздо менее отчужден от мирового развития и [общественного] мнения”.²⁰

Обратите внимание, что Пайпс и Колтон нечаянно описали... Веймарскую Германию. Что сказали бы они сейчас о людях, которые в 1920-е годы доказывали бы невозможность фашистского переворота в Германии – в случае ее „системного” кризиса – аргументами о „невозможности управлять сегодняшней сложной индустрией и военным истеблишментом при помощи грубой силы и в изоляции от остального мира”? Или аргументами о „почти полной грамотности, устоявшихся по-

19 R.Pipes. Can the Soviet Union..., p.53.

20 T.Colton. The Dilemma..., p.62.

рядках и нравах и гораздо меньшей отчужденности от мирового развития"? Разве помешало все это фашистскому перевороту? И много ли трудностей испытал Гитлер в управлении сложной индустрией, как только население приняло условия нового социального контракта, который он ему предложил? Как только согласились немцы с диктаториальной ментальностью, с новой идеологией аскетизма, военной доблести и обожествленного лидера, ведущего империю из бездны унижения к сияющим вершинам Тысячелетнего Рейха? Как только увидели они себя расой господ и воинов, борющейся против всемирного жидо-масонства и „образованщины”, которые стремятся к порабощению Германии? Но ведь именно такую идеологию и именно такую ментальность предлагает, как мы видели, советскому народу выродившаяся „русская идея”.

Если это оказалось возможным в условиях „системного” кризиса в Германии в XX в., то почему, собственно, невозможно это в России? Разве ее индустрия настолько уж сложнее немецкой? Разве ее сегодняшние порядки и нравы более „устоялись”, нежели порядки и нравы Веймарской Германии? Что до ментальности времен поздней брежневской стагнации, то ведь и сам Пайпс сочувственно цитирует ее описание, подчеркивающее, что она „иногда выглядит сознательной эскалацией политического психоза, предвоенной эскалацией ненависти, идеологической артподготовкой. Она дословно напоминает фразеологию Третьего рейха перед началом военной экспансии немецкого отечества. И это может быть опаснее, чем кажется, и тут, наверное, необходимо было бы какое-то серьезное исследование, а не полуэмоциональные наши умозаключения”.²¹

Здесь мы видим вещь еще более поразительную: оба автора, описывающие политическую ситуацию России 1980-х и ее перспективы и авторитетно предлагающие свои рекомендации западным стратегам, не только игнорируют возрождение „русской идеи” в СССР, ее идеологическую эволюцию и ее план 2000 года. Они, судя по всему, о нем даже не подозревают. В

²¹ Антисемитизм в Советском Союзе. Его корни и последствия. Иерусалим, 1979, с.86.

то время, как во всей книге Колтона проблеме русского национализма посвящено одно-единственное предложение,²² Пайпс предлагает читателю именно те „полуэмоциональные умозаключения”, против которых предостерегает сочувственно цитированный им русский эмигрант: „Правое диссидентство основывается не столько на идеологии, сколько на эмоциях, которые не могут быть легко систематизированы. Доминирует среди этих эмоций ностальгия по старой, предреволюционной России — никогда не существовавшей стране жар-птицы, икон и юродивых, благочестивых царей и христоробивых крестьян... Они не особенно заинтересованы в политических вопросах, полагая важными лишь предметы личные, духовные”.²³

Как мог убедиться читатель этой книги, политики „русской идеи”, будь то Вагин или Осипов, Шиманов или Емельянов так же далеки от эмоциональной ностальгии русских „деревенщиков”, как Пайпс от Колтона: они просто ничего общего с ней не имеют.

Все это, однако, полбеда. Настоящая беда начинается, когда, полностью пренебрегая вековыми стереотипами политического изменения в России, Пайпс и Колтон одинаково представляют себе русскую контрреформу только и исключительно как реставрацию сталинизма. Но разве все предыдущие русские исторические катастрофы не отличались от сталинской и друг от друга во всем, кроме главной функции всякой русской контрреформы — насильственного ареста политического изменения в империи и максимального ослабления, а иногда и полного разгрома поднимающего голову среднего класса? Иначе говоря, — кроме закупоривания „окна в модернизацию”? Сталин любил, когда его сравнивали с Иваном Грозным или с Петром Первым. И действительно, brutальная диктатура, грандиозные экспансионистские замыслы и воссоздание русского военно-промышленного комплекса были у всех этих тиранов общими. Однако в идеологическом, самом важном для нас здесь смысле, лидеры русских контрреформ не имели меж-

22 T.Colton. The Dilemma..., p.62.

23 R.Pipes. Survival..., p.69.

ду собой, как правило, решительно ничего общего. Более того, нередко как раз в этом смысле они были друг другу противоположны (достаточно сравнить Петра Первого со Сталиным или обоих с Иваном Грозным). Мы имеем здесь дело с историческим фактом: идеологически русские исторические катастрофы действительно продемонстрировали миру максимальное многообразие.

Так почему, говоря о возможности новой русской контрреформы должны мы ограничивать себя исключительно опытом одной, сталинской? Потому что дальше „меловой круг” не пускает? И как можем мы – в свете катастрофичности русского политического прошлого – настаивать на *необратимости* того изменения, которое произошло в России после одной из brutальных ее диктатур? Ведь то, что отличает это прошлое от истории всех европейских систем, именно в *обратимости* политического изменения и состоит. Опыт всей русской истории решительно противостоит тому единственному утверждению, в котором согласились Пайпс и Колтон.

Для ученых, знакомых с этим опытом, такое категорическое утверждение было бы невозможным. По меньшей мере, оно потребовало бы „серьезного исследования”, упомянутого русским эмигрантом, которого цитировал Пайпс. Ни для Пайпса, ни для Колтона обратимость политического изменения в России, к сожалению, не является препятствием для „полуэмоциональных умозаключений”. Они об этой обратимости не подозревают. Потому Пайпс, в частности, может говорить о „реформах Петра Великого, Александра Второго и Николая Второго,²⁴ отделяя их друг от друга только запятыми и смешивая, таким образом, контрреформу с реформами, „системный” кризис – с „режимным”.

24 Ibid., p.204.

КРИЗИСЫ ИМПЕРИИ: ПОПЫТКА ТИПОЛОГИИ

Каковы, с точки зрения исторического подхода, различия между основными формами политического изменения в России? Отвечая на этот вопрос, я надеюсь объяснить читателю и различие между основными формами русских политических кризисов, как оно мне представляется.

Я бы определил режим реформы как комплекс политических акций и институциональных изменений, ориентированных на разрушение препятствий к усилению среднего класса и, следовательно, на продвижение системы в направлении политической модернизации. Именно поэтому функцией режима реформы всегда были культурная „оттепель” и демилитаризация России. Функция режима контрреформы, естественно, противоположна: он блокирует усиление среднего класса как посредством террора, так и при помощи институциональных изменений, замораживающих социальную дифференциацию (вплоть до 1930-х в первую очередь дифференциацию крестьянства). Именно потому его функцией всегда были террор и тотальная милитаризация системы. Тем самым режим контрреформы толкает систему в направлении, противоположном политической модернизации. Как бы то ни было, любое политическое изменение является результатом кризиса.

Кризисы эти, однако, существенно отличаются друг от друга. Одни из них, которые я называю „режимными”, как бы остры и болезненны они ни были, оставляют руководству системы *выбор* „режимного изменения”: она может перейти в режим реформы, как случилось, например, в результате кризисов 1801, 1855, 1921 или 1953 гг., или в режим контрреформы, как случилось в кризисах 1825 или 1881 гг., или, наконец, в режим политической стагнации, как в результате кризисов 1613, 1725 или 1964 гг. В некоторых случаях руководство системы может форсировать переход к режиму контрреформы, как произошло в ходе кризиса 1796 г.

Хотя в ситуациях „режимных” кризисов руководство системы имеет относительную свободу выбора, свобода эта, тем не менее, ограничена, как видит читатель из *табл. 4*, некото-

рыми общими правилами циклического развития. Например, режим реформы всегда следует за режимом контрреформы, тогда как режим политической стагнации может сопровождаться либо реформой, либо контрреформой. Другой пример: ни в одном из исторических циклов России не было больше двух реформистских попыток. И поражение второй из них всегда до сих пор сопровождалось режимом контрреформы.

Еще один пример: провалившаяся реформа может сопровождаться либо режимом политической стагнации, как в 1730-ом, либо контрреформой, как в 1917-ом, но не новой реформой (точно так же, как ни одна диктатура в русской истории не сопровождалась другой диктатурой, а напротив, как мы уже знаем, реформой).

Другой тип русского политического кризиса, который я называю „системным“, отличается от всех рассмотренных выше случаев тем, что лишает руководство системы контроля над формой политического изменения и, таким образом, не оставляет системе никакого выбора, *кроме контрреформы*. В „системном“ кризисе на кону не судьба режима, как в „режимном“, а судьба системы. Единственным способом предотвратить ее коллапс в ситуациях „системного“ кризиса неизменно до сих пор оказывалась в русской истории гарнизонная диктатура, основанная, если можно так выразиться, на ментальности осажденной крепости.

„Системные“ кризисы были редки в России. Они оказывались результатом либо мощной реформы, угрожавшей стать необратимой, как в 1550-е годы, либо экстремального духовного и политического истощения системы, угрожавшего ей коллапсом, как было в 1690-е годы и в 1917 г. Каждое из *таких* изменений было подлинной революцией. Только в отличие от западных революций оно исполняло функцию прямо противоположную, т.е. не разрушало, а обновляло и стремилось увековечить средневековый характер системы. Именно поэтому я и называю их контрреформами. Каждая из *таких* контрреформ требовала не только массового террора и грандиозной „чистки“ старых элит, но и радикального изменения ментальности новых, не только гигантских политических и

институциональных изменений, которые делали Россию практически неузнаваемой, но и идеологической революции. Каждая из них знаменовала катастрофу русского среднего класса и возвращение системы к ее исходным средневековым параметрам – только на более высоком уровне сложности (постоянно пренебрегая „медленно действующим магнитом западной культуры“).²⁵ Каждая была результатом либо успеха, либо провала режима реформы, неизменно ведущего от „режимного“ кризиса к „системному“.

Все это не более чем схематический обзор русского политического опыта за последние пять столетий. Он может быть легко верифицирован всяким, кто попытался бы наблюдать за этим опытом, изучая его как целое, а не только отдельные события в нем, будь то Московский, Петербургский или Советский период (или „подсистемы“ в моих терминах).

Естественно, что, ограничив себя событиями одной „подсистемы“, Пайпс и Колтон не могли увидеть ни стереотипов „режимного изменения“, ни разницы между „режимными“ и „системными“ кризисами русской политической системы.

Из приведенного обзора следует, однако, что России не избежать серьезного и острого кризиса в конце второго или в начале третьего тысячелетия христианской эры, независимо от того, окажется ли горбачевская реформа успешным прорывом в европейскую семью народов, как реформа 1550-х, или провалится, как голицынская и столыпинская реформы, – соответственно, в конце семнадцатого и в начале двадцатого веков. Разница лишь в том, останется ли это грядущее потрясение в пределах „режимного“ кризиса или суждено ему выйти за эти пределы и оказаться новой исторической катастрофой России. А это, в свою очередь, зависит от того, встретит ли его Россия со средним классом достаточно сильным, чтобы противостоять новому экстремистскому штурму системы. В 1917 г., как мы знаем, ее средний класс оказался неспособным противостоять большевистской контрреформе. Способен ли он будет противостоять фашистской контрреформе в 2000 году?

25 См.: A. Yanov. The Origins... part 1, ch.1.

В ПОИСКАХ КОНСЕНСУСА

Таков исторический выбор России, как свидетельствует ее политический опыт последних столетий, равно как и идеологическая эволюция „русской идеи” в XX в., которую я попытался показать в этой книге.

Готов ли Запад к 2000 году, т.е. знает ли он, как помочь советскому среднему классу противостоять новому экстремистскому штурму, предотвратив тем самым историческую катастрофу России?

Судя по анализу двух фундаментальных книг, тщательно суммировавших консервативную и либеральную позиции в западном споре о России, ответ на этот вопрос должен быть, к сожалению, отрицательным.

Не поздно еще, однако, подумать о том, чтобы изменить ситуацию в западной советологии. Для того и написана эта книга — как отчаянный призыв к такому изменению. И с этой точки зрения выглядит вполне уместным закончить работу о „русской идее” попыткой найти золотую середину между рекомендациями Пайпса и Колтона — это будет моим скромным вкладом в предотвращение ее победоносного шествия к 2000 году.

Разумеется, уже то обстоятельство, что оба эти подхода отрицают друг друга, свидетельствует об их неконструктивности. Конструктивный подход в принципе должен не отрицать что бы то ни было, но вбирать в себя творческие элементы всех других подходов и пытаться их синтезировать, отсекая при этом неконструктивные элементы. Он должен готовить почву для преодоления раскола в западной советологии, а не для его увековечения. Его функция — в поиске консенсуса, который превратит советологию в рабочий инструмент, способный эффективно противостоять „русской идее”.

Рассмотренные здесь подходы, взятые сами по себе, могут либо повредить советскому среднему классу („давление” Пайпса), либо оставить его без помощи в минуту отчаянной нужды (надежда Колтона на „медленно действующий магнит западной культуры”). Однако при всем том любой человек, следящий за американской советологией, должен будет отме-

тить значительный прогресс в ней по сравнению даже с 1970-ми годами. Впервые ведущие представители обоих подходов по-ложительно относятся к феномену советской реформы.

Внимательный наблюдатель, несомненно, отметит и большее: при всей своей категоричности Колтон не решился отвергнуть с порога возможность „небывалого” кризиса в СССР, о котором говорит Пайпс. Он лишь отсрочил этот кризис до 1990-х годов — и обусловил его поражением горбачевской реформы. Имея в виду, что все без исключения предшественники Горбачева — и в советское время, и в досоветское — потерпели в этом деле поражение, отсрочка Колтона вовсе не представляется столь уж значительной. Во всяком случае, все вопросы, которые приходят в голову при чтении Пайпса, остаются в силе и при чтении Колтона. Что случится с Россией — и с миром — если этот „небывалый” кризис действительно начнется в России в 1990-е годы? Приведет ли он в конечном счете к осуществлению плана „русской идеи”, стратегию которого, как мы помним, предложил Шиманов, а тактику Емельянов? Должен ли Запад во второй половине 1980-х годов занять по отношению к Горбачеву ту же позицию, которую занял он по отношению к Хрущеву в начале 1960-х? Ведь тем самым он будет невольно способствовать „русской идее” в осуществлении ее плана 2000 года. А если хочет он сорвать этот план, то как это сделать?

Мне кажется, уже сами эти вопросы снимают „дилемму Кеннана”, предполагающую, что выбор Запада лежит между интересами мира и интересами политической модернизации России. Как раз напротив. Из них следует, что *не может быть мира без политической модернизации России*. Если это наблюдение верно, то спор консерваторов и либералов переходит тем самым из сферы моральных оценок советского поведения и бесплодной дискуссии о том, кто виноват в сегодняшней конфронтации, в сферу диалога о том, как практически помочь советской реформе и освободить мир от ядерной угрозы.

Разумеется, переориентация западного спора о России — за пределами возможностей одного человека. Я попытаюсь лишь предложить в заключение два примера, свидетельствующие

щие, как мне кажется, о том, что *на почве* содействия советской реформе могут быть найдены точки соприкосновения обеих конфронтирующих школ в советологии и что у Пайпса и Колтона может быть своя „встреча в верхах”, не хуже, чем у Рейгана с Горбачевым.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ „ВЕЧНОГО ДРЕВА ЖИЗНИ”

„Теория, друг мой, сера, но зелено вечное древо жизни”, — объяснил как-то Фаусту Мефистофель. Вообразим на минуту, что мы никогда не слышали серых теорий, вроде „номенклатуры” и „тоталитаризма”, или „советского режима” и „дилеммы Кеннана”, что взгляд наш свеж и открыт для наблюдения древа жизни России. Какой в этом случае предстала бы перед нами, скажем, проблема торговли СССР с Западом? Свелась ли бы она к тому единственному и вечному спору „торговать или не торговать”, который мы годами слышали от экспертов?

Если этот спор и имеет смысл, то лишь с точки зрения „серых” теорий. Как только мы становимся на точку зрения советского среднего класса или принимаем идею политической модернизации России, у нас тотчас возникают совсем другие вопросы.

Можно ли использовать торговлю Запада с СССР для усиления реформистских элементов в советском истеблишменте — и, соответственно, для ослабления контрреформистских элементов? Можно ли, другими словами, использовать ее в качестве рычага для углубления и „политизации” раскола в советском истеблишменте и для возвышения среднего класса? А если можно, то как?

Трех конкретных участников, а не безликую монолитную „номенклатуру” вижу я непосредственно связанными с советской стороны с проблемой торговли с Западом. Первый — гигантская внешнеторговая бюрократия (важная составная часть центральной экономической бюрократии, *группы 9 в*

табл.5). Она была создана Сталиным как непроницаемый барьер между западными корпорациями и их естественным партнером в СССР — средним „менеджерияльным” классом, т.е. руководителями предприятий. Класс этот и представляет собою второго политического участника, жизненно заинтересованного в торговле с Западом (группа 4, табл.5). Третий участник, чей голос может быть решающим в споре между первыми двумя — национальное руководство, включающее, как я его вижу, Политбюро, Секретариат ЦК и штаб Генерального секретаря, и представляет отдельную, хотя и могущественную силу в советском истеблишменте (см.:табл.5, группа 6).

Естественно, ее интересы не идентичны интересам внешнеторговой бюрократии, как, впрочем, и среднего класса. Во всяком случае, во второй половине 1970-х наблюдатели зарегистрировали колебания национального руководства между средним классом, требовавшим непосредственного доступа к торговле с западными корпорациями (по примеру Венгрии), и внешнеторговой бюрократией, отчаянно сопротивлявшейся атаке.²⁶ Спор кончился компромиссом, надо полагать, в связи с крушением детанта в конце 1970-х гг. Советский средний класс не добился „венгерских прав” в полном объеме, но брешь в монополии внешнеторговой бюрократии пробил: советские крупные научно-производственные объединения получили право непосредственной торговли со своими восточно-европейскими партнерами. Еще одна брешь была пробита уже при Горбачеве, когда несколько руководителей предприятий получили непосредственный доступ на мировой рынок.

То, что происходит в области внешней торговли в Советском Союзе в одном, по крайней мере, отношении напоминает то, что происходило в средневековой Европе. Подобно тому, как восстало протестантство против католической иерархии, отрезавшей верующих от непосредственного общения с Богом, реформистские элементы среднего класса восстали против бюрократической иерархии, отстранившей их от „общения” с их „богом”, т.е. с конвертируемой валютой. Аналогия эта толь-

ко выглядит забавно. На самом деле она рельефно отражает средневековый характер советской политической системы.

Но пойдём дальше. Безнадежно ли было дело протестантизма в средневековой Европе? Безнадежно ли дело советского среднего класса в средневековом СССР?

Успех Реформации в Англии, в Германии и в части Восточной Европы как будто бы свидетельствует, что не безнадежно. Свидетельствует он также, что в каждом случае успех этот зависел от позиции национального руководства. Реформация победила там, где оно согласилось пойти на разрушение монополии католической иерархии. Во всяком случае, Реформация нигде не привела к подрыву позиций национального руководства — только к его переориентации. Так же, собственно, как внешнеторговая реформа не привела к подрыву национального руководства в Венгрии, когда „протестантская” группа (в нашей таблице она обозначена цифрой 4) победила там „католическую” группу 9. Просто средний менеджериальный класс занял место бывшей бюрократической иерархии — выйдя на международную арену, обретя новый опыт, новую ответственность и международные связи, т.е. значительно усилив свою политическую позицию внутри венгерского истеблишмента.

Возможность повторения этого эксперимента в Советском Союзе зависит, стало быть, от позиции национального руководства. Я исхожу из того, что позиция эта не фиксирована жестко и что поэтому советское национальное руководство вполне может стать на сторону „протестантов”, если сочтет это выгодным с точки зрения своих собственных групповых интересов. Совершенно очевидно, что максимизацию советско-американской торговли оно полагает одной из своих фундаментальных целей. В этом смысле решающей в споре двух советских истеблишментарных групп неожиданно оказывается позиция американского национального руководства, от которого зависит эта максимизация.

Вот почему не имеет смысла традиционный спор о том, торговать или не торговать с СССР. Вопрос стоит совсем иначе: с кем торговать в Советском Союзе? С „католической” иерархией, укрепляя таким образом силы контрреформы, или с

„протестантским” средним классом, усиливая позиции реформы? Американское национальное руководство, например, могло бы предложить своему партнеру в Москве максимизацию торговли (и кредитов) – на условии прямого, без бюрократических посредников, общения советских и американских корпораций. Такое предложение никак не напоминало бы политический ультиматум. Оно вообще ничего общего с политикой не имело бы. Оно преследовало бы исключительно деловые и прагматические цели облегчения и удобства внешнеторгового процесса – и на самом деле отвечало бы интересам как советских, так и американских корпораций. И в то же время оно толкало бы советскую систему в „направлении, желательном для Запада”.

Это лишь один пример возможной американской стратегии, ориентированной на поддержку советского среднего класса. Я говорю здесь о нем просто потому, что мне пришлось на протяжении многих лет в Москве заниматься проблемами среднего класса профессионально, пытаясь, насколько это возможно в подцензурной прессе, артикулировать его групповые интересы. Западной советологии не приходится бороться с цензурой. Она описала, проанализировала, каталогизировала, снабдила таблицами и статистическими выкладками каждый аспект советского общества. Неужели только для того, чтобы все это баснословное богатство научной мысли пылилось на библиотечных полках? Или для того, чтобы Пайпс и Колтон (читатель, конечно, понимает, что здесь я называю эти имена лишь как символы интеллектуально активных элементов обоих конфронтующих лагерей) могли в тысячный раз обличить друг друга? Ведь в распоряжении западной советологии могли бы быть десятки подобных стратегий, если бы только Пайпс и Колтон вместе занялись *практическими* проблемами продвижения советской системы в направлении политической модернизации. Более того, только в процессе такой совместной практической работы и могла бы советология превратиться в эффективного антагониста „русской идеи”, т.е. внести свою лепту в подготовку Запада к 2000 году.

В заключение я позволю себе предложить еще один пример подобной стратегии – на этот раз более сложный.

ДИЛЕММА ЛЕОНТЬЕВА

Константин Леонтьев, самый пронзительный из русских консерваторов прошлого века, настойчиво советовал Александру Третьему не

поддаваться панславистской одержимости и оставить в покое Восточную Европу. Дилемма Леонтьева свободилась к следующему: мы не смогли на протяжении столетия интегрировать Польшу в нашу имперскую, „византийскую”, как он говорил, культуру. Что с нами будет, если нам придется иметь дело еще с полудюжиной Польш? Такой курс чреват полным разрушением нашей византийской культуры. Поэтому Леонтьев считал, что с момента присоединения западных славян империя обречена. Ненавистный ему средний класс („буржуазное мещанство”), традиционно гораздо более сильный и артикулированный в Восточной Европе, возьмется за свою разрушительную работу — и поведет за собою своего русского партнера в „направлении, желательном Западу”.

Несколько десятилетий спустя Иосиф Сталин, у которого не было своего Леонтьева, оказался не в состоянии противиться экспансионистскому импульсу русской диктатуры. Он совершил то, к чему призывали Александра Третьего панслависты, т.е. грубейшую, с точки зрения Леонтьева, фатальную для империи ошибку. Восточная Европа стала западной окраиной средневековой империи.

Если Леонтьев был прав (напомню читателю, что он был единственным русским мыслителем, предсказавшим еще в 1880-е годы социалистическую революцию в России), то с этого момента проблема состояла лишь в том, сумеет ли цивилизованный мир воспользоваться этой ошибкой для политической модернизации империи. Другими словами, может ли он превратить мощный потенциал восточно-европейского среднего класса в рычаг для возвышения его советского партнера?

По понятным причинам народы, попавшие в имперскую орбиту, мало интересовались до сих пор дилеммой Леонтьева. Они желали вырваться из объятий империи, а не заниматься ее модернизацией. Немцы в Восточном Берлине в 1953 г. и венгры в 1956-ом попытались сделать это „по-польски”, т.е. фрон-

тальной атакой, национальным восстанием. Кончилось это, разумеется, так же, как польские попытки предшествующего столетия, кроваво и безрезультатно. Средневековая империя не поддавалась фронтальной атаке. Чехи, наивно надеясь на социалистическое братство, попытались пойти окольным путем национальной демократизации в 1968-м – советские танки раздавили их надежду. Поляки попытались в 1980 г. добиться того, в чем потерпели поражение чехи, посредством „Солидарности” – результатом была военная диктатура. Как и в царские времена, империю оказалось невозможно надуть. Так развеялась последняя надежда на то, что какая-либо отдельная провинция сумеет вырваться из имперских тисков – без модернизации имперского центра.

У этой трагической истории есть, однако, и обратная сторона. Как и предсказывал Леонтьев, „полдюжины Польш” постоянно работают над разрушением империи. Только на протяжении десятилетий они не смогли найти „точку опоры”, чтобы перевернуть ее средневековый мир.

Но вот в 1968 г. одна маленькая провинция, наученная собственным горьким опытом, как бы нечаянно набрела на дилемму Леонтьева. Венгрия начала свой процесс либерализации не с восстания и не с революционной попытки национальной демократизации, но с возвышения своего „буржуазного мещанства”.

Естественно, для этого понадобилось прежде всего пробить брешь в имперской экономической модели, устроенной, как всегда, так, чтобы блокировать возвышение среднего класса. Без шума и фанфар добилась Венгрия того, в чем потерпели поражение и чехи, и поляки. Меньше, чем за два десятилетия, она превратилась, опираясь на усиление своего среднего класса, в преуспевающее и, насколько это вообще возможно в рамках средневековой империи, либеральное государство.

Радикальная экономическая реформа совершила то, на что оказались неспособны ни восстания, ни попытки национальной демократизации. В результате Венгрия оказалась первой провинцией империи, в которой выдвижение двух или более кандидатов на каждых выборах требуется законом, стра-

ной, которая имеет по сути открытую границу с капиталистической Австрией, страной, в которой цензура сведена до минимума и каждый гражданин имеет обеспеченное законом право ездить за границу. Наконец, именно в Венгрии не существует ни проблемы эмиграции, ни продовольственного кризиса, ни очередей за предметами потребления.

Венгрия продемонстрировала принципиальную возможность либерализации в средневековой империи. Более того, она предложила ее модель. Но большего ожидать от нее нельзя. В конце концов, это — крохотная страна, до недавнего времени напуганная своим собственным успехом, не смеющая даже и мечтать о серьезном влиянии на империю. Иными словами, Будапешт не может претендовать на роль второго, реформистского центра империи, конкурирующего за влияние с Москвой.

Варшава, однако, может: Польша всегда была ключевой страной Восточной Европы. Если бы она пошла „венгерским” путем, если бы она вдобавок вступила в союз с Венгрией, используя ее опыт усиления среднего класса и придав ему общеимперский размах, второй реформистский центр империи стал бы реальностью. И он мог бы послужить магнитом для всей ее западной окраины, сигналом возрождения всего восточно-европейского среднего класса, способного повести за собою своего советского партнера. Другими словами, сбился бы страшный сон Леонтьева.

Для этого, разумеется, народы западной окраины империи должны прежде всего осознать главный урок своей освободительной борьбы: путь к национальной либерализации и в конечном счете к независимости Варшавы, Праги, Бухареста или Софии лежит через либерализацию Москвы, т.е. через успешную — и необратимую — советскую реформу. Если поляки действительно добиваются либерализации, то венгры уже продемонстрировали им, как это делается в средневековой системе.

Однако осознание этого факта народами западной окраины империи, хотя и необходимое, но недостаточное условие для серьезной попытки претворить страшный сон Леонтьева в действительность.

Наивно, например, ожидать от военного правительства Польши „венгерской” инициативы. У него нет для этого ни авторитета, ни ресурсов, не говоря уже о национальном консенсусе, необходимом для прорыва средневековой системы. Все это, однако, может предложить Польше Запад.

Ситуация эта буквально взывает к осмысленной западной стратегии, точно так же как взывает к решению уже обсуждавшаяся нами дилемма внешней торговли. „Мини-Маршалл план” для Польши — при условии, что она пойдет „венгерским” путем — аналогичен предложению максимизировать советско-американскую торговлю на условии прямых контактов между корпорациями. И точно так же не содержал бы он ни грана политического ультиматума. Только естественное желание кредитора получить то, что ему причитается, и для этого помочь должнику избежать банкротства. Только искреннее стремление поддержать реформу в советской системе, разделяемое, если верить их декларациям, и национальным руководством в Москве, и Ричардом Пайпсом в Америке.

Колтон тоже хорошо относится к реформе. Во всяком случае, он хотел бы избежать того „небывалого” кризиса, который предсказывает его книга в случае провала реформы. Что мешает в таком случае Пайпсу и Колтону позабыть свои теоретические распри перед лицом насущной практической возможности предотвратить худшее, т.е. в моих терминах — катастрофу 2000 года?

РЕСУРСЫ СРЕДНЕВЕКОВОЙ СИСТЕМЫ

Конечно, двухтысячный год не более, чем абстракция, как для Пайпса, так и для Колтона. Они не интересуются читательской почтой „Вече” или докладными записками Емельянова. Судя по всему, не знают они и о самиздатских книгах Шиманова. А если бы знали, не приняли бы их всерьез: мало ли в Америке своих лифтеров, пророчащих на досуге всемирные катастрофы? Воспитанные в современной системе цен-

ностей, Пайпс и Колтон и не подозревают о действительной роли идеологии в средневековом государстве. Да и сама мысль о современном СССР как о государстве средневековом им совершенно чужда. Скорее всего, они зададут мне теперь те же самые вопросы, которые задавали мне мои критики после выхода „Русской новой правой”. Сколько последователей в СССР у „русской идеи”? Сколько сторонников имеет она во влиятельных придворных кругах в Москве? А я не знаю. Не знаю, точно так же, впрочем, как не знает этого ни одна душа на свете. И поэтому они отвернутся, недоуменно пожав плечами, совершенно уверенные, что Шиманов — просто чудак, а планы сторонников „русской идеи” на двухтысячный год — бред.

Стоит лишь, однако, задать себе те же самые вопросы в отношении большевиков в начале XX века, и мы тотчас увидим, что статистическая логика в таких случаях просто не имеет смысла. Сколько последователей было у большевиков, скажем, за десятилетие до их сокрушительной победы в 1917-ом? Ничтожно мало. Даже на основании документов, приведенных в этой книге, можно сказать, что их было намного меньше, нежели у нынешней „русской идеи”. Сколько было у большевиков сторонников во влиятельных придворных кругах? Нисколько. И все-таки они победили. Почему?

Ответить на этот простой вопрос, опираясь на статистическую логику, скорее всего невозможно. И уж во всяком случае невысказано было предсказать, исходя из этой логики, победу большевиков в 1908 г. Однако гипотеза, положенная в основу этой книги, может помочь ее объяснить. Большевики оказались единственной в тогдашней России группой, располагавшей реальной альтернативной идеологией, способной спасти империю от распада в момент ее „системного” кризиса.

Из этого следует, что сам факт возникновения подобной альтернативной идеологии в средневековой империи — в преддверии ее возможного „системного” кризиса — по меньшей мере столь же важен, как и статистические подсчеты. Из этого также следует, что роль идеологии в средневековой системе существенно отлична от ее роли в современных секуляризованных государствах — хотя бы потому, что *природа средневеко-*

вой системы насквозь религиозна, на каком бы научнообразном языке ни объясняла она себя миру. Вот почему говорить о религиозной системе исключительно в терминах статистической логики, по меньшей мере, наивно.

Я уже писал об этом в одной из своих книг.²⁷ Католицизм, протестантство и православие разделяют фундаментальные верования христианской метаидеологии, скажем, веру в божественное происхождение Иисуса или в Святую Троицу как форму бытия Божия. Это обстоятельство не помешало, однако, всем этим субидеологиям христианства оказаться в средние века (а кое-где и по сию пору) заклятыми врагами. Не помешало это и взаимной ненависти обеих главных субидеологий мусульманства – сунитству и шиитству, дрящейся уже много столетий. Раскол всякой метаидеологии на антагонистичные друг другу субидеологии представляется, таким образом, не исключением, а правилом. Не является поэтому исключением и раскол советской метаидеологии на диктаториальную (национал-коммунизм) и пост-диктаториальную (которую я называю советским „протестантизмом“).

В табл. I показано, как, разделяя, подобно христианству и мусульманству, известный набор фундаментальных верований, отрицают они главные ценности друг друга. В национал-коммунизме преобладают, например, аскетические и изоляционистские ценности вместе с мистической верой в неизбежность финальной конфронтации обеих систем, напоминающие шимановскую аскетическую и изоляционистскую цивилизацию и проповедь „молодогвардейства“.

Советский „протестантизм“, апостолом которого был Хрущев, исходит, напротив, из императива экономической реформы и мирного сосуществования. Он верит в мясо вместо пушек. Ему чужда вера в „мистику русскости“, и он отрицает неизбежность финальной конфронтации. Иначе говоря, отношения между субидеологиями в советском культурно-религиозном процессе аналогичны отношениям между ре-

27 См.: A.Yanov. The Drama... – Notes on Terminology: Soviet Protestantism, pp.127-130.

жими в советском политическом процессе: каждая из них является антитезисом другой.

Более подробную — и под несколько иным углом зрения — экспозицию этой темы читатель найдет в английском издании этой книги.²⁸ Здесь нам важно лишь отметить, что „режимные изменения” в русской политической системе, а тем более, „системные изменения” сопровождаются, как правило, своими культурно-религиозными эквивалентами, которые я называю „идеологическими трансформациями”. Именно такую „идеологическую трансформацию” и подготовили для империи, сами того не подозревая, большевики в начале XX века. Именно такую „идеологическую трансформацию” готовит для империи и „русская идея” в конце текущего тысячелетия. В этом и заключается ее подлинная опасность, а вовсе не в том, сколько у нее последователей в СССР и покровителей в Кремле.

Я понимаю, насколько проще и привлекательней звучит для конвенциональных политиков предложение Пайпса просто „давить” на империю, покуда она не начнет трещать по швам. Никаких хлопот с „режимными изменениями” или „идеологическими трансформациями”. По сути Пайпс стремится к тому, чтобы американская политика в отношении СССР стала бы тем же, чем стала для царской империи первая мировая война.

Чем проще рекомендация, тем она соблазнительней. Разве не лимитированы в самом деле ресурсы империи? Разве не окажутся ее правители в результате западного давления перед выбором между пушками и мясом? В какой-то момент, припертые к стене, они вынуждены будут решить, строить ли им новые ракеты или полностью лишить население мяса, рискуя вызвать спонтанные бунты и подорвать собственную легитимность. В такой-то момент, рассчитывает Пайпс, они и должны будут, если не хотят покончить политическим самоубийством, предпочесть мясо. И проблема будет решена.

Одного только обстоятельства не учитывает этот соблазнительный рецепт. „Давление” первой мировой войны при-

28 A.Yanov. The Russian Challenge. Basil Blackwell, Oxford, 1981.

вело в царской России вовсе не к благотельной реформе, но к гарнизонной диктатуре и коммунизму, т.е. к тому самому „системному изменению” и той самой „идеологической трансформации”, против которых Пайпс сейчас и воюет.

Говоря в более конвенциональных терминах, предложение Пайпса не учитывает, что *идеология тоже является ресурсом средневековой системы*, и притом самым мощным из ее ресурсов.

Допустим, постдиктаториальная идеология вынуждает правителей империи либо производить ежегодно 250 миллионов тонн зерна, либо идти на массивные закупки его в Америке. При альтернативной диктаториальной идеологии, которую и предлагает на случай „системного” кризиса „русская идея”, империи не понадобится производить даже и 100 миллионов тонн зерна, не говоря уже о его закупках за границей, ибо идеология эта, в принципе, так сказать, вегетарианская. В 1953 г., через сорок лет после большевистской контрреформы, производство мяса в России не достигло даже уровня 1913 г. Мясо для населения, находящегося под властью гарнизонной диктатуры, на протяжении четверти века успешно заменял императив национального выживания. Диктаториальная идеология обратила аскетизм в национальную добродетель, а потребление — в национальный грех. И никаких спонтанных бунтов при этом зарегистрировано не было. Легитимность режима этой вегетарианской диктатуры не подвергалась сомнению — до самой смерти диктатора.

Другими словами, правители средневековой империи *никогда* не окажутся перед роковым выбором между ракетами и мясом, постулированным логикой Пайпса. Их действительный выбор в момент „системного” кризиса будет таким же, каким он всегда был в русской истории, т.е. между постдиктаториальной идеологией, заставившей их утратить производство мяса после смерти диктатора, и ее антиподом, аскетической идеологией диктатуры, которая позволит сконцентрировать *все ресурсы системы на производстве ракет*.

Брежневский марксизм как идеологический ресурс системы исчерпал себя, как исчерпала себя идеология царизма

в начале XX столетия. Чтобы выжить в момент кризиса, империи необходимы альтернативные идеологические ресурсы. Их и предлагают сторонники „русской идеи” к 2000 году, как предложили в 1917-м большевики. В этом заключалась действительная сила большевизма. В этом же сила „русской идеи”. Не поняв функции идеологии в средневековой системе, следуя логике „давления” Пайпса или логике невмешательства Колтона, Запад будет застигнут врасплох 2000 годом, как был он застигнут врасплох 1917-м. Неужели обречены мы понять это только задним числом.

ПОСТСКРИПТУМ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Читатель, которому попадется эта книга где-нибудь в Москве или Томске, без труда увидит, что адресована она прежде всего западной публике. В 1984-85 гг., когда я над ней работал, история делалась на Западе. Россия еще безмолвствовала, буксуя в трясине брежневской стагнации, „Московской весной” 1987 г. еще не пахло и русской публики, как я помнил ее по 60-м годам, еще не было видно. Отсюда необходимость этого постскриптума к русскому изданию. Впрочем, необходим он и по другой причине, о которой ниже.

Мои американские студенты часто спрашивают меня, не хотел бы я сейчас оказаться в Москве, в водовороте новой реформы, тоской по которой пронизаны все мои книги, посвящены ли они истории или политике. Я отвечаю: нет. Два года гласности в России, как бы вдохновляющи они ни были, не идут все-таки в сравнение с гласностью в Америке, которой недавно исполнилось двести. То, что я могу сказать отсюда моим ровесникам-реформаторам, то, что я пытаюсь сделать здесь для России Андрея Сахарова, которой посвящена эта книга, представляется мне бесконечно более важным всего того, что я мог бы сделать в Москве. Роль Запада в судьбе московской реформы может оказаться решающей в начале 1990-х годов, как это уже однажды случилось в 1960-е. Общение с западной публикой требует опыта, которого нет у московских реформаторов. Его не было бы и у меня, сложись моя жизнь по-иному.

Эта книга о том, о чем не пишут мои ровесники в России и угрозу чего трудно даже уразуметь в горячке реформы. Я

восхищаюсь пронзительным анализом настоящего и прошлого, которым они сейчас заняты. Но меня больше интересуют опасности будущего. И в этом качестве я тоже представляю свое поколение шестидесятников, битое-перебитое, приведенное на долгие годы к молчанию, разбросанное по ссылкам и заграницам.

Редко дарит судьба одному поколению второе дыхание. Достаточно вспомнить хотя бы декабристов, вернувшихся с каторги в 1860-е годы и уже неспособных активно принимать участие в новом взлете реформы. Нашему поколению повезло. Нам дана возможность содействовать интеграции России в мировую экономику и культуру – во второй раз.

Однако в русской истории мы не исключение. Семьдесят лет назад поколение 1905 г. тоже получило такую возможность. Но оно не сумело ею воспользоваться: семьдесят лет спустя Россия все еще „больной человек Европы”. О том, как избежать роковой ошибки поколения начала нашего века, я и пишу свои книги.

1

Когда в июле 1987 г. „Литературная газета” попыталась выяснить, что думают ее читатели о разрешении эмигрантам возвращаться на родину, ее ждал сюрприз. Дело было не только в письмах, констатировавших, что „общество опять поделилось на два класса, не понимающих друг друга”, но и в том, что в редакционной почте оказалась целая категория писем, квалифицированных редакцией как „гносно антисемитские, вплоть до черносотенного клича „[бей жидов], спасай Россию!”¹ Разумеется, редакция их не опубликовала: „Для выступлений в духе Союза Михаила Архангела (черносотенной организации, проповедовавшей в 1910-х годах примерно те же идеи, что и сегодняшняя „Память”. – А.Я.), для проповеди человеконенавистничества в газете места не найдется”.² Редак-

1 В читателях согласия нет. Обзор писем в редакцию. – „Литературная газета”, 1 июля 1987 г.

2 Там же.

ция при этом изумлялась: „Откуда только взялась, откуда по-выползла эта мерзость?“³

Это изумление присутствует во многих публикациях сегодняшних реформаторов. Вот и „Комсомольская правда“ изумилась, что „ряд писем в защиту „Памяти“ насыщены националистическим содержанием, хулиганскими выпадами в адрес редакции“.⁴ Тем не менее, в отличие от „Литературной газеты“, она напечатала письмо новосибирского студента А.Ермилова, где утверждается, что „у нас в стране идет уже давно законспирированная диверсия“ и что „молодежь нашего техникума целиком поддерживает деятельность „Памяти““.⁵ Изумляется и Г.Лисичкин, что не поддержали его читатели, когда он, выступив против экономиста, ратовавшего за уравниловку, отстаивал право хорошего работника зарабатывать больше, чем бездельник и профан.⁶ Изумляется и Ф.Бурлацкий: читатели не одобряют его предпочтения нэпа насильственной коллективизации и раскулачиванию.⁷

Это всеобщее изумление свидетельствует, что идеологическая оппозиция реформе застала реформаторов врасплох. Они никогда не читали ни программную статью М.Антонова в „Вече“, оказавшуюся теперь, двадцать лет спустя, идеологическим знаменем „Памяти“, ни „Критических заметок русского человека“, ни вообще читательской почты „Вече“, подробно проанализированной в этой книге. Эта опасная неосведомленность в настроениях „патриотических“ масс лишила реформаторов реального представления о собственных читателях. Но не только в читателях дело. Дело и в писателях. Как быть с почтеннейшими, поголовно до сих пор уважаемыми „деревен-

3 Там же.

4 О чем забыла „Память“. Обзор писем в редакцию. — „Комсомольская правда“, 24 июня 1987 г.

5 Там же.

6 Г.Лисичкин. С тоской о равенстве. — „Литературная газета“, 24 июня 1987 г.

7 Ф.Бурлацкий. Политическое завещание. — „Литературная газета“, 22 июля 1987 г.

щиками” Василием Беловым или Виктором Астафьевым, чьи недавние потрясающие черносотенные откровения тоже прозвучали для реформаторов как гром с ясного неба? Откуда „выползли” они и как объяснить их недвусмысленные „выступления в духе Союза Михаила Архангела”?

В.Белов, если судить по его роману „Все впереди”, согласен с новосибирским студентом, что в России „идет уже давно законспирированная диверсия”. Самый проникательный из героев его романа, которому „мы все не годились в подметки”,⁸ определяет эту диверсию точно так же, как и откровенно фашиствующий функционер Н.Емельянов: масонский заговор.⁹ Так же, как Солженицын, Белов уверен, что „дьявол есть”, что „существует могучая, целеустремленная, злая и тайная сила”, нацеленная на разрушение России,¹⁰ что „на Западе дьявол использует в своих целях деньги, а у нас бюрократию”.¹¹ Но ведь буквально это и провозглашает черносотенная „Память”.¹²

2

„Дьявольский” заговор против России Белов иллюстрирует конкретными примерами. Вот диалог положительных героев романа.

— Теперь понятно, почему все эти „голоса” помалкивают насчет нашего пьянства.

— Зато о правах так называемого человека долдонят день и ночь.

— И все эти права сводятся у них практически к одному: к свободе передвижения... Но куда и зачем уезжать, например, нашим дояркам и трактористам?..

8 В.Белов. Все впереди. — М., „Роман-газета”, 1987, с.36.

9 Там же, с.21-22.

10 Там же, с.65.

11 Там же.

12 См.Е.Лосото. В беспамятстве. — „Комсомольская правда”, 22 мая 1987 г.

– А еще президент Кеннеди запрещал журналистам писать о нашем пьянстве. Зачем, дескать, мешать? Пусть пьют, скорее развалятся. Выродятся, не надо никакой водородной войны”.¹³

Читатель, познакомившийся с этой книгой, услышит в приведенном диалоге проповедь авторов „Лисьма трех”, напечатанном почти два десятилетия назад в самиздатском журнале. Похоже, что в отличие от реформаторов, Белов внимательно читал и „Вече”, и тайные меморандумы Емельянова, и даже „Протоколы сионских мудрецов” (основной смысл которых он пересказывает своими словами).¹⁴ Он хорошо знаком с литературой „русской новой правой”. Более того – сам оказался одним из ее главных пропагандистов.

Я рассказал в этой книге, как просмотрели западные советологи эволюцию контрреформистской идеологии. Но вряд ли их можно в этом обвинять – ведь источником информации для западных советологов служили реформаторы, которые и сами не были знакомы с идеологией контрреформы.

3

Допустим, что журнал „Наш современник”, опубликовавший роман Белова, сделал это потому, что его редакция разделяет идеи Союза Михаила Архангела. Что ж, гласность есть гласность: каждая страна имеет своих фашистов, и у них есть право на собственное мнение, даже если оно заимствовано из „Протоколов сионских мудрецов”. Но после публикации в журнале роман вышел тиражом в два с половиной миллиона экземпляров в „Роман-газете” – органе Госкомиздата СССР. Почему?

В обширном послесловии к массовому изданию Вячеслав Горбачев, заместитель редактора „Молодой гвардии” отвечает на этот вопрос прямо: „Кто-то же должен бороться с сатанинским злом”.¹⁵ Как видим, заместителя редактора органа ЦК

13 В.Белов. Все впереди, с.69.

14 Там же, с.47.

15 В.Горбачев. Что впереди? – В кн.: В.Белов. Все впереди. М., „Роман-газета”, 1987, с.93.

комсомола несколько не удивляет (опять-таки в отличие от реформаторов, занятых практическими делами перестройки), что „мировое зло... предстает на страницах романа... ассоциируясь... с дьяволом, темной бесовской силой, искушающей человека”.¹⁶ Понимает он, конечно, и то, что введение „бесовской силы” в роман о конфликтах современной советской действительности, неизбежно превращает его в феномен остро политический.¹⁷ Именно потому он и считает необходимым сделать роман Белова достоянием миллионов, что писатель „показывает не только противоборство философских идей, но и их зацепление с глобального масштаба доктринами экспансионизма, рассказывает о том, о чем политики, философы да и просто неглупые люди давно догадывались, — об агрессии, ведущейся тайными средствами против нашей страны”.¹⁸

Речь, разумеется, идет не о военной агрессии. Это как раз молодогвардейского критика несколько не заботит. Речь идет о дьявольском наваждении, об „агрессии нравственного разложения, агрессии релятивизма и извращенности... Тьма тьмы, не брезгуя в выборе средств, работает против нас”.¹⁹ Это — язык Н.Емельянова. Ибо что же иное может означать „бесовская сила” и „тьма тьмы”, работающие против России, если не всемирный масонско-сионистский заговор, сокрушение которого и составляет ядро тактического плана контрреформы, предложенного Емельяновым и почти полностью процитированного в восемнадцатой главе? И как иначе возможна борьба с этим „дьяволом” в реальной политике, если не посредством емельяновского „всемирного антиссионистского и антимасонского фронта по типу антифашистских фронтов 1930-40-х”, потому что угроза мирового господства сионистов, якобы намеченного ими на 2000 год, грозит всем народам?

16 Там же, с.88.

17 Там же, с.91.

18 Там же.

19 Там же.

Поглощенные горячими буднями реформы, в условиях, когда, по словам одного из авторов „Литературной газеты”, „бюрократическое сопротивление перестройке приняло жесткий характер”,²⁰ страстно обличая злоупотребления властью и молчаливый саботаж перестройки на местах, реформаторы не замечают, как за их спиной выстраивается идеология этого саботажа. Не проблемами „плана и рынка” заняты „молодогвардейские” идеологи, а средневековой политической алхимией. Не ломкой стагнации, а демонологическими изысканиями. Не внедрением „нового мышления”, а борьбой с масонской агрессией и „просвещенным мещанством”. Точно так же, как идеологи „молодогвардейства” в 60-е, видят они в самих реформаторах агентов „бесовской силы”. По сути послесловие к роману Белова есть не более, чем публичный вариант тайного емельяновского меморандума.

4

Логику этой политической демонологии обнаружил московский писатель Валентин Ерашов, с которым мы независимо друг от друга пришли к одному заключению, прочитав роман Белова. Ерашов обратился к редколлегии „Нашего современника” с открытым письмом, которое журналом не было опубликовано, а увидело свет на страницах эмигрантского издания. Ерашов спрашивает членов редколлегии, задумались ли они „над такой, отнюдь не литературной, а взятой из жизни цепочкой... патриотизм... национализм—шовинизм—антисемитизм—фашизм”. Он знает, что в последнем звене этой „цепочки”, логически вытекающей из беловского заклинания „бесовской силы”, неизбежно „раздается испытанный, проверенный, безотказный клич: бей жидов!”²¹

Увы, два десятилетия постепенного развертывания в советской литературе „цепочки Ерашова” прошли мимо нынеш-

²⁰ А.Егоров. Достоинство цеха. — „Литературная газета”, 29 июня 1987 г.

²¹ В.Ерашов. Открытое письмо редколлегии журнала „Наш современник” и писателю В.Белову. — „Страна и мир”, Мюнхен, 1987, № 2, с. 109.

них реформаторов. И потому они безоружны перед идеологией контрреформы. Их изумление читательской почтой свидетельствует о том, что они не смогут объяснить и другие факты. Почему, например, два московских издательства — „Молодая гвардия” и „Современник” — в одном и том же году (и даже в один и тот же месяц) опубликовали под разными названиями одну и ту же книгу Сергея Лыкошина,²² которую московский критик характеризует как „гимн-моление... во славу... М. Лобанова” — главного идеолога реакционной „молодогвардейской” кампании 60-х.²³ Или почему статья под благочестивым названием „Уроки истории: о ленинской концепции национальной культуры”²⁴ вдруг оказалась идейной платформой черносотенной „Памяти”.²⁵

5

Я вовсе не хочу представлять реформаторов 80-х наивными идеалистами. Конечно, они понимают, что, когда „из громадной, создаваемой десятилетиями конструкции начинают извлекать устаревшие, износившиеся двутавры”, то „целые контингенты людей, связавших с этими опорами свое бытие, благополучие, жизненную стабильность, дестабилизированы, взвинчены, охвачены — кто угрюмым недоверием и протестом, кто энергией творчества, кто бессознательной тревогой и ожиданием”.²⁶ Никто не сомневается, что „дестабилизированные группы”, чьим интересам угрожает реформа, саботируют перестройку. А это — могущественные группы: центральные

22 С.Лыкошин. Сердце у нас одно. Заметки читателя. М., изд-во „Молодая гвардия”, 1984; С.Лыкошин. Вода живая и мертвая. Заметки читателя. М., изд-во „Современник”, 1984.

23 Ю.Суровцев. К вопросу о реанимации некоторых приемов магической обрядности в критико-литературоведческих текстах. — „Вопросы литературы”, 1987, № 7, с.48.

24 В.Кожин. Уроки истории. — „Москва”, 1986, № 11.

25 См.Е.Лосото. В беспамятстве.

26 А.Проханов. Так понимаю! — „Литературная Россия”, 3 апреля 1987 г.

планировщики, министерская бюрократия, выросшая на командной экономике, партийные профессионалы, привыкшие быть хозяевами своих губерний, военные, напуганные призраком демилитаризации, способной лишить их львиной доли национального богатства, которой они привыкли распоряжаться. Еще серьезней массовый саботаж перестройки. Все понимают, что инфляция, безработица, социальное неравенство, которыми чревата перестройка, подорвут уже в начале 1990-х годов самые основы образа жизни, усвоенного поколениями советских людей.

Тем более серьезна угроза такого массового саботажа, когда уравниловка, естественная для людей, привыкших к государственной опеке от колыбели до могилы, подогревается и оправдывается в литературе массированными ссылками на Ленина времен Военного коммунизма. Вот лишь одна цитата из „Вопросов философии”: „Письмо служащей из Волгограда Л.Ивановой, где она сопоставляет свой скромный образ жизни и житейскую обстановку своей бывшей одноклассницы, кичащейся богатством, нажитым за счет „пленочного производства” ранних овощей, заканчивается словами: „Я не хочу жить так, как она. Я хочу, чтобы она жила так, как я”.²⁷ А вот как доктор экономических наук В.Роговин комментирует этот манифест саботажника, сфокусировавший в себе десятилетия лени, зависти и иждивенчества: „Думается, что такое представление о ненавистной иным „уравнительности” является выражением правильного понимания трудовым человеком требований социальной справедливости”.²⁸ Далее следует батарея цитат из Ленина 1918 г., служащая доказательством, что уравниловка и есть конечная цель социализма.

Так или иначе, реформаторы понимают, что саботаж перестройки – и со стороны бюрократов, и со стороны масс, и со стороны „советских жрецов” – в порядке вещей. К этому они, как и западные советологи, готовы. Они не готовы и не пред-

27 В.Роговин. Социальная справедливость и социалистическое распределение. – „Вопросы философии”, 1986, № 9, с.19. Курсив мой, – А.Я.

28 Там же.

ставляют себе другого — идеологической альтернативы перестройке. Между тем саботаж опасен не сам по себе: он может лишь замедлить перестройку, но не может ее разрушить. В конце концов, бюрократы боятся масс, а массы ненавидят бюрократов. По-настоящему опасна только идеологическая альтернатива. Она и только она способна в момент кризиса *объединить* против реформы массы с военными (и бюрократами) под знаменем „патриотического ленинизма” — в черносотенной интерпретации „Памяти”.

Вместе со своим лидером Михаилом Горбачевым реформаторы 80-х полагают аксиомой, что, поскольку рациональной альтернативы перестройке они не видят,²⁹ следовательно, никакой альтернативы ей не существует. Это — иллюзия, притом опасная. Она погубила многих русских реформаторов в прошлом. Она способна погубить и нынешнюю реформу.

6

Сегодняшние мои ровесники, обернувшись назад, увидят, что рациональной альтернативы нашей первой перестройке в 60-е годы *тоже не было*. Что брежневский путч был заведомо иррационален, поскольку мог привести страну лишь в тупик загнивания и кризиса. И тем не менее этот путч состоялся. И на протяжении двух десятилетий заставил нас бессильно наблюдать неуклонное скольжение страны в пропасть. Спрашивали ли когда-нибудь себя реформаторы: почему в 1964 г. победила иррациональная альтернатива? Спрашивали ли себя те, кто так красноречиво защищает сейчас продналог против продразверстки³⁰ и закрепощения крестьянства,³¹ почему очевидно иррациональная, чтоб не сказать безумная, сталинская альтернатива, чреватая национальным несчастьем, победила в 1929 г. столь разумный, казалось бы, и уравновешенный ленинский „коопе-

29 Речь М.С.Горбачева на встрече с партийным, советским и хозяйственным активом Латвийской ССР. — „Правда”, 27 февраля 1987 г.

30 Л.Лопатников, Я.Либерман. От разверстки к налогу. — „Литературная газета”, 17 июня 1987 г.

31 Ф.Бурлацкий. Политическое завещание.

ративный план” 1923 г.? Откуда взялась на нашу голову эта крепостническая „революция сверху”?

Нигде никогда не встречал я в советской печати, даже в эпоху гласности, ни одного вразумительного анализа этой роковой закономерности: почему русский политический процесс неизменно, на протяжении всей национальной истории — не только советского, но и московского и петербургского ее периодов — всегда оказывался *обратимым*. Реставрации случались и в Западной Европе. Однако английская реставрация 1660 г. не смогла, хотя и пыталась, вернуть к жизни абсолютизм. Реставрация Бурбонов в 1815 г. не смогла отнять у крестьян землю, которую дала им революция. Ни один сколь угодно реакционный режим в Америке не смел и помыслить о возвращении негров к статусу рабов, от которого избавила их гражданская война. А у нас и тирания реставрировалась каждое столетие, и тотальный террор периодически возрождался, и землю у крестьян после революции отнимали, и в рабство их возвращали после гражданской войны. Откуда эта разница?

По сути целью каждой реформы, начиная с 1490-х годов, была политическая модернизация страны, независимо от того, понимали ли это ее лидеры. Все они предпринимались для того, чтобы дифференцировать гражданское общество до степени, способной сделать политический процесс в России необратимым. Каждая перестройка видела в себе воплощение исторического разума и отказывалась признать существование альтернативы. Мог ли, скажем, Алексей Адашев предвидеть в 1550-е годы, что его собственный царь (исполнявший в Московии шестнадцатого столетия примерно ту же политическую роль, что сейчас Пленум ЦК), вдруг, без всяких рациональных к тому оснований, бросится очертя голову в схватку со всей Европой, обрекая тем самым русское крестьянство на закрепощение, а страну — на тотальную „борьбу с изменой”, результатом которой станет таких масштабов террор, что Россия не сможет оправиться от него на протяжении столетия?

А вот примеры петербургского периода. Была ли рациональной альтернатива Александра Третьего в 1881 г., способная лишь загнать вглубь „проклятые вопросы”, раздиравшие

Россию, — только для того, чтобы изверглись они, как лава в 1905-м? Могла ли Петру Столыпину в 1907 г. казаться серьезной большевистская альтернатива? В громадной империи с могущественной бюрократией и разветвленной тайной полицией она представлялась настолько ничтожной, что не заслуживала и упоминания нигде, кроме как в полицейских досье. Главе правительства заниматься ею было бы даже неприлично. И тем не менее это ей, при всем ее, казалось бы, иррационализме, суждено было победить, похоронив под обломками трехсотлетней монархии и реформы Столыпина, и февральскую свободу 1917-го.

Вот краткий мартиролог русских реформаторов.

Окольничий Алексей Адашев, глава русского правительства в 1550-е годы, — казнен в ходе контрреформы.

Боярин Михаил Салтыков, автор конституции 1610 г., — судим за измену родине в ходе сменившей реформу политической стагнации.

Князь Василий Голицын, глава русского правительства в 1680-е гг., — сослан навечно в ходе контрреформы.

Князь Дмитрий Голицын, глава Верховного Тайного совета в 1730 г., — свергнут в антиреформистском путче, сослан навечно.

Павел Пестель, Сергей Муравьев-Апостол, Кондратий Рылеев, Михаил Бестужев-Рюмин, Петр Каховский — руководители и идеологи восстания декабристов 1825 г., — повешены в Петропавловской крепости в ходе контрреформы.

Император Александр Второй — убит экстремистом в 1881 г., что оказалось сигналом для новой контрреформы.

Петр Столыпин, глава русского правительства, — убит экстремистом в 1911 г., что послужило началом нового периода стагнации.

Павел Миллюков, идеолог либеральной реформы и Александр Керенский, глава русского правительства в 1917 г., — кончили свои дни в эмиграции.

Николай Бухарин, идеолог нэпа, — казнен за измену родине в ходе контрреформы.

Никита Хрущев, глава русского правительства в 1958-1964 гг., — свергнут в антиреформистском путче.

О чем говорит этот мартиролог? Не о том ли, что альтернатива перестройке существовала в России всегда — сколь бы незначительной или иррациональной ни казалась она реформаторам? И если они продолжают ее не замечать, значит, что-то не в порядке с их политическим зрением. По крайней мере, к такому выводу пришли мои американские студенты в бесконечных спорах о перестройке в СССР. Они объясняют недостатки политического зрения советских реформаторов русской „монопольной ментальностью“. В самом деле, никому в США не пришло бы в голову начать какое бы то ни было предприятие, будь то политическое или индустриальное, исходя из предпосылки, что ему не существует альтернативы. В Америке, где нет монополии, изучение конкурента — закон выживания. В России же, где политика всегда была монополией правительства, вроде бы и изучать нечего. До последнего вздоха его лидеры всегда уверены, что реальной оппозиции правительству не существует. Уверены в этом и сегодняшние реформаторы. Как бы то ни было, первое, что сделали бы мои студенты в подобной ситуации, это создали бы мощный научный форум по изучению конкурента, т.е. оппозиции и выдвигаемой ею альтернативы. В этом случае реформаторы не только перестали бы осведомляться друг у друга, откуда „повыползла эта мерзость“, но им стала бы очевидна содержащаяся в ней альтернатива реформе.

7

Но покуда такого форума в Москве нет, я попробую показать, что совершенно отчетливая альтернатива перестройке есть даже в романе Белова, о котором уже говорилось выше. И не в одном лишь внутривнутриполитическом плане („техника агрессивна сама по себе“),³² но и в международно-политическом тоже.

Основная задача „нового мышления“, как определяет ее Горбачев, — это „очеловечить международные отношения“.³³

32 В.Белов. Все впереди, с.44.

33 М.С.Горбачев. За безъядерный мир, за гуманизм международных отношений. Речь на международном форуме. — „Литературная газета, 18 февраля 1987 г.

Каждая сторона должна перестать изображать другую воплощением дьявола, сама концепция врага, непримиримого антагониста должна быть изгнана из внешнеполитического оборота в эпоху, когда „род людской лишился бессмертия”.³⁴ „Вернуть его, — продолжает Горбачев, — можно, лишь уничтожив ядерное оружие”.³⁵ В качестве первого шага к этому возврату бессмертия Горбачев и предложил уничтожение „Першингов” и СС-20.

Не нужно пытаться читать роман Белова между строк, чтобы увидеть, что его автор предлагает нечто прямо противоположное. „Першинги” его интересуют мало („погибнем мы не от „Першингов”).³⁶ Утрата человечеством бессмертия — еще меньше: „лучше погибнуть в атомной схватке, чем жить по указке дьявола”.³⁷ Как видим, Белову нужна как раз „дьяволизация” международных отношений, а не их „человечение”; концепция „бесовских сил”, работающих против России — в этом его „новое мышление”.

Утверждая, что „вопрос стоит именно так: либо политическое мышление придет в соответствие с требованиями времени, либо цивилизация и сама жизнь на земле могут исчезнуть”,³⁸ Горбачев делает ту же ошибку, что и в рассуждениях об отсутствии рациональной альтернативы перестройке: он игнорирует иррациональную альтернативу. Между тем мы ее только что процитировали. В самом деле, чем иным является императив Белова, согласно которому лучше погибнуть в атомной схватке, чем жить по указке дьявола, если не русским

34 Там же.

35 Там же. См. также: И. Андреева, А. Гулыга. К вечному миру: от Эразма Роттердамского до Делийской декларации. — „Литературная газета”, 28 января 1987 г. Авторы статьи пытаются вывести эти идеи Горбачева непосредственно из кантовского „Трактата о вечном мире”. Есть, однако, гораздо более близкий источник этих идей. Джон Ф. Кеннеди ввел их в интеллектуальный оборот в 1963 г.

36 В. Белов. Все впереди, с. 44.

37 М. Горбачев. За безъядерный мир...

38 В. Белов. Все впереди, с. 65.

эквивалентом популярного западного императива: „лучше быть мертвым, чем красным“? На Западе, однако, этой иррациональной альтернативе противостоят мощные интеллектуальные силы, старающиеся ее нейтрализовать. А в России ее даже не замечают. По крайней мере, ни один из советских критиков романа Белова не обратил на нее внимание читающей публики.

8

„Мы должны поставить перед собой задачу сформировать своего рода идеологию реформы“.³⁹ Это не мои слова. Это — предложение главного редактора „Известий“ И.Лаптева на встрече с Горбачевым в июле 1987 г. Но скорее всего оно останется благим пожеланием, если не включит анализа социальных источников и политических идей оппозиции. Ведь именно на них идеология реформы и должна быть ответом. Пока что, к сожалению, даже лучшие образцы такого анализа в сегодняшней Москве находятся на любительском уровне. Сошлюсь лишь на один пример. Геннадий Лисичкин, ветеран шестидесятник, — без сомнения один из самых ярких и влиятельных пропагандистов реформы. В принципе, его точка зрения сводится к тому, что „за долгие годы у нас в стране создался, консолидировался и захватил крупные материальные позиции блок неквалифицированного труда“.⁴⁰ Лисичкин имеет в виду единство интересов неквалифицированного труда в производстве (т.е. массы рабочих, „делающих вид, что работают“), в управлении (т.е. администраторов, которые „подменили сложное дело управления простым распределением фондов“),⁴¹ в идеологии и в науке („на помощь себе производственники и управленцы названного качества, благо они в

39 Практическими делами укреплять перестройку. Репортаж о встрече членов ЦК КПСС с руководителями средств массовой информации и творческих союзов. — „Комсомольская правда“, 15 июля 1987.

40 Г.Лисичкин. С тоской о равенстве.

41 Там же.

*большинстве и в силе, мобилизуют соответствующую часть „большой” и „малой” науки”).*⁴²

На основе этого единства интересов „создается мощный союз представителей трех сфер — неквалифицированного труда в производстве, управлении, науке — на котором и основывает свою нынешнюю силу феномен иждивенчества и уравниловки”.⁴³ Лисичкин не только не скрывает, но подчеркивает, что речь идет о *большинстве* рабочих, администраторов и ученых. Он понимает, что сам он — идеолог меньшинства, т.е. „тех, кто хочет и умеет квалифицированно работать, кто способен ускорить рост национального богатства, а не транжирить его”.⁴⁴ И он знает, что противостоящее им большинство — опытно и агрессивно в отстаивании своих интересов (брежневский путч 1964 г. тому свидетельство): „Было бы непозволительным и опасным идеализмом думать, что те, кто привык получать блага за свой напрасный или даже разрушительный труд, дружно и весело согласятся сдать свои позиции. Они в ходе перестройки убедительно опровергают такое предположение. И глупо ждать, что... одной пропагандой идей нового подхода к делу их удастся склонить на сторону тех, кто за это борется. Такого еще никогда не было, чтобы какие-то общественные слои без сопротивления отдали то, чем привыкли пользоваться. Как же быть?”⁴⁵

И впрямь вопрос вопросов: как меньшинству квалифицированных реформировать общество, большинство членов которого отучено (или не хочет) работать по стандартам века перманентной технической революции? Или, другими словами, как перестройке 1980-х избежать судьбы реформы 1960-х, задушенной „неквалифицированным” большинством? Вот как отвечает на этот судьбоносный вопрос Лисичкин: „Революционность сложившейся сейчас ситуации состоит как раз в том,

42 Там же. Курсив мой, — А.Я.

43 Там же.

44 Там же.

45 Там же.

что, как любая другая, возникшая в истории революционная ситуация, она подводит нас к необходимости менять пропорции распределения национального дохода в пользу тех, кто хочет и умеет квалифицированно работать”.⁴⁶

Перед нами по сути классическая марксистская трактовка буржуазной революции. Непродуктивный, паразитический (чтоб не сказать, феодальный) класс, представляющий отжившие производственные отношения (Лисичкин пользуется эвфемизмом „блок неквалифицированных”) привык управлять советским обществом, транжиря национальное богатство. В ходе революции этот класс уступает место свежему, динамичному, продуктивному „классу квалифицированных”, представляющему новые производительные силы. Передовой класс побеждает, интегрируя Россию в мировой экономический процесс. „Консолидация представителей квалифицированного труда потребовала бы принятия комплексных мер, способных так укрепить курс советского рубля, чтобы его авторитет был выше доллара. И это было бы высшей справедливостью социалистического общества, провозгласившего главной ценностью труд, общественным синтезом которого и являются деньги. Поскольку на карту поставлено наше будущее, квалифицированный труд, его представители должны, наконец, обрести право „заказывать музыку”, за которую они же и платят”.⁴⁷

Здесь, конечно, есть еще один эвфемизм. Ибо в этом контексте „заказывать музыку” не может означать ничего иного, кроме как овладеть правительственной властью. Отдавая должное захватывающей дух отваге реформатора, нельзя тем не менее не заметить, что тирада эта все еще не содержит ответа на вопрос вопросов: как это сделать? Разве необходимость отстранения от власти „блока неквалифицированных” не была ясна уже в 60-е годы? Однако, будучи „в большинстве и в силе”, блок этот не захотел отдать свою власть, — несмотря на то что национальное руководство в лице Хрущева пыталось ее у него отнять. Более того, используя свое большинство в

46 Там же. Курсив мой, — А.Я.

47 Там же.

Пленуме ЦК, „блок неквалифицированных” уволил самого Хрущева, положив, таким образом, конец попытке „блока квалифицированных” заказывать музыку. В этом нет ничего удивительного. Правительственная власть — главное, чем традиционно привык пользоваться в России „блок неквалифицированных”. На что же тогда возлагают свои надежды Лисичкин и его единомышленники в 80-х? Что дает ему основание полагать, что сейчас дело кончится иначе, чем в 1960-е годы или, если уж на то пошло, в 1560-е?

В шестнадцатом веке в момент кризиса, когда реформы Алексея Адашева начали угрожать интересам Ивана Четвертого как самодержавного властителя, он, — на протяжении нескольких лет вроде бы поддерживавший „перестройку”, — вдруг во мгновение ока превратился в контрреформистского тирана Ивана Грозного и разгромил реформу, на долгие годы, лишив жизнеспособности „блок квалифицированных”. (Точно так же, заметим в скобках, как сделал это в 1964 г. Пленум ЦК КПСС.) Царь позаботился об идеологическом оправдании этой политической метаморфозы: в письмах к Курбскому он обосновал ее тем, что Россия в качестве Третьего Рима и единственного оплота христианства в мире нуждается в сильной царской власти и в священной войне против бесовских сил Запада, а вовсе, — говоря современным языком, — не в интеграции в мировой экономический процесс.

Вопрос, стало быть, заключается в следующем: что остановит в момент кризиса современного Ивана Четвертого, т.е. Пленум ЦК, от превращения в Ивана Грозного? Что остановит его от оправдания этой политической метаморфозы, хотя бы тем, что „христианская дележка плодов общественного труда более или менее поровну между всеми членами общества и есть реальный социализм”?⁴⁸ Другими словами, что остановит Пленум ЦК КПСС от апелляции к Ленину Военного коммунизма, а не к Ленину нэпа, к которому апеллируют Лисичкин и его единомышленники? А если в этом случае дело действительно дойдет до „системного” кризиса, что остановит нашего „царя”

48 Там же.

от превращения Ленина Военного коммунизма в знамя борьбы с „бесовскими силами” Запада и с „класом квалифицированных”, как это уже сегодня предлагают писатель Белов и его „молодогвардейские” апологеты?

Как бы ни подошли мы к этому роковому вопросу, будь то с точки зрения опыта 1560-х или 1960-х, – ничто нашего „царя” не остановит, и, следовательно, ничто не остановит и превращения реформы в контрреформу, если только, в отличие и от 1550-х и от 1960-х, „царь” этот не будет заблаговременно заменен другим, *чьи интересы не противоречили бы* интересам „класса квалифицированных”.

9

Проблема необратимости реформы сводится в сущности к тому, чтобы радикальным образом изменить соотношение сил между „блоками” „квалифицированных” и „неквалифицированных” в верховном органе системы, от которого в конечном счете зависит не только ее стратегия, но и судьба лидера реформы. Сталин не смог бы сокрушить Бухарина, представлявшего ленинизм 1923 г., без благословения Пленума, исповедовавшего ленинизм 1918-го. Брежневский путч провалился бы в 1964 г., как провалился молотовский путч 1957 г., если бы Пленум поддержал Хрущева.

Я не буду останавливаться здесь на том, как и почему Пленум приобрел в советской политической системе роль верховного арбитра во всех случаях открытого конфликта (или раскола) в национальном руководстве: об этом я написал другую книгу.⁴⁹ Достаточно сказать, что и в 1980-е годы, как и при Хрущеве, „блок неквалифицированных” располагает настолько подавляющим большинством в Пленуме, что может, в принципе, подавить любую революционную перестройку, как только она станет угрожать жизненным интересам этого большинства и вызовет открытый конфликт в национальном руководстве. Судьба перестройки зависит, следовательно, от того, возможно ли изменить баланс сил в Пленуме таким

49 A. Yanov, *The Drama of the Soviet 1960s: A Lost Reform*, Institute of International Studies, Berkeley, 1984.

образом, чтобы он поддержал Горбачева, а не его оппонентов в момент следующего раскола в национальном руководстве в 1990-е годы.

10

Пленум — очень странный и, на первый взгляд, легко контролируемый институт. В самом деле, члены его получают свои мандаты не по воле избирателей, но в соответствии с должностями, которые они занимают (и на которые, добавим, назначаются национальным руководством). Казалось бы, что при таких условиях обеспечить лидеру лояльность большинства Пленума очень просто: достаточно „упаковать” его, как выражаются советологи, собственными протезе, функционерами, лично обязанными лидеру своей карьерой, — одним словом, „своими людьми”. Так выстроил этот институт Сталин. Хрущев не понял чисто сталинистскую природу этого принципа, за что и поплатился политической смертью. Он делал все как положено: провел две чистки Пленума (в 1953-54 гг. и в 1960-61 гг.), оба раза тщательно „упаковывая” его своими людьми. Парадокс заключался в том, что три года спустя „свои люди” свергли хозяина. Так обнаружилось, что принцип, вполне функциональный в руках диктатора, оказывается смертельно опасен для лидера реформы. Почему?

Ни один советский реформатор, насколько мне известно, не попытался даже поставить этот вопрос, по крайней мере публично. А между тем, ответ на него, может быть, не так уж и сложен. Тем более, что Горбачев и его помощники сами поставили во главу угла проблему „групповых интересов”, которые могут совпадать или не совпадать с интересами перестройки, в последнем случае генерируя, говоря словами академика А.Аганбегяна, „сопротивление (пассивное и активное), оказанное новому курсу отдельными группами работников”.⁵⁰ Конечно, здесь имеются в виду экономические интересы. Но разве не экономическими интересами определяется политичес-

⁵⁰ А.Аганбегян. На путях обновления. — „Литературная газета”, 18 февраля 1987 г.

кая позиция — даже исходя из марксистских стереотипов? Если это так, объяснение „парадокса Хрущева” на самом деле просто. Едва реформа начинает всерьез угрожать политическим интересам большинства членов Пленума (как это случилось, например, после 1961 г.), групповая лояльность *перевешивает* лояльность персональную. Вот почему в октябре 1964 г. протеже Хрущева проголосовали как представители своих „групп интересов”, а не как протеже Хрущева. И вряд ли можно сомневаться, что, если принцип формирования Пленума не будет десталинизирован в ближайшие годы, протеже Горбачева проголосуют в момент кризиса против Горбачева. Можно ли предотвратить это роковое развитие событий?

Если попытаться всерьез ответить на этот вопрос, тотчас обнаружится недостаточность деления советского общества на два класса — „квалифицированных” и „неквалифицированных”. Ибо на самом деле „классов”, или „групп интересов” в советской политической системе гораздо больше и их взаимоотношения намного сложнее. В *табл.5* я попытался предложить схему этих взаимоотношений. В *левой части таблицы* читатель найдет группы, чьи интересы совпадают с перестройкой (в моих терминах их совокупность и составляет советский средний класс), в *правой* — ее потенциальных оппонентов. С этой точки зрения, перестройка может быть определена как инспирируемая сверху революция среднего класса, направленная, во-первых, на освобождение национальной экономики и культуры от бюрократического контроля и, во-вторых, на интеграцию СССР в мировую экономику и в мировую культуру. Уязвимость этой революции в том, что судьба ее пока что доверена, как и в 60-е годы, Пленуму ЦК, т.е. коалиции потенциальных контрреволюционеров. Вот почему добиться необратимости этой революции можно, лишь изменив самый принцип формирования верховного органа системы, т.е. главное политическое наследство сталинизма.

Новый избирательный закон должен быть сформулирован так, чтобы секретари обкомов, бюрократы, военные и вообще потенциальные контрреформаторы впредь не могли доминировать в Пленуме. Так, чтобы большинство голосов в

нем принадлежало элите рабочего класса и крестьянства, руководителям производства, профессионалам и либеральной интеллигенции, т.е. среднему классу, для которого провал перестройки означал бы буквально жизненную катастрофу. Изменить сталинский избирательный закон в партии — сложнейшая из задач, предстоящих сегодня московским реформаторам. И когда начнут они, я надеюсь, спорить об этом, хотя бы в преддверии партийной конференции 1988 г., им было бы полезно иметь в виду, что Горбачев только в этом случае может в момент кризиса рассчитывать на надежное большинство в Пленуме. Только так избранные члены Пленума будут его единомышленниками, — поскольку *их групповая лояльность совпадает с интересами реформы.*

11

Конечно, это всего лишь гипотеза. Ее можно было бы проверить в числе других, если бы в Москве был действительно создан научный центр по изучению оппозиции перестройке. Разобравшись в политической идеологии контрреформы, равно как и в ее политическом механизме, он мог бы стимулировать и другой мировой центр по изучению России — советологию, формирующую общественное мнение на Западе. Только советология может действительно повернуть Запад лицом к реформе в процессе „дерейганизации” американской внешней политики. Только мобилизовав ее интеллектуальные ресурсы на борьбу с опасностями, угрожающими перестройке, можно добиться решающего перелома в международных отношениях реформирующейся России — их „очеловечения” вместо их „дьяволизации”.

Советология, однако, все еще не вполне проснулась от брежневской летаргии. Ей нужен интеллектуальный толчок. Прийти он может только от советских реформаторов. От них, следовательно, многое зависит в том, какой будет Россия в двухтысячном году, — государством „цивилизованных кооператоров”, как завещал ей Ленин в 1923-м, или такой, какой изобразил ее художник В.Бахчанян на обложке этой книги.

1 сентября 1987 г.

Нью-Йорк

ПРИЛОЖЕНИЯ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Аввакум, протопоп – 148
Аганбегян, Абель – 348
Агурский, Михаил – 185, 195,
196, 199
Адашев, Алексей – 375, 376,
382
Аксаков, Иван – 55, 58, 62,
67, 83, 125, 140, 222, 261,
273, 277, 288
Аксаков, Константин – 40–45,
55, 58, 59, 82, 84, 85, 107, 121,
140, 215–217, 225, 246, 257
Амальрик, Андрей – 20, 52
Александр Невский – 149
Александр 1 – 149, 268
Александр 11 – 268, 270, 275,
346, 376
Александр 111 – 38, 62, 88,
113, 175, 268, 273, 356, 375
Алексеев, Михаил – 155, 156
Аллен, Ричард – 27, 52
Андропов, Юрий – 166
Антоний, архиепископ Волын-
ский – 93
Антонов, Михаил – 185–188,
224, 367
Астафьев, Виктор – 368
- Бахчанян, Вагрич – 386
Безансон, Ален – 92
Безбородко, Александр – 30
Бейли, Джордж – 36, 37
Белинский, Виссарион – 54, 55
Белов, Василий – 368–371,
377–379, 383
Бердяев, Николай – 17, 25, 49,
126, 130–132, 140, 179
- Бернет, Франк – 22
Бестужев-Рюмин, Константин –
174
Бестужев-Рюмин, Михаил – 376
Богров, Мордехай – 250, 255,
261–267, 279
Борисов, Вадим – 227–229
Борман, Мартин – 314
Бородин, Леонид – 231, 287,
288
Бостунич, Григорий – 12, 265
Боулинг, Джон – 214
Брежнев, Леонид – 11, 30, 102,
106–108, 152, 153, 161, 162
Булгарин, Фаддей – 214
Бунин, Иван – 148
Бурлацкий, Федор – 367
Бухарин, Николай – 268, 367,
383
- Вагин, Евгений – 134, 135, 137,
345
Викулов, Сергей – 153, 155, 156
Вишневская, Юлия – 232
Воронин, Сергей – 155
Восторгов, И.И. – 93
Вяземский, Петр – 54
- Галансков, Юрий – 193
Гарн, Джейк – 23
Гегель, Фридрих Вильгельм – 59,
291
Гедше, Герман – 59
Гейдрих, Рейнхард – 73
Гермоген, епископ Саратов-
ский – 93
Гермоген, патриарх – 150

- Герцен, Александр – 51, 52, 78, 84, 145, 254
- Гиммлер, Генрих – 72, 314
- Гинзбург, Александр – 144
- Гитлер, Адольф – 38, 71, 101, 120, 161, 204–206, 209, 292, 311, 312, 314, 316, 344
- Гоббс, Томас – 45, 46, 49
- Гоголь, Николай – 54, 214
- Голицын, Василий – 32, 376
- Голицын, Дмитрий – 376
- Горбачев, Вячеслав – 369
- Горбачев, Михаил – 32, 106, 323, 324, 331, 353, 374, 377–379, 384–386
- Горский, В. 232, 232
- Горький, Максим – 93
- Гримм, Якоб – 59
- Данилевский, Николай – 60–69, 85, 107, 169, 172–179, 184, 186, 187, 189, 209, 226, 227, 288
- Даниэль, Юлий – 144, 193
- Дементьев, Александр – 154, 155, 158, 159, 161, 165, 166
- Ден Сяопин – 220
- Джилас, Милован – 128, 130, 139
- Дмитрий Донской – 149
- Дольник, Соломон – 134
- Достоевский, Федор – 126, 137, 176, 184, 214
- Дэнлоп, Джон – 91–100, 110, 113, 114, 120, 123, 126, 131–133, 137–142, 205, 206
- Евтушенко, Евгений – 311, 313
- Емельянов, Николай – 317, 319–324, 345, 351, 359, 368, 370
- Ерашов, Валентин – 371
- Жуковский, Василий – 54
- Закруткин, Виталий – 155, 156
- Иван 111 – 166, 269, 330
- Иван 1V – 25, 26, 30, 107, 108, 150, 151, 217, 269, 270, 328, 334, 346, 382
- Иванов, Анатолий – 153, 155, 156
- Иванов (Скуратов), Анатолий – 168
- Кадар, Янош – 220
- Кальвин, Джон – 45, 46
- Караватский, Борис – 133, 134
- Катков, Михаил – 224
- Каховский, Петр – 376
- Кеннан, Джордж – 327, 341, 351
- Кеннеди, Джон Фицджералд – 369, 378
- Керенский, Александр – 268, 376
- Киреевский, Иван – 40, 58, 59
- Киреевский, Петр – 40, 59
- Кириленко, Андрей – 102
- Киркпатрик, Джин – 219
- Кожин, Вадим – 287
- Колтон, Тимоти – 337–343, 345, 346, 349–352, 355, 359, 360, 364
- Кон, Норман – 325
- Корсаков, Ф. – 228, 229
- Косыгин, Алексей – 102
- Котошихин, Григорий – 225
- Кошелев, Александр – 40
- Курбский, Андрей – 225
- Лакер, Уолтер – 72, 74, 93, 164, 265
- Ланциков, Анатолий – 287
- Лаптев, И. – 379
- Ленин, Владимир – 30–32, 75, 76, 85, 86, 101–103, 106, 151, 164, 165, 186, 225, 238–241, 251, 253, 254, 338, 340, 373, 382, 383

- Леонтьев, Константин – 60–65, 82, 85, 86, 103, 118, 151, 160, 169, 240, 246–248, 274, 288, 297, 298, 356–358
 Лисичкин, Геннадий – 367, 379–382
 Лобанов, Михаил – 142–152, 154, 182, 187, 211, 372
 Лойола, Игнатий – 11
 Лосев, Лев – 266
 Лыкошин, Сергей – 372
 Лютер, Мартин – 11
 Львов, В.Н. – 114

 Мак-Мастер, Роберт – 176
 Максимов, Владимир – 86, 260
 Малашкин, Сергей – 155
 Марков, Николай – 71, 72, 75, 76, 120

 Маркс, Карл – 30, 56, 85, 177
 Мейерхольд, Всеволод – 144
 Мелентьев, Юрий – 161, 162, 164, 166
 Миллс, Дин – 169
 Милюков, Павел – 52, 80, 82, 110, 376
 Михайлов, Василий – 71, 86, 208
 Михалков, Сергей – 95
 Мойнихен, Дэниел Патрик – 21
 Муссолини, Бенито – 130, 131

 Надеждин, Николай – 54, 55
 Николай 1 – 54, 57, 88, 108, 268, 334
 Николай 11 – 250, 275, 346
 Никон, патриарх – 150
 Никонов, Анатолий – 152, 159
 Новалис (Фридрих фон Харденберг) – 59

 Овчинников, И. – 168
 Одинагосев, Ю.М. – 71, 72, 86, 120, 261, 322
 Осипов, Владимир – 168–171, 177, 178, 184, 190, 191, 195, 196, 199, 202, 231, 277, 287, 304, 305, 319, 322, 345

 Павел 1 – 88, 108, 334
 Пайпс, Ричард – 11, 13, 14, 113, 164, 327–346, 349–352, 355, 359, 360, 362–364
 Палиевский, Петр – 287
 Парамонов, Борис – 81, 82, 260
 Пурвус, Израиль – 240, 241, 264, 279
 Пестель, Павел – 125, 376
 Петр 1 – 26, 30–32, 149, 151, 225, 270, 328, 334, 346
 Петров-Агатов, А. – 133–135
 Петухов, Геннадий – 196
 Пинский, Леонид – 52
 Погодин, Михаил – 30
 Подгорец, Норман – 249, 250
 Полянский, Дмитрий – 166, 168
 Померанц, Григорий – 52
 Поспеловский, Дмитрий – 176, 196, 199
 Прокофьев, Александр – 155
 Проскурин Петр – 155
 Пуришкевич, Владимир – 38, 71, 76, 103
 Пушкин, Александр – 38, 54

 Радионов, В. – 168
 Распутин, Григорий – 267, 276
 Рейган, Рональд – 23, 26
 Роговин, В. – 373
 Розанов, Василий – 103
 Росту, Юджин – 19
 Рылеев, Кондратий – 376

 Садо, Михаил – 133
 Салтыков, Михаил – 376
 Самарин, Юрий – 40, 114
 Сантаяна, Джордж – 86
 Сахаров, Андрей – 11, 51, 193, 195, 296
 Семанов, Сергей – 116–118, 120
 Сергей Радонежский – 150

- Синявский, Андрей – 52, 135–137, 144, 145
- Скворецкий, Джозеф – 180
- Скобелев, Михаил – 85, 169, 319
- Скурлатов, Валерий – 120
- Скэмел, Майкл – 95
- Смирнов, Сергей – 155
- Солженицын, Александр – 11, 22, 27, 36, 37, 41, 44, 45, 51, 63, 82, 84, 85, 92, 95, 117, 119, 122, 127, 154, 184, 187, 190, 193, 196, 213–224, 227, 230–234, 238–243, 245–271, 274–283, 287, 294–297, 303–308, 313, 314, 318–322, 324, 368
- Соловьев, Владимир – 52, 59, 78–82, 84, 85, 89, 126, 179, 310
- Солоухин, Владимир – 119
- Софронов, Анатолий – 159
- Спиноза, Барух – 187
- Сталин, Иосиф – 29, 57, 69–71, 107, 108, 120, 144, 149, 158, 159, 164, 183, 188, 189, 207, 270, 328, 336, 339, 345, 346, 353, 356, 383, 384
- Стасюлевич, Михаил – 52, 79
- Столыпин, Петр – 32, 250, 255–261, 265–273, 323, 330, 376
- Страхов, Николай – 174
- Суслов, Михаил – 102
- Тауэр, Джон – 23
- Твардовский, Александр – 155
- Тетенов, Николай – 312
- Ткачев, Петр – 125, 201
- Толстой, Лев – 38, 214
- Троцкий, Лев – 76, 239, 240
- Трубецкой, Сергей – 52, 79, 80, 82, 84, 85, 89
- Труфанов, Сергей – 93
- Тютчев, Федор – 54, 60
- Уайт, Гораций – 45
- Уилсон Эдмунд – 251
- Фаллоус, Джеймс – 22
- Фетисов, А.А. – 120, 122, 185
- Фихте, Иоганн – 58
- Фицджеральд, Скотт – 251
- Фолкнер, Уильям – 180
- Френкель, Натан – 276
- Фритш, Теодор – 59
- Хабибулин, архидьякон Варсонофий – 196, 199, 277
- Хаммер, Даррел – 205
- Хенкин, Кирилл – 137
- Хомейни, аятолла – 15
- Хомяков, Алексей – 40, 58, 59, 169, 188
- Хофф, Джерри – 11, 13, 14, 108, 113, 164
- Хофштадтер, Ричард – 46
- Хрущев, Никита – 24, 29, 106, 107, 139, 268, 270, 273, 323, 330, 336, 351, 381–385
- Чаадаев, Петр – 25, 50, 214, 334
- Чалидзе, Валерий – 52
- Чалмаев, Виктор – 92, 142–154, 158, 160, 161, 211, 224, 234, 303, 320, 322
- Чемберлен, Невилл – 33
- Чернышевский, Николай – 51, 78, 84, 164
- Черчилль, Уинстон – 23
- Чивилихин, Владимир – 155
- Чуев, Феликс – 158
- Шарапов, Сергей – 66, 68–71, 75, 85, 101, 102, 108, 121, 195, 224, 277, 288, 322
- Шауро, Василий – 161, 163, 164, 166
- Шафаревич, Игорь – 193
- Шевцов, Иван – 165, 184, 185, 194

Шеллинг, Фридрих – 59
Шиманов, Геннадий – 85, 231,
285–307, 313, 314, 320, 322–
325, 345, 351, 359, 360
Шиплер, Дэвид – 313, 314
Шипов, Дмитрий – 114, 248,
273–275
Шлейермахер, Фридрих – 59
Шрагин, Борис – 52
Шульц, Джордж – 27, 31
Шундик, Николай – 155

Щербатов, Василий – 225
Эйнштейн, Альберт – 194
Энгельс, Фридрих – 177, 201, 340
Эфрос, Анатолий – 144
Языков, Николай – 214
Яковлев, Александр – 163–166
Яковлев, Николай – 99
Ярузельский, Войцех – 272

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Австро-Венгерская империя – 21, 27, 29
Антиамериканизм – 145–148, 151, 167, 171
 см.также „Западная демократия”
Антисемитизм; антиссионизм – 31, 59, 72, 79, 93, 133–135, 193–195,
 197, 199, 206, 209, 210, 280–282, 304–306, 312, 318, 319, 323,
 366, 370, 371
Афганистан – 20, 26, 27, 69
- „Балтимор сан” (газета) – 169
Большевики; большевизм – 15, 16, 21, 94, 100, 112, 121, 127, 234, 245,
 253, 254, 317, 327, 329, 331, 360, 376
- Венгрия – 219, 354, 357, 358
„Вестник русского христианского движения” (журнал) – 231
„Вече” (журнал) – 142–196, 199, 201–203, 209, 210, 216, 217, 227, 231,
 235, 242, 260, 276, 286, 287, 295, 303, 305, 367
„Вокруг света” (журнал) – 153
„Вольное слово” (журнал) – 169
„Вопросы литературы” (журнал) – 80, 81
„Вопросы философии” (журнал) – 373
„Вопросы философии и психологии” (журнал) – 81
- Германия – 22, 24, 65, 66, 74, 73, 104, 203, 325, 338, 344
„Голос Америки” (радиостанция) – 36
- „Дейли ньюс” (газета) – 36
Детант – 112, 162, 164, 171, 172
- Запад в восприятии русских националистов – 42, 43, 49, 50, 61, 63, 67,
 70, 102, 116, 127, 139, 147, 171, 172, 175, 182, 186, 187, 189, 193,
 198, 200, 202, 210, 217, 218, 221, 230, 233, 237, 253, 268, 295–298,
 300, 305, 368
 см.также „Антиамериканизм” и „Парламентаризм”
Западники (русские либералы) – 52, 57, 58, 70, 78, 116, 136, 245, 331
- „Известия” (газета) – 379

КГБ – 170, 191, 198, 233, 292, 312
Китай – 25, 171, 173, 175, 176, 180, 183, 200, 219, 235, 289, 290, 302
„Комментарии” (журнал) – 214, 249
„Коммунист” (журнал) – 160, 163
„Комсомольская правда” (газета) – 367
Константинополь – 60–66, 73, 176
„Континент” (журнал) – 250, 260, 278
Космополитизм – 70–77, 162, 167, 185, 188–192, 195, 200, 297
 см. также „Антисемитизм”
Крестьянская община – 49
„Крисчен сайенс монитор” (газета) – 37

„Литературная газета” – 164, 366, 367, 371

Марксизм – 15–17, 20, 40, 73, 75, 85–90, 97, 101, 102, 106, 110, 115,
 121, 143, 148, 150, 154, 155, 189, 283, 296, 301, 363, 385
Меньшевизм – 94
Молдаване – 298
„Молодая гвардия” (журнал) – 92, 119, 142, 143, 148, 152–154, 157–
 163, 166, 171, 306, 369
„Молодой коммунист” (журнал) – 221
„Москва” (журнал) – 153
„Московский сборник” – 287
Московское царство – 29–31, 110, 166, 349, 375

Народники – 51
„Наш современник” (журнал) – 153, 369, 371
„Наша страна” (газета) – 206
Неомарксизм – 85
„Новый мир” (журнал) – 153–157, 159, 161
„Нью репаблик” (журнал) – 36

„Огонек” (журнал) – 153, 156, 157, 159, 162, 165
„Октябрь” (журнал) – 153, 156, 157
Отоманская империя – 121, 122, 174, 175

„Память” (общество) – 366, 367, 372, 374
Парламентаризм в восприятии русских националистов – 41, 43, 45, 46–
 50, 57, 58, 60, 67, 70, 71, 83, 89, 125, 130, 204, 222, 257, 284
 см. также „Запад в восприятии рус. националистов”
Петербургская империя – 29–31, 110, 316, 349, 375
Политический кризис в России и в СССР – 31, 32, 57, 84, 112, 324
 режимный кризис – 316, 317, 327, 329, 341, 346, 349
 системный кризис – 29, 317, 321, 322, 324, 327, 329, 341, 344,
 346, 348, 349, 360, 363, 382

- Политические изменения в России и в СССР – 24, 25, 28, 29, 57, 101–107, 109, 316, 317, 335, 345–348, 362, 363
- Польша – 20, 185, 357, 358
- Русофилы – см. „Молодая гвардия”; Геннадий Шиманов
„Русская новая правая” – 15, 32, 33, 36, 38, 40, 84, 86, 91, 95, 102, 112, 138, 186, 213, 233, 236, 303, 304, 321, 328, 337, 369
- Русские и советские политические режимы
- контрреформы – 24, 25, 30, 33, 54, 57, 62, 65, 75, 76, 84, 88, 92, 100, 106, 107, 109, 110, 112–114, 147, 167, 269, 246, 347, 349, 363
 - реформы – 24, 30, 33, 106, 336, 347, 349
 - стагнации – 24, 28, 30, 32, 62, 106, 107, 147, 316, 317, 336, 347, 348
- Русский имперский национализм – 20, 21
- либеральный – 116, 138, 140, 141, 169, 172, 178, 190, 194, 195, 199, 202, 211, 216, 285, 288, 293, 295, 296
 - изоляционистский – 116, 141, 230, 299
 - черносотенный – 84, 95, 110, 117, 247, 284, 288, 303, 306
см. также „Черносотенство”
- „Русский клич” (издательство) – 312
- Русский фашизм – 311, 314–317
- „Русское дело” (журнал) – 66
- Русское православное возрождение – 230
- „Русское самосознание” (журнал) – 312
- „Свобода” (радиостанция) – 36, 37
- Славянофильство; славянофилы – 40–51, 54–70, 78–86, 110, 114, 117–119, 141, 173, 174, 178, 181, 185–188, 191, 192, 203, 221–225, 260, 261, 274, 275, 278, 279, 284, 321
- Советология; советологи – 13, 96–100, 104–109, 306, 315, 322, 324, 326–333, 336–342, 350, 352, 355, 384, 386
- Советская „империя” – 29, 31, 110, 133, 349, 375
- „Средний класс” советского общества – 220, 269–271, 330–335, 345, 347, 349, 350, 352–358, 385
- Украинцы – 207, 208
- Франция – 65, 66, 203, 247
- Черносотенство – 71, 84, 87, 93, 117, 135, 197, 375
см. также „Русский имперский национализм”
- Чехословакия – 357

СОВЕТСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ

ДИКТАТОРИАЛЬНАЯ ЭРА

Субидеология национал-коммунизма

Основные постулаты

1. Социализм как новая эра в истории цивилизации.

2. Государственная собственность на средства производства как единственный способ покончить с эксплуатацией человека человеком.

3. Вождь как Отец Отечества

4. Третья мировая война неизбежна.

5. Императив национального выживания.

6. Пушки вместо масла.

7. Аскетизм.

8. Изоляционизм и ментальность осажденной крепости.

9. Императив тотального цензурного контроля над культурой.

10. Перманентное обострение классовой борьбы.

11. Революционное преобразование мира.

ПОСТДИКТАТОРИАЛЬНАЯ ЭРА

Субидеология советского реформизма

Основные постулаты

1. Социализм как новая эра в истории цивилизации.

2. Государственная собственность на средства производства как единственный способ покончить с эксплуатацией человека человеком.

3. Коллективное руководство

4. Третья мировая война была бы самоубийством цивилизации.

5. Императив экономической реформы

6. Масло вместо пушек.

7. Полное удовлетворение потребностей населения.

8. Детант с Западом.

9. Культурная оттепель

10. Отсутствие классовой борьбы при социализме.

11. Мирное сосуществование.

ПОПЫТКИ РЕФОРМ В РОССИИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ

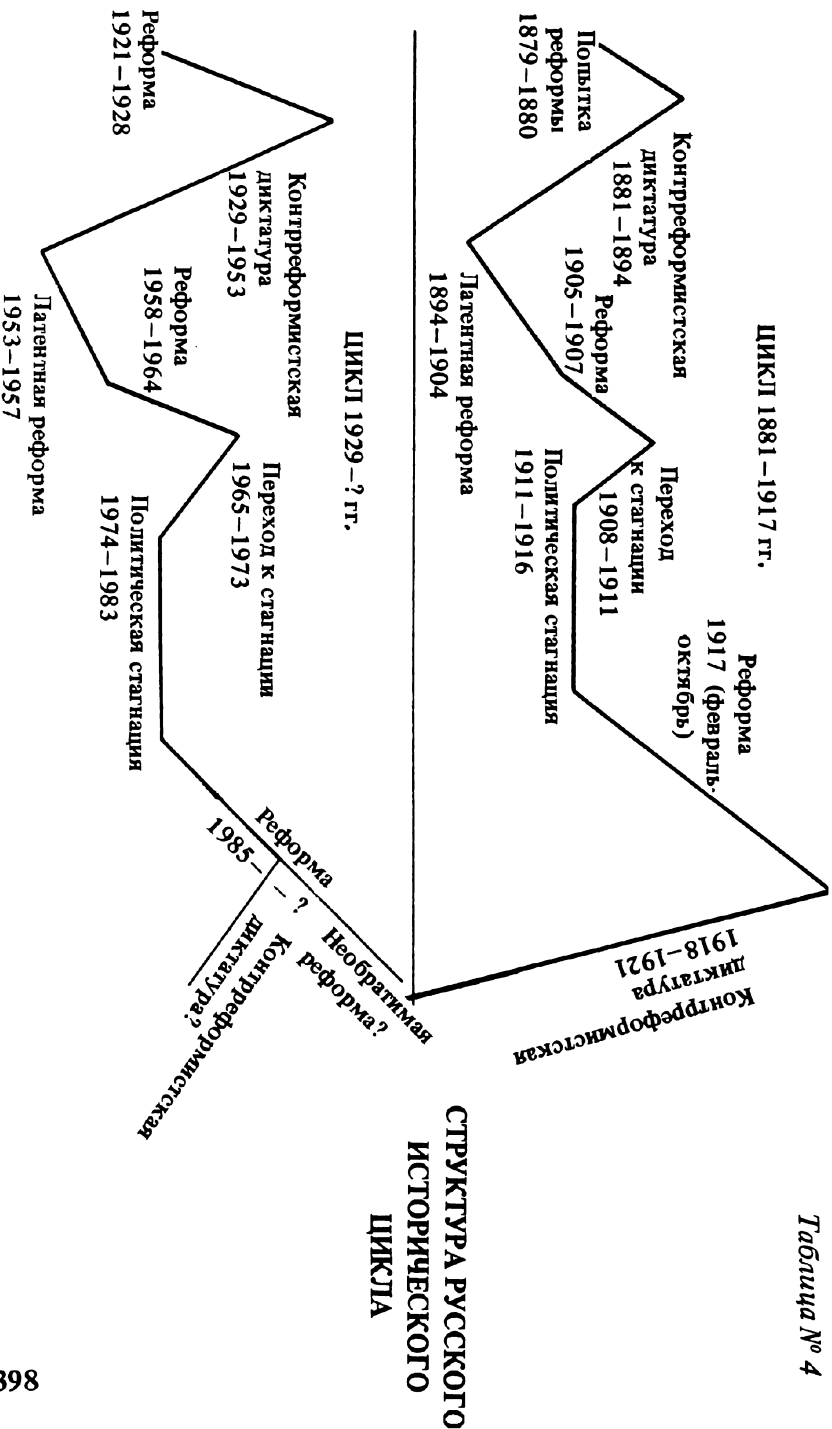
Попытка 1550-х гг.	– обращена вспять контрреформой
Попытка 1605 – 1610 гг.	– растворилась в политической стагнации
Попытка 1680-х гг.	– обращена вспять контрреформой
Попытки 1720-х гг.	– растворились в политической стагнации
Попытка 1760-х гг.	– растворилась в политической стагнации
Попытка 1800-х гг.	– растворилась в политической стагнации
Попытка 1825 г.	– обращена вспять контрреформой
Попытка 1860-х гг.	– растворилась в политической стагнации
Попытка 1879-1880 гг.	– обращена вспять контрреформой
Попытка 1905 – 1907 гг.	– растворилась в политической стагнации
Попытка 1917 г.	– обращена вспять контрреформой
Попытка 1920-х гг.	– обращена вспять контрреформой
Попытка 1960-х гг.	– растворилась в политической стагнации
Попытка 1985 – ?	– ?

КОНТРЕФОРМИСТСКИЕ ДИКТАТУРЫ В РОССИИ

Во главе государства стоял:

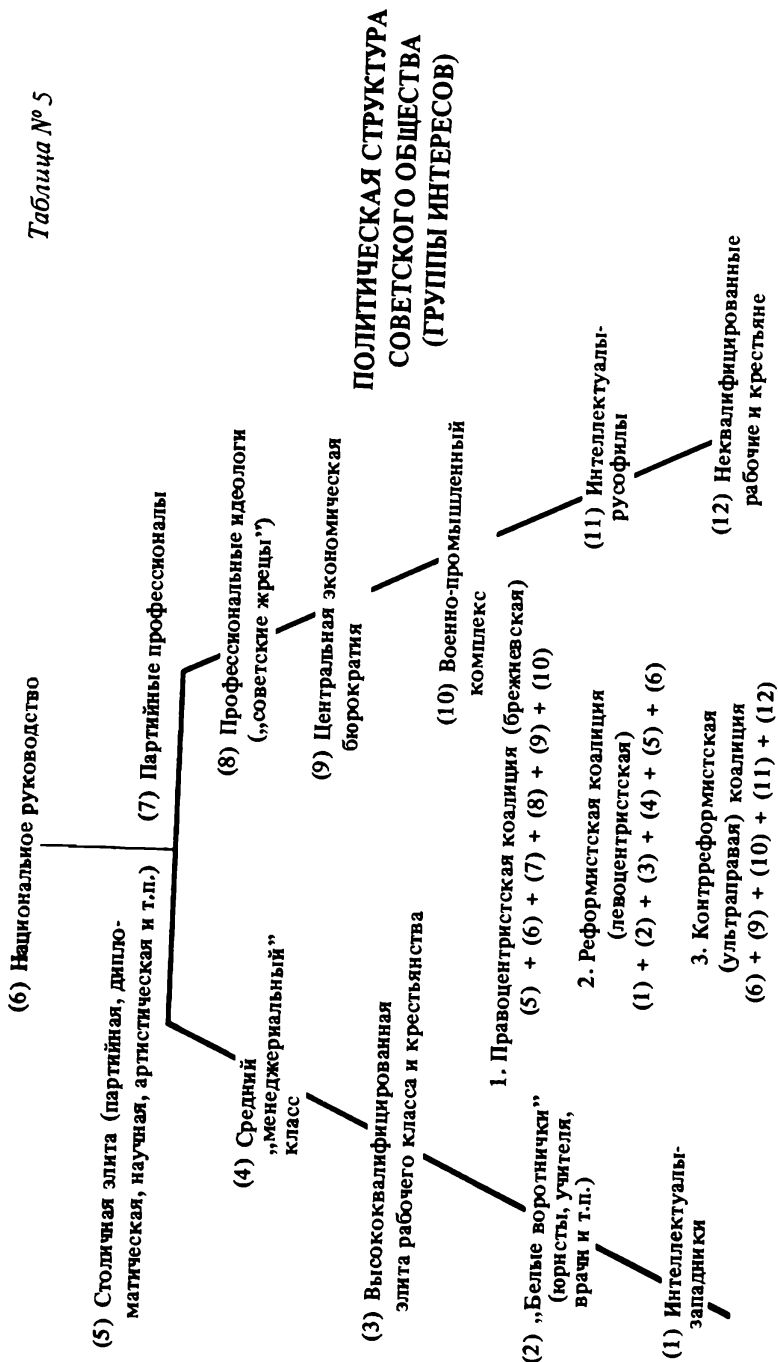
1560 – 1584 гг.	– Иван Грозный
1689 – 1725 гг.	– Петр Первый
1796 – 1881 гг.	– Павел Первый, Александр Первый
1825 – 1855 гг.	– Николай Первый
1881 – 1894 гг.	– Александр Третий
1918 – 1921 гг.	– Ленин
1929 – 1953 гг.	– Сталин

Таблица № 4



СТРУКТУРА РУССКОГО
ИСТОРИЧЕСКОГО
ЦИКЛА

Таблица № 5





АЛЕКСАНДР
ЛЬВОВИЧ ЯНОВ
РОДИЛСЯ В
1930 г. В 1953-м
ОКОНЧИЛ
ИСТОРИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
МОСКОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
В 1970 г. ЯНОВ
ЗАЩИТИЛ
ДИССЕРТАЦИЮ
„СЛАВЯНОФИЛЫ
И КОНСТАНТИН
ЛЕОНТЬЕВ”.
В СССР БЫЛ
ИЗВЕСТЕН КАК
ЛИТЕРАТУРНЫЙ
КРИТИК И
ПУБЛИЦИСТ.
ЕГО СТАТЬИ
ПЕЧАТАЛИСЬ В
„ВОПРОСАХ
ЛИТЕРАТУРЫ”,

„НОВОМ МИРЕ”, „ВОПРОСАХ ФИЛОСОФИИ”, В „ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЕ” И ДР. СТАТЬЯ ЯНОВА О ГЕРЦЕНЕ „АЛЬТЕРНАТИВА”, НАПЕЧАТАННАЯ В 1974 г. В ЖУРНАЛЕ „МОЛОДОЙ КОММУНИСТ”, РАССМАТРИВАЛА ЭМИГРАЦИЮ КАК РЕАЛЬНУЮ ПОЧВУ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ СВОЕЙ РОДИНЕ И ВЫЗВАЛА ЖИВОЙ ИНТЕРЕС НЕ ТОЛЬКО СРЕДИ ЧИТАТЕЛЕЙ, НО ТАКЖЕ И СО СТОРОНЫ КГБ. ИНТЕРЕС ЭТОТ ДОСТИГ ОПАСНЫХ ПРОПОРЦИЙ, КОГДА КГБ СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО РУКОПИСЬ ЯНОВА „ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ В РОССИИ” БЫЛА ПЕРЕПРАВЛЕНА НА ЗАПАД. В 1974 г. АЛЕКСАНДР ЯНОВ ЭМИГРИРОВАЛ В США.

НА ЗАПАДЕ ОН СКОРО СТАЛ ИЗВЕСТЕН КАК „УЧЕНЫЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОРИГИНАЛЬНОСТИ” (ПО ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОФЕССОРА БЕРЛИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА РИЧАРДА ЛОУЭНТАЛЛА). ЯНОВ – АВТОР ШЕСТИ КНИГ, ВЫШЕДШИХ НА НЕСКОЛЬКИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ. ЗАНИМАЯСЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ (ЯНОВ ЧИТАЛ КУРСЫ СОВЕТСКОЙ ПОЛИТИКИ И РУССКОЙ ИСТОРИИ В КРУПНЕЙШИХ УНИВЕРСИТЕТАХ США), ОН ВЫСТУПАЕТ И С ЛЕКЦИЯМИ В АМЕРИКЕ И В ЕВРОПЕ. ЕГО СЛУШАЛИ СОТРУДНИКИ ГОСДЕПАРТАМЕНТА, ЕГО ПРИГЛАШАЛО МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ШВЕЦИИ, УНИВЕРСИТЕТЫ И РАЗЛИЧНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДАНИИ, НОРВЕГИИ, АНГЛИИ И ДРУГИХ СТРАН. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЯНОВ – ПРОФЕССОР ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК В НЬЮ-ЙОРКСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ.